
МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД
1981





МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

1981

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1981

Страницы этого альманаха предоставлены новым произведениям молодых ленинградских литераторов, только начинающих печататься или подготавливающих первые книги. Это прежде всего участники VII Всесоюзного совещания в Москве (1979) и XVI конференции молодых писателей Северо-Запада (1980). В рассказах, повестях и стихах широко отражается жизнь нашей страны, учеба и труд молодежи, дружба, любовь.

Художник Леонид Яценко

М $\frac{70302-277}{083(02)-81}$ 55—81 4702010200

ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД-ГЕРОЙ!

Здесь когда-то Ильич
проходил... Он любил тебя, город!
Слушал сердце твое,
предугадывал дерзкую мысль.
И увидел в тебе непреклонную волю и гордость —
Ту рабочую гордость,
которую знаем и мы.
Перенесший блокаду,
проверенный горем на стойкость,
Ты не раз принимал
на себя за ударом удар.
Как пробоины в небе,
израненном ливнем осколков,
Светят звезды, салютом
застыв над тобой навсегда.
Где бы ни был я, город,
в семье твоей младший из младших,
Я у жизни прошу лишь одну из высоких наград:
В испытанье любом
быть достойным товарищей старших —
И надежды твои
и доверье твое оправдать!

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Наше поколение,
Всей земли надежда,
На кого равнение
Ты сегодня держишь?
На кого? Во-первых,
На того солдата,
Что от сорок первого
Шел до сорок пятого.
А еще — на парня
С именем негромким
У станка токарного,
На целинной стройке.
На изобретателя
Миллионнорукого,
Мастера колхозного,
Пионера космоса.
Ну а с чьим же мнением
Ты сейчас считаешься?
Сердцем, поколение,
На кого равняешься?
Мне, России сыну,
В этом не меняться —
На того, кто Зимний
Штурмовал в семнадцатом.

МАЛЬЧИШКИ

Мы обожали прозвища и клички.
Героям всем хотели быть сродни.
И дергали девчонок за косички,
Когда нам чем-то нравились они.

Едва звонок объявит перемену,
Товарищи по школьному двору —
Артисты, книгочеи и спортсмены,
Мы затевали новую игру.

Один взбирался в небо по канату,
Другой к спектаклю роль свою бубнил,
А третий с книжкой, старой и помятой,
Таинственно молчание хранил.

Вели себя со временем по-свойски:
Глядишь, и в парня вымахал юнец!
И незаметно возраст комсомольский
Стал сутью наших пламенных сердец.

Потом открылись вузовские двери,
Нелегкий путь и ежедневный труд,
И все же был любой из нас уверен
В друзьях, что никогда не подведут.

Оглянешься на прожитые годы —
Пора свершений, зрелости пора:
Проекты, новостройки и заводы
В судьбе ребят со школьного двора.

А наши дети бегают вприпрыжку,
Себе придумав новую игру...
Придет пора — не подведут мальчишки
Моих друзей по школьному двору.

С ПЕРВОЙ МИНУТЫ

Сотни лет академией
Поле служило солдату.
Но покинули землю
И стали солдаты крылаты.

За плечами сегодня —
Волны закипающей гребень.
А назавтра — повзводно
На землю мы прыгаем с неба.

Доведется служить —
И в большом разберешься, и в малом.
Парашют уложить
Должен сам — даже став генералом.

Пусть, мужская сугубо,
Тебя эта жизнь не смущает.
Небо шуток не любит.
Оплошности бой не прощает.

Так что с первой минуты
Уставу десантника следуй,
И тогда разминуться
Тебе не придется с победой.

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Где вы были, нужные слова,
Ласковые, нежные, простые?..
В пятом — класс меня не узнавал,
Молчуном — в десятом окрестили.

Да и сам я к выводу пришел,
Что, увы, далек от идеала —
Мрачноват, характером тяжел
И лицом — каких вокруг немало.

Не поцеловавшись ни с одной,
Уходил на службу из деревни.
Воротился к стороне родной,
Не найдя нигде своей царевны.

Все грустил, вздыхая горько:
«Где уж нам!
Ведь всему застенчивость виной...»
А слова за той ходили девочкой,
Что следила искоса за мной.

В ЖИЗНИ МОЕЙ

Туча и солнце.
И хочется очень дождя.
Снова бессонницей
Вечер грозит, уходя.
Ночь надвигается.
Быть, вероятно, грозе.
Жизни слагаются
Наши — из наших друзей.

Белые ночи —
И черные-черные дни.
Черные ночи —
И белые-белые дни.

Мы не теряем,
Когда нам друзья не сродни.
И умираем,
Когда остаемся одни.

Был я везучим
И буду на добрых друзей.
Солнце и тучи.
Ширится море огней.
...Даже измучась,
Будь, и о том не жалей, —
Солнцем, и тучей,
И солнцем в жизни моей.

* * *

Волны, словно рессоры,
Качали бронзоволицых.
В небе металось солнце
Рыжим хвостом лисицы.

Но пролетело лето
Дробным топотом яблок.
Дикие кони ветра
Перемахнули сентябрь.

Хлопая, как петарды,
Птиц понеслись кочевья...
Осени
леопарды
Бросились
на деревья!

ВАЛЕРИЙ СУРОВ

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

— Водитель мотоцикла! Остановитесь! — раздался голос из динамика.

Звук проплыл по ночной улице. Спросонья пробормотали грачи на верхушке старого тополя.

— Остановитесь! — вновь гаркнул репродуктор.

Вспыхнула голубая мигалка на крыше машины ГАИ и всплесками осветила деревянное здание пожарной команды, каланчу...

— Черт! — пробормотал Василий Петрович. — Раз выбрался в город — и сразу же напоролся...

«Ява» мчалась по колдобинам мимо длинной кирпичной стены. Между «Жигулями» и мотоциклом оставалось всего несколько метров, когда Корнев повернул руль вправо. Пролетев по воздуху, он удачно приземлился на заднее колесо и промчался мимо овощного ларька.

«Жигулям» пришлось объехать глубокую канаву, но Корнев уже урвал метров сто... Скатив с моста через Челнинку, круто повернул в гору и попер вверх под таким углом, что даже выскочивший из машины лейтенант присвистнул.

Одолев сложный подъем, Корнев помчался по деревенской улице, выскочил на асфальт и выжал газ. На повороте едва не пробил забор, не успев затормозить. Мотоцикл занесло — задымила покрышка. Минул ворота. Проехал длинный ряд тягачей. Спешно открыл свой вагончик, вкатил мотоцикл в кладовку и захлопнул за собой дверь. Не включая света, долго смотрел в

окно — не ищут ли его. Но на улице было тихо. Корнев занавесил окно газетами.

Прошло уже два месяца, как купил он на толкучке этот мотоцикл полугоночного образца, а номера все не получил, потому что не имел Василий Петрович водительских прав...

Он поставил чайник на электрическую плитку, развернул полосатый матрац на крышке большого рундука.

Вначале он только работал в вагоне, а потом стал и ночевать. Вскоре притащил со склада матрац, одеяло, взял у монтера плитку, чайник попросил у директора профкурсов... Двухкомнатный вагон на металлических салазках стоял в ста метрах от обрывистого берега Камы, и ночами здесь было тихо.

Василий Петрович попил чаю, разделся и лег. Но не спалось. Случай с погоней не давал покоя. Ну, пристало подростку удирать от милиции, а ему-то уже тридцать!.. Было обидно за себя, за вечную свою неустроенность. Все сознательные годы ездил по стране и, как писала ему мать, не наездил ни кола ни двора... Кое-как женился, родилась дочь — но жена не захотела жить с ним... Да и он, впрочем, не жалел. Тоска оставалась только по дочери... Единственное, что отвлекало, — работа. И когда вкалывал монтажником, и теперь — художником треста.

«Неужели в тридцать лет не иметь ни кола ни двора совсем плохо?» — размышлял он, ежась под тонким одеялом.

В темноте нервно гавкнула дворняжка. На фоне газеты застыл силуэт фотоувеличителя «Крокус».

— А что делать, — сказал вслух Василий Петрович. — Раз все так получается — значит, так и должно быть...

В восемь он поднялся, натянул фирменные джинсы (фирмы «Восток») и сунул ноги в диэлектрические галоши, которые заменяли ему комнатные туфли. Сбросил газету и увидел, что к конторе приближаются сотрудники. Прошла Галя, начальница отдела кадров, мелькнула Вера — секретарша управляющего. Она была в мини-юбке, но и это ее не украшало...

За чаем его застал непосредственный начальник, парторг, полковник авиации в отставке Николай Иванович Приходько. Появившись на пороге, он козырнул, поднеся ладонь к седому чубу.

— Вот вы, Василий Петрович, никогда не опаздываете — вы всегда на месте! — и усмехнулся.

— Хотите чайку? — спросил Корнев.

— С удовольствием, — согласился парторг и подсел к столу.

Шумно прихлебнул из стакана и спросил: — Скажите, пожалуйста, что значит на вашей картине курица, бегущая по рельсам?

— Курица, в общем, ничего не олицетворяет, — добродушно ответил Корнев. — Это есть продукт творческого порыва...

— Конечно, — неуверенно согласился полковник. — Без курицы было бы не то. Курица оживляет... А может, вы хотели здесь отразить окружающую среду в условиях технического прогресса?

— Процесс творчества необъясним...

Николай Иванович удовлетворенно кивнул и сказал:

— У Гали день рождения. Надо бы выпустить «молнию». Надо найти теплые слова. Ей нужны теплые слова: одна, с ребенком, самой уже тридцать пять...

— Будет сделано, — заверил Корнев.

Парторг поднялся, похвалил чай и вышел. Василий Петрович расстелил лист бумаги и принялся писать гуашью «молнию». В разгар работы явился электромонтер Валерка Чижиков.

— Ну, как тачка? — спросил он бодро, вместо приветствия.

— Нормально, — ответил Корнев, макая плакатное перо в баночку. — Вчера от милиции удрал... Хочешь покататься — бери.

— Нет уж. Баста! — он хитро посмотрел на художника. — Свою купил. «Электрон».

— Но-о?! — удивился Корнев. — И где он у тебя?

— Здесь... В обед посмотришь...

В обеденный перерыв Чижиков выкатил мотороллер во двор, завел его после двадцатого раза, сел и прокатился по бетонке.

— Здорово! — крикнул Корнев.

— Дай мне каску?

Корнев вынес каску, тот нахлобучил ее и уехал. Покуролесив где-то, осадил «Электрон» перед вагоном и вошел в мастерскую.

— Обмоем? — достал он из-за пазухи бутылку красного вина.

— Можно, — согласился Корнев.

Только Валерка попытался закрыть дверь на шпингалет, как на пороге появился Николай Иванович.

— Что у вас в той комнате? — спросил он художника.

— Ничего... — смущенно пожал тот плечами. — Краски... фанера... барахло разное...

— Надо все убрать, — решил парторг. — К нам на практику приехали студентки, а женского общежития нет. Вот мы и решили поселить их в вашем вагончике...

— Они же здесь замерзнут! — сказал Василий Петрович.

— Монтер им электропечи поставит... Да и вообще скоро лето.

— Если лето, так зачем же печи ставить, — буркнул Чижиков.

Парторг не обратил на него внимания.

— А надолго они? — насторожился Корнев.

— До сентября...

Когда Николай Иванович вышел, они принялись перетаскивать краски и запихивать их в рундук. Потом Валерка принес теновые печи и приладил их на стенах. Присели передохнуть. Художнику мало нравилось непрошеное соседство — он был мрачен.

— Не волнуйся, — успокоил его монтер. — Займемся лучше делом, — и направился закрывать дверь.

Но в двери, как назло, появилась секретарша Вера. Она плюхнулась на рундук, вытащила из кармана сигареты и закурила.

— Что приперлась? — поинтересовался Валерка.

— Тебя не спросила, — пыхнула дымом та.

— Курила бы в красном уголке. Пропахла, как урна, этим табаком, — проворчал монтер недовольно. Его взгляд осторожно коснулся бутылки под столом.

— Пошел ты в баню! Сам куришь же!

— Я мужик — вот и курю. А ты — непорочная дева...

— Кончайте, ну вас, — прервал их Василий Петрович.

— А что он в бутылку лезет? — сказала Вера.

— Это ты шляешься, вместо того чтоб за машинкой сидеть.

— Я к товарищу по работе пришла, а ты что здесь делаешь?

— Не твое собачье дело, — ответил монтер.

Оба зло замолчали.

— Тут к тебе цац поселяют, — сообщила Вера.

— Знаю, — горько вздохнул Корнев. — Но ничего не поделаешь.

— Да, ничего... — она топнула по окурку.

— Верка! Сколько раз тебе говорить! Не бросай охнарики на пол! — вспыхнул художник.

— Извини, — сказала она, но окурок не подняла. Вышла.

— Ну и рожа, — сказал Валерка.

— Брось ты. Нормальная девчонка. Просто такой характер...

— Идут! — воскликнул Чижиков и прильнул к окну.

Из конторы вышла вереница студенток и под руководством Гали-кадровички направилась к вагону. Одна была совсем маленькой, курносенькой — на ее белой кофточке не хватало пионерского галстука. Они подошли к вагону, брезгливо осмотрели его и несмело зашли в тамбур.

— Да вы не бойтесь, — донесся голос Гали. — Проходите... Здесь у нас художник работает, а в этой комнате будете вы...

— Ишь, — недовольно шепнул Валерка, — еще рожи воротят!

— Придется полы помыть, — продолжала Галя. — Сейчас вам кровати принесут... Мы, конечно, рады, что трудовую биографию вы начинаете на самой великой стройке века, на легендарном КамАЗе! Располагайтесь... Сейчас вам еще матрацы принесут...

Девушки оставались неподвижны.

— ...и подушки, — неуверенно добавила Галя.

За окном темнело, когда в соседней комнате прекратилась возня, звяканье дужки ведра и плеск воды. Чижиков и Корнев пили портвейн и заедали его плавлеными сырками. Затем за стеной запели.

— Начинается! — сказал Валерка.

Во дворе зарычали моторы. Перед вагончиком появилась Бочкарева верхом на мотоцикле. За ней — мотороллер. Водитель, щуплый парнишка в оранжевой каске, быстро покинул седло и подбежал к Бочкаревой. Остановился. Хлопнул ее по плечу, и они вкатились в вагон. Пение за стеной прекратилось. Корнев поморщился.

С Бочкаревой он был знаком года полтора — она писала стихи и занималась в городском литературном объединении «Орфей». Эта тощая, жилистая, некрасивая женщина ходила в кирзовых сапогах и ругалась матом.

Пинком открыв дверь, она щербато улыбнулась:

— Ты представляешь: обгоняю я этого ханурика, а он мне что-то крикнул. Ну, послала я его подальше, так он за мной...

Паренек довольно улыбнулся.

— А я не знал, что ты — девка. Я думал, что салага какой-то дразнится... Меня звать Сашкой.

— Тише, — попросил Корнев. — У меня квартирантки.

— Кто-о?! — удивилась Бочкарева.

— Практикантки из техникума...

— О-о! Да ты же теперь в малиннике!.. — оживилась она.

— В репейнике, — поправил Корнев. — Они несовершеннолетние.

— Мда, — поскребла подбородок Бочкарева. — Посадят.

— Пойду знакомиться! — крикнул Сашка и ушел.

— Ты постучи хоть для приличия! — сказал вдогонку Корнев.

— Поехали на рыбалку? — предложила Бочкарева. — Чижа ты берешь, а я и Сашка — одни.

— Я тоже купил, — сказал Валерка.

— И что?

— «Электрон»...

— Ну-у-у, — недовольно взвыла Бочкарева. — Надо было мотоцикл.

— Езжайте на рыбалку, — сказал Корнев. — Я остаюсь.

— Я тоже не хочу — меня жена ждет, — отказался Валерка.

— Что-то Сашки долго нет... Пойду посмотрю, а то как бы чего не вышло, — поднялась Бочкарева.

— Мне тоже пора. Надо еще тачку затащить к себе, — сказал Чижиков. — Ну, будь!

Проводив его, Корнев поставил греть чай. Потом услышал, как из той комнаты с шумом выскочил Сашка, за ним какая-то девчонка. Они сели на мотороллер и уехали.

— Девки! Рядом клевый художник живет, — донеслось из-за стены. — Не теряйтесь! За штаны его и в загс! Ха-ха...

Корнев опять поморщился недовольно. Поднялся и пошел к соседкам. Бочкарева там вполне уже освоилась. Она сидела на кровати в грязных штанах и кричала:

— Он уж был разок женатый — теперь не промахнется! Куда надо — точно попадет!.. Ха-ха...

Девушки, краснея, слушали ее.

— Хватит болтать! — оборвал ее Корнев. — Где Сашка твой?

— Сейчас магнитофон привезут!

— Да-а... магнитофона здесь остро не хватало... Он бы им пожрать привез... Кстати, а вы есть хотите?

— Где здесь столовая?

— Далеко... Могу предложить вам хлеба с маргарином и чаю.

— Чаю! — обрадовались девушки. — А еды у нас полно.

— Ясненько, — сказал Василий Петрович и принес горячий чайник. — Вам придется самим готовить, а то столовых близко нет...

Самая маленькая принялась собирать ужин. Поскольку стола не было, она ловко накрыла кровать салфетками, расставила чашки.

— Присаживайтесь? — пригласила она Корнева.

Но тот отказался и ушел к себе.

Вскоре приехал Сашка со студенткой и магнитофоном. В соседней комнате загремела музыка. С Камы доносились гудки пароходов, рычание какого-то механизма. В степи горели огни нового города. Корнев попытался было читать, но в голову ничего не лезло. Он долго лежал на спине, смотрел в потолок. Потом услышал, как вышел Сашка, завел мотор и уехал. Музыка стихла. Скрипнула дверь — в мастерскую вошла Бочкарева. Села на табуретку и сказала:

— Что-то не хочется домой ехать...

— А придется, — вздохнул Василий Петрович.
— Да. Придется... — Бочкарева достала махорочную сигарету и прикурила от коптящей зажигалки. Она явно не спешила. — Впрочем, я лучше у девок переночую.
— Как хочешь, — пожал плечами Корнев и принялся стягивать свитер.
— А мотоцикл не сопрут?
— Некому, — снимая галоши, сказал Василий Петрович.
— Я тут посоветоваться с тобой хотела...
— И терпит твое дело?
— Терпит! — зло сказала Бочкарева и ногой распахнула дверь.
После нее остался острый запах бензина и махры. Корнев попытался заснуть, но вновь мешал голос из другой комнаты:
— ... уехал муж в командировку и, чтобы жена ему не изменяла, нарисовал ей на животе оленя. А любовник стер...
Поскрипывал фонарь на ветру. Затем посыпался дождик. Забулькали капли в лужице под окном. Вскоре по крыше загрохотал ливень...
В три часа ночи в окно постучали. Он сунул ноги в галоши и открыл дверь. На пороге появился Федя Некрасов. На нем была надета столовая клеенка вместо плаща. Вид его был несчастен.
— Заходи, — предложил Корнев. — Какими судьбами?
— Я пешком... Ты меня ночевать не оставишь?
— Устраивайся, — предложил Василий Петрович.
— Завтра уйду в общежитие... Разошлись мы с женой... — Он уже стягивал сапоги.
— Тебе не надо было жениться, — сказал сухо Корнев.
— Я понимаю. Но что делать? У нее квартира, а мне жить негде было...
— Вот и пожил.
— Пожил, — согласился Федя. Он сидел на табуретке и уже листал какую-то книгу.
— Ладно. Утром расскажешь, как вы посуду делили.
— Мы тихонько. Она же интеллигентная женщина.
— Все, — отрезал Корнев. — Спи! — и выключил свет.
Постукивая зубами, Федя долго ворочался с боку на бок.
— Может, чаю согреть? — приподнял голову Корнев.
Федя не ответил. Вскоре засопел. Капала вода с клеенки на пол. Светало. Корнев прислушался: вдалеке кто-то ехал на мотороллере. Он взглянул на часы. Было без семи минут четыре.
Кто-то сильно ударил в дверь. Корнев выглянул в окно. Во

дворе торчал бочкаревский мотоцикл. Попыхивал работающий мотороллер, около которого маячила закутанная в плащ женская фигурка. Возле двери Чижиков нетерпеливо пинал в вагон.

— Ты в своем ли уме? — открыл фрамугу Корнев. — Четыре часа!

— Хорош дрыхнуть! — гаркнул Валерка. — Поехали на рыбалку!.. Это я нарочно сказал, что не хочу, чтобы эта мымра с нами не увязалась...

— Не ори! — недовольно сказал Корнев. — Удочки хоть есть?

— Мы две бадминтоновые сетки связали — почти как бредень...

— Болван! Бредни бывают по сорок метров, а сетка — десять!

— Да мы только на уху.

— Не могу, — решительно сказал Корнев и покосился на спящего Некрасова. Тот посапывал на полу.

— Поехали! — не унимался Чижиков. — Все равно воскресенье...

— Да не кричи ты ради бога! Бочкареву разбудишь!

— У тебя Бочкарева?— поразился Чижиков и сморщился.

— Там, — кивнул Корнев в сторону. — Увяжется еще...

— Конечно, увяжусь! — высунулась из соседнего окна Бочкарева. — Гады! — завопила она так сильно, что в соседней Орловке залаяли собаки. — Хотели без меня? Не выйдет! — и она скрылась, чтобы одеться.

Чижиков метнулся к мотороллеру. Женщина села на сиденье. Взревел мотор, и, разбрызгивая свежие лужи, мотороллер ринулся в сторону Камы.

— Сто-о-ой! — завопила Бочкарева, выбегая на крыльцо.

Из окна уже выглядывали встревоженные студентки...

Проснулся он от музыки. Глянул на часы — был полдень. Бросив на плечо полотенце, направился во двор к колонке. Перед вагончиком торчало несколько мотоциклов, но бочкаревского уже не было. Некрасов, видно, тоже поднялся пораньше и отправился искать себе жилье. Из соседней комнаты доносился смех. Потом во двор выкатилась толпа подростков во главе с Сашкой.

«Что за хмырь?» — услышал Корнев, когда возвращался обратно. «Да мой дядя, — пояснил Сашка бесцеремонно. — Художником здесь работает... Учился в академии — лучше Репина рисует...» Корнев усмехнулся.

За чайником идти не хотелось, и поэтому он сообразил себе

бутерброд и принялся есть всухомятку. В открытую фрамугу заглянул Сашка.

— Поехали с нами? — предложил он. — Вон девки какие! А ты...

— Вот и занимайся с ними, а мне надо в одно место, — соврал Корнев.

— Как хочешь, как хочешь, — буркнул Сашка и скрылся.

В дверь постучали.

— Да! — крикнул Корнев.

На пороге появилась самая маленькая студентка с новым чайником в руке. Она поставила чайник на стол и сказала:

— Спасибо.

— Чей чайник? — удивился Василий Петрович.

— Ва-аш... — приподняла она брови.

— Так мой же был черный... Ах, да-да... Спасибо. — Корнев смутился. Студентка усмехнулась и вышла.

Причесавшись пятерней, Корнев захлопнул дверь и направился на автобусную остановку. Что-то вытолкало его из дому. Хотелось посмотреть, как поживают люди в поселке Гидростроителей, да заодно узнать — нет ли писем.

В ящике лежало какое-то послание. Он вытащил полосатый конверт и вскрыл. Извлек на свет толстое письмо жены. Наскоро прочел его — она писала, что снова вышла замуж и что теперь дочь Василия Петровича очень полюбила какого-то дядю Володю... Стало муторно. Он скомкал конверт и сунул его в карман, гулять по проспекту расхотелось. Вернулся в мастерскую.

На Элеваторной горе сиял голубой май. Деревья на городском кладбище трепетали лепесточками, выл по-весеннему бульдозер возле нового моста через Челнинку, крякал сцеплением грузовик... Парили белые чайки над блестками волн и переговаривались между собой. От вчерашнего ливня сияли лужи и радостно хрюкали в грязи свиньи.

В мастерской его ждал Некрасов. У порога стоял чемодан.

— Ясненько, — вымолвил Корнев. — Жить?

Тот кивнул.

— Извини. Места нет, — развел руками Василий Петрович.

Прогрохотал мотор. Корнев выглянул в окно — Бочкарева. Она ногой открыла дверь, хлопнула краги о пол и крикнула:

— На гвоздяру напоролась... У тебя клей есть?

— Есть сырая резина, — сказал Корнев.

— Ну тогда ладно. — Она плюхнулась на рундук, закинула ногу на ногу и закурила махорочную сигарету. — Ну, — мотнула она головой в сторону студенток, — не начал еще на алименты работать?

— Все руки не доходят, — ответил Василий Петрович.

— А этот ханыга что здесь торчит? — обратилась она к Некрасову. — От бабы удрал, кобель?!

— Я не удрал. Просто у нас разные интересы. У нее мещанские замашки — мало ей зарплаты...

— А сколько ты гребешь? — спросила Бочкарева.

— Шестьдесят... Я же сторожем. А она требует, чтобы я перешел на стройку. А когда я буду читать?

— Нда-а! — процедил сквозь зубы Василий Петрович.

— Не я у тебя жена! Таскал бы ты ящики на вокзале, да еще и вечерами бы в трех местах подрабатывал! — вздохнула Бочкарева.

— Нельзя все сводить к работе, — возразил Некрасов. — Надо подняться выше. Ведь человек будущего должен быть эрудитом!

— Уж лучше быть с пустой башкой, чем с пустым брюхом...

— Неправильно ты рассуждаешь! — воскликнул Некрасов.

— Какой умник выискался! Жаль, что я — баба, а то врезала бы разок по башке — сразу б ставни посинели! Фанерная тыква!

— Невыносимая женщина! — Некрасов поднялся.

— Придется тебе искать другую работу, — сказал Корнев.

— Пожалуй, ты прав. Просто я такой человек, который не может сопротивляться окружающей среде...

— Вот ты о мещанстве говоришь, — зло выдохнула Бочкарева, — а чемодан приволок с собой. Бросил бы ты его! Освободился бы от предрассудков!

— Пойми же ты! Мне надо в баню ходить, надо иметь для этого смену белья!

— Все это — мещанство. Вы, культурные, в баню не ходите... Вон — день давно на дворе, а ты все еще нечесаный.

— Можно у тебя чемодан оставить? — спросил Корнева Федя, дав понять Бочкаревой, что разговаривать с ней больше не намерен.

— Пусть стоит, — ответил художник.

— Спасибо, — сказал Федя и ушел.

— Каков гусь, а?! — воскликнула Бочкарева.

Но Корнев ее не поддержал. Он протянул ей кусок сырой резины. Она прогрохотала сапогами по крылечку и закричала студенткам:

— Эй, белоручки! Пойдем колесо снимать... Вы куда приехали? Здесь вам КамАЗ, а не дома на печке...

За перегородкой гремел магнитофон. Корнев стоял у окна и

смотрел, как орудовала ключами Бочкарева, как подъехал на мотороллере Сашка и стал описывать круги вокруг нее...

— Ну, что дурочку валяешь! — заорала на него Бочкарева. — Надевай покрышку, собачий потрох!

— Эх, девка! — с удовольствием воскликнул Сашка, но помогать не стал. — Люблю таких шустрых...

Девушки смеялись, стоя в сторонке. По двору раскатывали волосатики на своих мопедах, хвастая друг перед другом мастерством вождения.

— А вы что вылупились?! — набросилась Бочкарева на студенток. — Помогайте!

Сашка выписывал круги по двору, задрав ноги на руль. Он орал на всю Каму:

— Ночью нас никто не встретит — мы простимся на пирсу...

Вдруг Сашка, не справившись с управлением ногами, влупился в палисадник — послышался грохот, треск досок и звон лба. Мотороллер проехал насквозь забор. Сашка висел на кусту сирени, а мотороллер рыл задним колесом клумбу. Корнев выскочил из вагона, отключил двигатель и помог Сашке приземлиться.

— Гадство! На лепешке поскользнулся! — он зло сверкнул глазами в сторону тягачей. — Ездят тут всякие...

— Штаны порвал,— сообщил Василий Петрович.

— Точно, что ли? — испугался Сашка. — Я ведь штаны у старшего брата взял. Он меня теперь убьет! Он каратист!

— Давай зашью! — вдруг предложила маленькая студентка. Она все время стояла на крыльце и с улыбкой наблюдала за ним.

— У тебя есть что надеть? — спросил Сашка Корнева.

— Есть. Халат уборщица на тряпки отдала. — Корнев вынес ему халат. Сашка стащил с себя штаны и протянул их студентке, а сам вновь взобрался на мотороллер и прокатился по двору.

— Нормально, — сообщил он, словно кого-то волновало здоровье его «Электрона».

Никто не приглашает на танец,
Никто не провожает до дому
Смешную угловатую девчонку... —

выл магнитофон. Студентка вынесла штаны и протянула их Сашке. Он осмотрел их и воскликнул:

— Во здорово! Лучше новых! Дай поцелую, Оленька! — и, зажав локтем штаны, кинулся к ней. Та с завидной скоростью рванула в сторону. Не догнав ее, Сашка обиженно надел штаны.

Бочкарева снимала мотоцикл с подножки.

— Эх ты-ы, пряник! — крикнула она насмешливо. — Бабу не догнал, да еще такую маленькую!

Тоска и уныние завладели Корневым. Стало противно жить на свете. Он натянул каску, выкатил свой мотоцикл, сел и, поднявшись на дыбы, рванул в сторону Чудских лугов. Только скорость была способна как-то сгладить плохое настроение после письма жены. Ветер, скорость и опасность...

Мотоцикл был послушен. Василий Петрович носился по лугам и канавам, умчался километров за сто на восток, потом вернулся ближе к Набережным Челнам, выехал на пирс нового порта, остановился.

Вечерело. Хотелось тишины. Но здесь гуляли парочки. Стоял списанный на металлолом пароход, жалобно опустив плицы в воду. С парохода рыбачили мальчишки. Они с трудом всматривались в поплавки. Наверное, им не хотелось возвращаться на берег — ведь для этого надо было лезть в ледяную воду и плыть, придерживая одежду и удочки в руке.

В туберкулезном санатории на том берегу Камы завели пластинку. Осветилась дощатая танцплощадка, словно муравьи зашевелились люди в вальсе...

У вагончика пылал костер из выброшенных им же подрамников. По бетонному двору так же носились волосатики, ржали, пытались бахвалиться своим «мастерством». Девочки стояли под навесом и скромно смеялись. Бочкаревой не было. В стороне тихо ругался сторож. Лаяли собаки.

— Посторонись, — сказал Корнев Ольге, которая стояла на крыльце и наблюдала.

Она отошла, и он въехал по ступенькам в кладовку. Выключил мотор, фару и спросил:

— Долго еще продлится представление?

— Их гони не гони... — сказала Ольга.

— Вижу, как вы их гоните, — усмехнулся Корнев.

Он спустился с крылечка и, подойдя к навесу, сказал ребятам:

— Дуйте-ка домой, волосня!

— Че-его?! — угрожающе проскрипел рыжий паренек, видимо заводила и главарь. — Ну-ка, повтори!

— Уши мыть надо, — посоветовал Корнев. — если не слышишь.

Тот оставил драндулет. Дружки также притормозили. Сашка спрятался за спины. Рыжий стал приближаться. Перед ним засуетился маленький мальчишка — он как бы пытался заслонить собой Корнева и приговаривал: «Рыжик, не надо!..» Но тот решительно двигался вперед, тем более что сцену наблюдали девушки.

Корнев с усмешкой ждал. Когда рыжий было замахнулся, Корнев поймал его за ухо, крутанул что есть силы. Рыжий завопил:

— Ой, отпусти, гад! Хуже будет!..

Но Корнев подвел его полусогнутого к мотоциклу, ткнул три раза носом в бензобак и спросил:

— Сцепление смазал на лето?

— Смазал... — прохрипел рыжий.

— Ну, вот и кати отсюда... — Бросив рыжего, он повернулся и пошагал к вагону.

Волосатики разбредались к своим мотоциклам, взревели обиженными моторами, набибикались всласть и вереницей потряслись по дороге домой.

За перегородкой выключили магнитофон.

Близился обед, когда по двору зацокала каблуками Вера-секретарша. Она вошла, села на рундук и закурила.

— Как здоровьечко? — спросил Василий Петрович, не отрываясь от работы.

— Нормально, — беспечно пыхнула она дымом. — Я на здоровье не жалуюсь.

— Может быть, тебе чаю согреть?

— Спасибо. Не хочу... Ты всех, что ли, чаем угощаешь?

— Только избранных... Сдается, что ты чем-то удручена?

— Да-а, — махнула она рукой. — Красильников шипит на меня! Брошу все к чертовой матери и пойду штукатуром.

— Деньги, что ли, нужны?

— Я бы ему сама платила, лишь бы не ныл... А все из-за чего? Из-за того, что кончилась губная помада!

— Не понял...

— Не так выгляжу. Он у меня всегда — если плохо выгляжу, шипит... И девку одну вселили ко мне в комнату, с ребенком...

— Ну и что?

— Орет всю ночь. Утром встала с чугунной головой, посмотрела в зеркало — ну прямо-таки старуха Изергиль!

— Ничего не поделаешь. Твоей соседке сейчас нелегко!

— Что я, не понимаю? Без мужа, без денег... А ведь всего семнадцать лет. Десятый класс окончила — и в матери-одиночки!

— А где муж-то?

— Где?! Состряпал дитя — и в армию...

— А родители ей не помогают?

— Она боится им писать.

— Когда-никогда, а надо.

— Придется, конечно.

— Вот тут у меня осталось от Первого мая метров десять ситца — отдай ей на пеленки, — вытащил Корнев из рундука материал. — Пусть устроится уборщицей в общежитии — комнату дадут.

— Надо сказать... Она же дурочка, совсем соплюха... Всю ночь напролет сует ему титьку...

— Может, у него молочница?

— А что это такое?

— Болезнь у грудных детей... Если рот у него белый, пусть содовой водой смажет, и все пройдет...

— Все-таки лучше бы ее переселили в другую комнату...

Затрещали мотоциклы. Она выглянула в окно и сказала:

— Чиж. Ненавижу его морду!

— За что?

— Просто так. Слишком уж смазливый, как ириска...

Чижиков проехал мимо, а в вагон ввалилась Бочкарева.

— Ишачишь? — спросила она Корнева.

— Ишачу, — ответил тот в тон. — Познакомься: Вера.

— Бочкарева! — сунула она руку Вере, глянув осуждающе на мини-юбку секретарши. Затем засмолила сигарету и хлопнула себя по коленям.

Вера принюхалась к дыму и спросила:

— Махорочные?

— Они, — с вызовом ответила Бочкарева.

— Дефицитные сигареты... Я за ними год гоняюсь...

— Могу угостить, — ехидно предложила Бочкарева.

— Да, пожалуй, не стоит привыкать, — хмыкнула Вера и поднялась. — Я забегу позже.

Когда дверь за ней захлопнулась, Бочкарева спросила:

— Это что еще за лахудра такая?

— Наша секретарша, — пояснил Корнев.

— Ну и морда! На ней штукатурки с полкило!

Он ничего не ответил. Бочкарева загасила окурок и сказала:

— Скоро у меня будет отдельная квартира.

— Как?!

— Я знаю как... — загадочно и одновременно грустно она усмехнулась. — Хочу взять из детдома ребенка, а без квартиры не дают! Вот я и решила...

— Тебе и с квартирой не дадут, — сказал Корнев.

— Не волнуйся. Я сама из детдома и по закону имею право взять ребенка на воспитание.

— Ты сама роди.

— Мне нельзя. У меня почки больные — на лесосплаве застудила в Архангельской области.

— Вылечи. Зато ребенок свой будет. А чужого ты лупить будешь.

— И своего буду!

— Я бы тебе не дал ребенка.

— А мне и не надо от тебя...— Она встала.— Ладушки. Заболталась я тут —ехать надо. Ты смотри, никому про квартиру!

Василий Петрович махнул рукой,— мол, мели Емеля.

Она уехала. Корнев вышел во двор, подумал немного и, взяв флягу, поехал в луга за ключевой водой. Пока он ездил, в мастерской появился Рустам, его давний знакомый. Он был в роскошной бороде, зеленых вельветовых штанах, монтажной куртке и подпоясан монтажной цепью.

— Дай сто рублей,— сказал он вместо приветствия.

— Ты прямо с работы? — спросил Корнев.

— Да... И ночевал три дня на площадке — гнали план! А Валька собралась—и айда! К сестре в Иркутск. И ребенка прихватила с собой.

— Она что, чумная? — спросил Корнев.

— Это уж точно... Давай сотню, я ее, змею, вмиг верну!

— Извини, только пять рублей. Подожди, я поищу.

— Ладно. Хватит для начала.

— Так ты прямо в поясе поедешь, что ли?

— А что?

— Да ты рехнулся!

— И верно,— он расстегнул пояс, бросил его на пол, лязгнула стальная цепь.

Ушел. Он всегда появляется у Корнева внезапно. Теперь Василий Петрович не надеялся увидеть его, по крайней мере, месяца три.

После обеда заглянул парторг. Он вошел и остановился у карандашного рисунка, на котором был изображен мужчина.

— Да это же Самохвалов! — воскликнул радостно Приходько.

— Узнали? — спросил Василий Петрович.

— Как его не узнать! Вылитый! Только староват немного,— по-моему, вот этих морщин у него еще нет.

— Будут,— сказал Корнев.

— Конечно, будут,— согласился парторг.— И у вас будут, и у всех... Скажите, а можно научиться рисовать человеку, который не имеет таланта?

— Конечно, можно. Лишь бы способности были... А талант — это своеобразное видение мира,— сказал Корнев, присаживаясь на табурет.— Вот вы и все, например, видите дерево зеленым, а художник его синим рисует.

— Так что же он? Дальтоник, что ли?

— Не-ет... И вот когда он нарисует его синим, люди подойдут, посмотрят и согласятся.

— Ну да! Как это они согласятся? Да мне хоть сто раз скажи, что белое — черное, я ни за что не соглашусь... Ну, скажите пожалуйста, как это можно нарисовать черным карандашом белое?

— Запросто! — воскликнул Корнев. Он взял белый лист бумаги и нарисовал на нем квадрат. — Пожалуйста.

— Что это такое? — спросил Николай Иванович.

— Белый флаг, — пояснил Корнев. — Нарисованный черным карандашом... Хотите: платок, салфетка, все, что угодно.

— А ведь верно! — ухмыльнулся полковник. — Действительно художник видит мир особо... — но он не договорил. В окно заглянула Вера и сказала:

— Николай Иванович, вас к телефону... Горком.

Парторг поднялся и вышел.

— Что у тебя за страшилище была? — поинтересовалась Вера.

— Когда? — не понял Корнев.

— Ну, до обеда... В кирзовых сапогах.

— А, так... знакомая...

— Ну и знакомые же у тебя! — восхитилась Вера.

Следующее воскресенье было дождливым. За стеной магнитофон молчал, и Корнев подумал, что девушки отправились в город. Он встал. Было двенадцать часов дня. Попил чаю, подумал — чем бы заняться, вытащил саксофон и принялся играть. Он расхаживал по вагончику, играя и посматривая на пустой берег Камы. Будущее представлялось каким-то серым, словно этот дождливый день.

Наигравшись до мозоли на нижней губе, он принялся дорисовывать бригадира монтажников. Бригадир был, видимо, хитер и получался легко. Вдруг скрипнула дверь. Корнев обернулся и увидел Ольгу.

— Василий Петрович, идите с нами пить чай, — пригласила она.

— Да я уже... — сказал он.

— Индийский!

— Бегу! — обрадовался он не столько чаю, сколько возможности просто посидеть с кем-то, развеяться.

Стола в комнате так и не было. Опять со вкусом была уставлена чашками кровать.

— Берите вот эту, — сказала одна студентка.

Корнев до сих пор их не отличал друг от друга, за исключением маленькой Ольги. Он прихлебнул чаю и сказал:

— Паршивая погода. Но зато воздух чист... В семьдесят первом году два месяца лил дождь. Все промокло. Но люди работали... Тогда еще и Нового города не было. А у Боровецкого села стояла мельница... В Орловке тоже была мельница, да потом снесли ее. А боровецкая сама упала.

— И никого не придавило?!

— Она утром грохнулась, очень рано... А жаль. Ее хотели на память оставить.

— Вот если бы кто мимо проходил!

— Так удачно свалилась... Тогда еще и порта не было с пирсом, а был пустой песчаный берег. Красиво! Рыба!.. В Каме все есть, — вздохнул Корнев. — Даже крокодилы... Отсюда в восемнадцатом веке в Питер стерлядь возили.

— И рыба не портилась?

— Нет. Были специальные баржи с двойным дном. Под внешним дном сверлили отверстия, и рыба там плавала вволю. А стерлядь отбирали по мерке — в пол-аршина. Так она и прибывала на стол к императрице... Кумыс отсюда поставляли в Москву. Кумыс — это самое лучшее лекарство при туберкулезе!

— Фу! Лошадиное молоко!.. О чем мы говорим за столом?!

— Не за столом, а за кроватью, — поправила другая.

— Все пригодится в жизни, — вздохнул Корнев.

— А почему город называется Набережные Челны? — спросил кто-то из девушек. — Что здесь, челны по берегу плавали, да?

— Нет. Город называется правильнее Чаллы, что по-татарски означает «укрепление», — пояснил Василий Петрович. — Здесь в семнадцатом веке строили укрепительную линию от Симбирска до Ика (речка такая), вот отсюда и пошло название «Чаллы». А жили здесь русские казаки — они-то и переводить не стали. Просто назвали Челны — и все. Вначале были Бережные Челны, а потом стали Набережные... Места здесь знаменитые. Отсюда родом Дурова. Знаете? Кавалерист-девица... Шишкин здесь родился, на той стороне... Там, где теперь кумысная лечебница.

— Фу, опять вы про лошадей! — возмутилась студентка.

— А сколько можно молока получить от лошади? — поинтересовалась другая.

— От хорошей кобылы — по два ведра в день... И действительно — что фукать? — Он обернулся к брезгливой: — Вот выйдешь замуж за туберкулезного — будешь знать, чем лечить.

— За туберкулезного?! — ужаснулась та. — Никогда в жизни!

— Там не будешь разбираться, уж если полюбишь.

— Нет, спасибо. За больного я никогда замуж не выйду!

— А откуда ты узнаешь, что он не туберкулезный?

— А в заявлении есть пункт, по которому жених и невеста должны знать, кто чем болеет...

— А я бы за любого больного вышла замуж, если бы полюбила, — тихо вставила Ольга.

— Ха-ха! У тебя все известно, — хмыкнула брезгливая. — Твой Толик здоров как бык... С квартирой, с машиной...

— Ничего ты не знаешь, — прервала ее Ольга. — Он уже не мой Толик!

— Неужели поругались?! — воскликнула другая то ли радостно, то ли встревоженно.

— Еще за месяц до практики.

Корнев с любопытством поглядел на Ольгу.

— Да ты что? Рехнулась? — не унималась подруга. — Вы же с ним года три встречались?!

— Теперь все! — отрезала Ольга.

— Дура ты! Да такого парня поискать еще!.. Представляете, Василий Петрович: высокий, глаза голубые, сам светленький, спортсмен... Учится на втором курсе механического... Папа — директор завода. Квартира, дача, авто... А она кто? Вот техникум окончит — и все.

— Мне бы такого парня, — вздохнула другая. — Я бы за него двумя руками держалась... Да он на меня и смотреть не захочет.

— На меня же смотрел, — сказала Ольга.

— Ты — хитрая!

— Какая же я хитрая? — удивилась Ольга.

— Нет. Она не хитрая, — согласилась другая. — Но Толик действительно красив... С ним жить — забот не знать.

— Вот и бросайтесь на него, пока свободен, — сказала Ольга.

— Ну и брошусь! — сказала брезгливая. — Приглашу его на дамский танец... Потом он от меня не отвертится!

В дверях внезапно появился Некрасов. Он приподнял очки и сказал:

— Здравствуйте. Извините за беспокойство...

Корнев поднялся и вышел за ним.

— Что тебя носит по дождю? — проворчал он, открывая свою дверь. — За чемоданом?

— Ну.

— Как твои личные дела?

— Я вот решил попробовать написать стихотворение, — сообщил он.

— Читай.

Он поспешно вытащил из кармана листик жеваной бумаги, поправил очки и сказал:

— Только не знаю, как назвать... Ну, ладно. Слушай:

В дверях моих явилась теща.
Ее халат сквозняк полощет.
Она хитро заводит речь,
Как надо мне жену беречь...

— Все? — спросил Корнев. — Хорошие стихи. Судя по рифме, еще и мать ее приехала?

— Да... Я ходил в отдел кадров стройки и попросил работу рублей на сто, но чтобы можно было читать.

— И как отнеслись к этому кадровики?

— Поставили каким-то методистом по выдаче документальных кинолент... За два дня не пришло ни одного человека. Я читал Камю.

— А с женой как?

— Теперь мы комнату шкафом поделили. За шкафом теща, а мы здесь... Ох, видел бы ты тещу! По характеру она что Бочкарева, а весом — сто с лишним килограмм... Я чемодан забираю?

— Забирай.

— Но я хочу особо ценные книги перенести к тебе. Теща грозится сдать их в букинистический...

— Не волнуйся. В городе еще нет букинистического магазина.

— Точно?! Это точно?

— Совершенно!

Он взял чемодан и со спокойным сердцем ушел.

Окончив командовать краном, который поднимал на конструкции большой лозунг «Строитель! Прославь свое дело, а дело прославит тебя!» — Корнев сел на ферму и закурил.

Рядом варил стык вроде бы знакомый парень. Корнев попытался вспомнить, как его звать, но, так и не вспомнив, решил разговора не затевать. Парень же скинул щиток и улыбнулся:

— Привет, Васька! Не здороваешься, как художником стал!

— Брось ты! Я тебя не узнал просто, — ответил Корнев.

— Что без пояса?

— Не свалюсь. Не волнуйся.

— Отвык уж, наверное, от монтажа-то?

— «Отвык»! Да хочешь, вот по этой связи на одной ноге пропрыгаю! — и он задорно встал. Посмотрел вниз — до фундамента было метров двадцать. Люди копошились внизу, словно жуки.

— Брось, не требуется, — отмахнулся парень. — Что я, тебя не знаю, что ли... Не хочешь обратно вернуться?

— Свое монтажу отдал, — сказал Василий Петрович, вновь пристраиваясь на ферме. — Радикулит подхватил. Зимой без ватных штанов ползал по конструкциям — вот и застудился.

— Ну-у, ты даешь! Такую шикарную болезнь отхватил в тридцать лет!

— Уже вылечился, но работать боюсь. Сам знаешь, какие железки приходится поднимать.

— Мне нравится, — сказал парень.

— И мне нравится... Тут и воздух чище, и вороны под ногами летают... Ты смотри: чуть холода, надевай ватные штаны, не форси перед девками!

— До холодов еще далеко...

— Ко-орнев! Василий Петро-ович! — донесся снизу крик.

— Ну, будь, — сказал Корнев и принялся спускаться по порталу вниз. Там ждала Вера.

— Ну, что орешь?

— Надо срочно найти Ольгу. Вот меня послали за ней, да машина застряла по дороге, а я вижу — твой мотоцикл... Может быть, подвезешь? Позарез нужно!

— Какую Ольгу? — не понял Корнев.

— Ну, студентку... К ним руководитель приехал — ее вызвали. Она у них комсорг.

— Так как же мы с тобой поедем, а ее потом куда денем? Ты очень нужна в управлении?

— Нет! — обрадовалась Вера. — Скоро я совсем не буду нужна! Подала заявление на курсы сварщиц... А Ольга — в двадцать восьмом комплексе работает... Привези ее в управление ради бога!

— Ясненько, — сказал Корнев и взобрался на мотоцикл.

В пыли строительства грохотали «Ураганы» и КРАЗы, катили какие-то невиданные механизмы. Тут и там суетились тысячи людей. Наглотавшись пыли, Василий Петрович подкатил к строительному вагончику, на котором уже издалека заметил красочное соцобязательство. Эту доску оформлял он.

За столом в вагончике сидел парень в монтажном поясе и листал чертежи.

— Где Ольга? — спросил Василий Петрович.

— Такая пикуха, что ли? — уточнил парень. — На объекте.

— Спасибо, — сказал Корнев. — Только сам ты — козел!

— Но-но, — приподнялся парень. — Интеллигенция!

— Вон куда смотри, — ткнул Корнев парню в чертеж. — Не-

бось балки отыскать не можешь... Вот эти ставь — можно заменять, а ты ищешь вчерашний день.

— Они же тоньше! — крикнул парень. — Эти двести девяносто, а те — двести шестьдесят...

— А на марку стали ты смотришь хоть изредка?

— И точно, — сник парень, — как-то и не подумал! Вот спасибо-то!.. — Но тут же спохватился: — Ты, вообще-то, полегче в другой раз... Сразу бы сказал, что ее парень, — я бы воздержался.

— Дело не в парне. Девчонка четыре года голову забивала твоими железками, а ты — пикуха.

— Ну, ладно-о, — провыл тот. — Пошли, я тебе покажу — где. Ты сам не найдешь.

Ольга стояла на третьем этаже строящегося здания. Она замахала руками и закричала парню:

— Смотри, что вы делаете! Лень вам было лопату бетона бросить на стык, да?!

— Нормально, — отозвался парень, слезая с мотоцикла.

— Нет!!! Ненормально! — крикнула она, сверкнув глазками. — Плита ниже на сантиметр. Какой у людей будет потолок! Его и не заштукатуришь... Как тебе не стыдно!!!

— Мне стыдно! — нагло крикнул парень. — Я только виду не показываю!

— Нахал! Вот тебе бы такую квартиру!

— Не отказался б...

Она зло сплюнула и исчезла. Буквально через секунду появилась на тротуаре.

— Еще раз увижу — убью! — крикнула она в лицо монтажнику.

— Ладно, ну тебя! Только прикатила — и давай орать...

— Садись. За тобой послали, — недовольно сказал Корнев. — Или ждать, пока вы доругаетесь?

Ольга забралась на сиденье. Корнев лихо развернулся и поскакал по ухабам, как на мотогонках. Ни жилки не дрогнуло на лице практикантки. Выехав на асфальт, Василий Петрович удивленно покачал головой:

— Ты не боишься, что ли?! — спросил он Ольгу.

— Что вы говорите? — переспросила она, оторвавшись от дум.

— Ничего. Так...

Над лугами он остановился, закурил и хотел было ехать дальше, но она попросила подождать.

— Можно, — согласился он, — только тебя ждут там.

— Кто?

— Приехал ваш руководитель практики...

— А-а! Это я написала, — лениво сказала Ольга. — Нас предупредили, что зарплату платить не будут, потому что мы стипендию получаем... Так пусть лучше уж стипендию снимут...

Василий Петрович молчал. Под ногами могучая река вольно лилась из-за синего бора. Ползли по бликам солнца черные силуэты барж. В стороне строилась ГЭС, а дальше, у горизонта, едва виднелись четыре свечи елабужских колоколен... Старый плицевый пароход, приготовленный в металлолом, стоял на якоре. Громоздились мостовые краны нового речного порта, а за ними, насколько хватало глаз, белели дома Нового города.

Корнев завел мотор, сел, дав понять, что пауза окончилась.

— Говорят, здесь соловьи поют? — спросила Ольга, взбираясь на сиденье.

— «Поют» — не то слово. Орут!.. Их здёсь на каждом кусту по роте. Как засвистят — уши ломит.

— Не может быть такого, чтобы в ушах ломило... Врете вы...

— Да хочешь — я тебя привезу сюда вечером! Сама услышишь!

— Не может такого быть! — упрямо повторила она.

— Может! — запальчиво крикнул Корнев и рванул с места так, что переднее колесо оторвалось от земли.

Он вышел из городского управления ГАИ и остановился на тротуаре, внимательно рассматривая удостоверение водителя. Он был рад — теперь, получив права и номер, можно поехать в любую сторону не только города, но и республики, всей страны.

— Корнев! Очнись!

Он вздрогнул — его чуть было не толкнула в бок черная «Волга». Шофер для проформы нажал на сигнал и рассмеялся. Пассажир выглядывал в окно.

— Борис Валентинович! Калюжный! Сколько лет! — обрадовался Корнев.

— Вот ведь как встречаемся, — сказал Калюжный, улыбаясь. — В одной квартире живем, а видимся реже, чем если бы в разных городах... Что это ты листаешь?

— Права получил на мотоцикл, — похвастал Корнев.

— А ты что? Мотоциклом обзавелся?

— Так мне же не полагается по службе черной «Волги»...

— Садись — прокачу, — усмехнулся Калюжный. — Тебе куда?

— На Элеваторную гору, — сказал Корнев.

— На Элеваторную, — кивнул Калюжный шоферу. — Тебе тут еще письма пишут... — Он покопался в кармане и вытащил конверт.

Корнев прочитал адрес, порвал письмо и выбросил его из окна.
— От жены?
— От бывшей, — буркнул Василий Петрович и закурил.
Черная «Волга», вяло покачиваясь на ухабистой дороге, подкатила к вагончику и остановилась.
Калюжный с Корневым вошли в мастерскую. Борис Валентинович осмотрелся и хмыкнул:
— Вот, значит, ты теперь где! Нда... Ну, ничего, ничего. В главк нет желания идти работать?
— Мерси. Не хочу.
— Ну, забегай домой-то? Хотя я тоже в последнее время, как цыган, в кабинете ночую.
— Ладно, — успокоил Корнев, — к осени увидимся.
— Ты мне хоть на работу звони...
— Добро.
Калюжный пожал руку, вышел, сел в машину. Шофер сдернул «Волгу» с места, и она пошла пылить в сторону поселка.
Корнев немного постоял, глядя вослед, почесал в затылке. Вернулся в комнату.
«Вот тебе и Борька, — думал он, сидя перед окном. — Каждую субботу отец драл его — и вот тебе какого командира вывел в люди...» Нет, Корнев не завидовал Калюжному, его положению крупного руководителя — пожалуй, это была единственная стезя Калюжного. Он был рожден руководить, хотя в детстве и не отличался коноводством. Заметив, что по двору спешит Приходько, обеспокоенный визитом начальника, Корнев усмехнулся.
— Что случилось? — спросил Николай Иванович, войдя в мастерскую.
— Ничего.
— Может быть, девушки пожаловались? Зря он не приедет!
— Да так, — замялся Корнев, — насчет наглядной агитации...
Приходько недоверчиво посмотрел на стенд, покосился на трафареты и медленно вышел.
Ближе к вечеру к вагону подъехал Чижиков, но не зашел, а направился к своей будке. Василий Петрович вышел и скуки ради спросил:
— Ты чего это?
— Надо мне, — сказал он мрачно. — Сиденье сделать вот здесь.
— Зачем?
— Для ребенка.

— Для какого? — удивился Корнев, зная, что ребенка у Чижа нет.

— Для ейного...

— Так она у тебя с прицепом?

— Ну.

— И сколько прицепу?

— Пять лет, — он растопырил пальцы и усмехнулся. Глаза его потеплели.

— Вон у старого «Беларуся» сними спинку, и она как раз подойдет, — посоветовал Василий Петрович.

— И точно! — обрадовался Чижиков, довольный, что Корнев не стал расспрашивать о ребенке. То, что он женился, — знали все. Но что взял женщину с ребенком — никто.

Он притащил спинку с трактора и начал ее прилаживать впереди места водителя так, чтобы ребенок мог сидеть между рук.

— Куда собрались?

— Да-а... позагорать надо бы, а то на балконе не загоришь.

— Езжайте в Ильичевку. Там по выходным кафе работает, — посоветовал Корнев.

— Нет уж, мы — где меньше народу да больше кислороду...

— Ну, как хочешь, — буркнул Корнев. — Чаю попьешь?

— Ты прямо-таки чайханщик — всех угощаешь! — хихикнул Чижиков.

Он уже приварил сиденье, залил бак бензином из резервной канистры и, порычав двигателем, уехал.

Василий Петрович постоял еще немного, глядя вослед удаляющемуся стоп-сигналу. Темнело. На берегу, в траве, застрекотали ночные букашки. Пополз тянучим шлейфом смирный туман во впадину.

— Здрасте... Вы обещали оглушить меня соловьями...

Он обернулся. Рядом стояла Ольга. Она улыбалась.

Настроения не было, и поэтому он буркнул:

— Что-то ехать не хочется. Вот Сашка приедет — он тебя и отвезет.

— Я с ним боюсь: он в прошлый раз чуть в Каму не улетел. Водить не умеет...

— Ну, ладно... поехали. Только на десять минут — не больше! Иди, надень что-нибудь потеплее — застынешь.

Он прошел в мастерскую, взял кожанку, каски и выволок «Яву» во двор. Они устроились на сиденье и потряслись по пыльной дороге мимо выбирающейся из-за бора багровой луны.

Дорога была укатана. Здесь целыми днями самосвалы возили гравий для дамбы. Чудские луга после перекрытия реки должны

были стать дном Камского водохранилища, а пока тихие воды лизали песок да лунный свет кроил тени деревьев.

Ольга держалась за Корнева обеими руками и на ухабах касалась телом его спины. Он спокойно нащупывал лучом фары дорогу поровней и смело мчался в сторону соловьиной колонии. Они перевалили шоссейную дорогу и, оставив справа море огней Нового города, летели навстречу темному силуэту соснового бора. Вскоре Василий Петрович остановил мотоцикл. Стало неожиданно тихо. Он посмотрел на часы и сказал:

— Прослушивание — ровно десять минут.

Сбросил куртку и стал гулять по опушке, постепенно привыкая к темноте. Ольга сняла каску и хотела сесть на пригорок, но Корнев кинул ей куртку и сказал:

— Не сиди на сырой земле — застудишься.

Отойдя метров пятьдесят, он подумал: все-таки хорошо, что Ольга настояла на поездке. Сколько времени он здесь не был! И вот — гуляет!

— Ну, где же ваши хваленые соловьи? — спросила Ольга.

— Айн момент, — сказал он. — Уже был третий звонок — скоро поднимется занавес и...

И в это время несмело зачирикал первый, молоденький соловей. По голосу можно было определить, что певец начинающий, что он старается, но коленца и трели пока не изучены им досконально...

— И он один будет петь? — осторожно спросила Ольга.

— Потерпи немного... — Он тоже присел на край куртки, порылся в карманах, достал курево и задымил.

Через минуту не выдержал другой соловей. Они засвистали дуэтом. Под их аккомпанемент по серебристым ивовым ветвям все выше карабкалась посвежевшая луна. Она уже освоилась и была не так красна, как возле самого горизонта... В воздухе установился полнейший штиль. Корневу было слышно ровное дыхание Ольги и даже шуршание табачного дыма о воздух.

Ольга молчала. Она уже не требовала камерного хора пернатых — всего два салаги-соловья творили чудеса...

Вдруг над самой головой выстрелил двумя свистками третий — видимо, заслуженный соловей впадины и окрестностей. Он выждал паузу и раскатился молодцеватой, щегольской трелью, да так громко, что те два молоденьких усовестились и запели тише. Увлекаемые солидным певцом и будто получив устное разрешение от начальника, разом ворвались в тишину сразу несколько голосов. Тишина растаяла. Уже не появлялось и паузы. Корнев быстро потерял те голоса начинающих птах и посмотрел на Ольгу торжествующе. Ее профиль застыл на фоне водной

лунной дорожки. Казалось, она не дышала. Руки ее сжимали маленькие колени, а голова была чуть откинута назад... Он не посмел тревожить слияние человека с природой. Ему даже захотелось отойти подальше, чтобы доставить ей удовольствие, но он боялся пошевелиться, боялся хрустнуть веточкой и так и застыл в неудобной позе с каской на животе...

Уже не воспринималось ничего. Не было видно ни Нового города с его бурными огнями, не доносилось сюда шелеста листьев.

Как вдруг по звону соловьев, словно ржавым топором, полоснул гудок парохода. Он бесцеремонно рявкнул три раза подряд, и раздалось шлепанье плиц о волну... Вскоре силуэт пассажирского судна выбрел в лунные отблески. На корме всплеснул свет прожектора, и поскакала по кустам бит-музыка.

— Хоть бы заткнулись... — прошептала Ольга.

— М-м-м, — согласился Василий Петрович.

Соловьи заливались. Гремел музыкой пароход. Как бы в ответ ему завели пластинку в санатории на той стороне реки. Высоко в небе прогудел самолет, а по шоссе со скоростью черепахи двинулся трактор с траловым прицепом. Священное как-то обесценилось, Ольга уже не являла собой слух и внимание. Корнев развалился на куртке и смотрел в небо...

— Никогда не поверишь, пока сам не убедишься, — выдохнула Ольга.

— А я тебе что говорил! — но во фразе не было торжества, а сквозила какая-то минорность.

Оба помолчали несколько минут, слушая грохот тральщика и плицевого парохода, потом Ольга спросила:

— Василий Петрович, а почему вы живете в мастерской?

— Понимаешь, — он припал на локоть, — я очень не люблю ходить на работу, тащиться через весь город, толкаться в автобусах... А здесь — проснулся и уже на работе. — Он усмехнулся.

— А у вас есть где жить?

— У нас с товарищем двухкомнатная квартира в поселке Гидростроителей.

— Не может быть! Весь город мечтает жить в Гидростроителях... И у вас есть там горячая вода?!

— Опять ты мне не веришь... Есть вода.

— Может быть, вы с товарищем не ладите?

— Напротив.

— Так в мастерской же неуютно!

— Я не замечаю этого...

— И почему вы никуда не ходите? Нашли бы себе девушку и женились бы.

— Я женат. У меня есть дочь.

— И где они?
— Далеко.
— А когда приедут к вам?
— Никогда.
— Тогда вы к ним поедете?
— Нет.
— Почему?
— Потому что жена вышла замуж.
— Тогда вам надо снова жениться.
— Полагаю, что достаточно. Да и думаю, что обойдусь. — Он закурил и попытался пояснить: — Видишь ли, все сознательные годы я ездил по стране и, как говорит моя мама, не наездил ни кола ни двора... Да что говорить. Мне уже тридцать, а здесь все вроде вас. Вам только жить начинать, а не латать чужую.
— Неправда! Если девушка полюбит — она готова на все!
— Искать не хочется, — вяло буркнул он.
— А может быть, и не надо? Может быть, она рядом?
— Уж не ты ли? — усмехнулся Корнев.
— Почему сразу я? Я вообще говорю.
Он рассмеялся, вскочил на ноги и сказал:
— Ну хорошо. Скажем, взять тебя, хотя ты еще совсем маленькая. А свяжись я с тобой — твои родители мне башку оторвут!
— Родители ни при чем! — вспыхнула она. — Мне уже восемнадцать лет!
— Ну-у? — удивился Василий Петрович. — А мне казалось, что тебе лет шестнадцать, не больше.
— Осенью будет девятнадцать... Я самая старшая в группе, поэтому меня и выбрали комсоргом.
— А что же ты такая маленькая? Ты, наверное, никогда и спортом не занималась?
— Занимаюсь.
— И каким же? — не скрыл он усмешки.
— Стрельбой из пистолета.
— Вот те на! Небось и разряд имеешь?
— Мастера.
— Не может быть!
— Теперь уже вы мне не верите, — обиделась она.
— Н-н-нет, отчего же, — вымолвил Василий Петрович.
Они умолкли. Соловьи уже не увлекали. Тишина также не возобновлялась... Трактор полз, гремел репродуктор в санатории, на фарватере урчал буксир с тремя баржами дров.
— Так-то, Оленька... Лично я глупею от соловьев...

— Не надо бояться жизни, ведь так можно протрястись до пенсии.
— Легко сказать...
— Не надо бояться, — опять повторила она. — Надо самому уметь любить, чтобы стать любимым!
— Господи! — воскликнул Корнев. — А давай порепетируем?
Он встал на руки и спросил ее:
— Вот ты, например, мне нравишься как принципиальный человек! Пойдешь замуж, а? — он спустился на ноги, выждал паузу и сказал: — То-то!
— Не надо поспешных выводов. Девушка должна подумать.
— А тебя не смущает форма предложения?
— Я на это не обратила внимания.
— А сколько ты ни думай — ничего привлекательного не найдешь в моей жизни. Я элементарно не сумею дать семье ни уюта, ни зарплаты, ни того, что может спокойно дать, к примеру, так коварно покинутый тобой Толик. Извини за фамильярность!
— Фу, какая мерзость! Не вспоминайте больше о нем!
— Давай-ка лучше домой, а то мы бог знает до чего можем договориться, — предложил Корнев, подведя черту разговору.

В мастерской он, ни о чем не думая, застелил рундук и завалился спать. На душе было легко и свободно, словно случилось в жизни что-то хорошее... Ночью в дверь кто-то осторожно постучал. Он открыл глаза. В окнах брезжил рассвет.
— Кто? — спросил он осипшим ото сна голосом.
— Это я, Василий Петрович...
— Входи. Не закрыто. — Он приподнялся и сунул ноги в галоши. — Ты, что ли, Ольга? Что тебе не спится?
— Я подумала о вашем предложении...
— Ну и что ты надумала?
— Я решила согласиться.
— Хм, быстро же ты... Ну, ладно. Иди спать. Я учту твое согласие. — И сделал попытку нырнуть под одеяло.
— Нет. Я серьезно, — сказала она.
Он вновь сел. Помолчал. Потом пояснил:
— Как бы тебе сказать... Ты еще девочка совсем... Мне, конечно, приятно твое согласие, но давай будем считать все это шуткой... Я пошутил! Понимаешь? Просто брякнул ни к селу ни к городу...
Она застыла у двери. Потом тихо заплакала.
— Ты что, Ольга? Что с тобой? — встревожился он. — Ну... Не расстраивайся...

— Конечно... Если вы меня прогоните, — всхлипнула она, — то я никогда уже не смогу выйти замуж!

— Почему? — искренне удивился Корнев.

— Я не смогу больше никогда в жизни дать еще одно согласие. Нет, вы понимаете, что значит соглашаться раз, два... Это уже будет не жизнь, а притворство. — Она тихо плакала.

Он молчал. Уж больно было необычно это детское решение — делать все в жизни однажды, без ошибок, без права на отступление... Она плакала, прислонившись к дверному косяку, но плакала не жалобно. Про такой плач можно было сказать так же, как — пила, дышала... Было в этом плаче что-то великое и вечное.

— Ну хорошо, Ольга, — положил он руку на ее плечо, — пусть будет так, как ты хочешь.

— Правда? — осветилась она.

— Да-да... А теперь иди к девочкам и успокойся... Смотри: утро уже, а ты еще не спала. Иди, иди...

С утра Корнев помыл мотоцикл, попил чаю и стал дожидаться начала рабочего дня. В половине восьмого из девичьей вышли студентки. Он тоже вышел во двор.

— Ольга! — окликнул он. — Садись, подкину.

Она радостно отделилась от девушек и по-хозяйски забралась на сиденье... С работы Корнев ее тоже привез на мотоцикле. Она, не заглянув в девичью, прошла в мастерскую и поставила чайник на плитку. Он сел на рундук и задумался.

— Вы не расстраивайтесь, — сказала Ольга. — Сейчас чаю попьем...

— Мне надо в ГАИ, за номером, — вздохнул Василий Петрович.

— Тогда я вас подожду, — она выключила плитку.

— Что ты! Перекуси немного. Я ведь не скоро обернусь...

— Нет. Я буду ждать, — твердо заявила она.

Корнев вернулся из ГАИ часа через два — Ольга ждала. На плитке уже урчал чайник.

— Я тебя увидела, когда ты еще через мост ехал, — пояснила она, перейдя на «ты».

На пластиковом столе лежали вчерашние пирожки, которые Ольга прихватила с работы. Она разлила чай и принялась пить из своей чашки, которую, видимо, перетащила из девичьей половины. Она грызла пирожок, болтала ногой и восторгалась:

— Как хорошо за столом! А то мы там ели с кровати...

Василий Петрович серьезно жевал. Потом предложил ей:

— Хочешь постирать?

— Мечтаю! — воскликнула она.

— Тогда бери сейчас белье и поедем ко мне... Нырнешь в ванную и плещись... Да и мне надо бы искупаться...

Когда они отъезжали от вагончика, из окон выглянули студентки и с любопытством посмотрели им вслед.

В дороге навстречу попалась Бочкарева.

— Куда это вы намылились? — спросила она.

— В баню, — ответил Корнев недовольно.

Через пять минут подкатили к подъезду. Корнев открыл дверь и сказал Ольге:

— Располагайся. Там мыло и порошок есть...

Ольга сразу же исчезла в ванной, а он прошел в свою комнату. В комнате Калюжного заметил налет пыли на столе.

— Эх, мне бы такую квартирку! — завистливо вздохнула Бочкарева, тащившаяся сзади. — Я бы ребенка взяла из детдома... Но я уже делаю дело. Ты бы заехал ко мне в кладовую.

Василий Петрович молчал.

— Ну, заедешь, что ли? — спросила она, доставая махорочную сигарету.

— Да не кури ты эту дрянь! — взорвался Корнев.

— Пошел ты в баню! — ответила она. — Будешь тут мне указывать — что курить и где... И вообще, запомни: что хочет женщина, того хочет бог! — процитировала она, поджигая сигарету коптящей зажигалкой.

— Какая ты женщина! — опять психанул Корнев. — Ты полюбуйся на себя. Кирзачи! Краги! Штаны с ширинкой! Физиономия мыла просит! Да ты хоть знаешь, как настоящая женщина следит за собой, за тряпками, за ногтями... На тебя же ни один мужик не взглянет!

— Ты так считаешь? — ехидно взглянула она на Корнева.

— Да... И вообще, не являйся ко мне больше в таком варварском виде! Прекрати лаяться! Веди себя по-женски, если, конечно, в тебе еще хоть чуточка женского сохранилась...

— Ну, хорошо, — резко встала она. Топнула сапогом и громко хлопнула дверью.

Бахнула подъездная дверь, и Корнев облегченно вздохнул... Прислушался — Ольга плескалась в ванной. Он открыл окно и проветрил комнату. На улице было темно и тепло. Взял тряпку, вытер пыль с магнитофона. Приподнял и поправил подушку на кровати — под подушкой лежали деньги. «Откуда?» — удивился он. Сунул деньги в карман и побежал в кафе, чтобы купить еды. На улице лоб в лоб столкнулся с Рустамом.

— О-о! Привет! А я к тебе.

— Мне надо в кафе — поесть купить, — сказал Корнев.

— Пойдем вместе. Я тоже есть хочу... Я ведь ездил к тебе в мастерскую, так мне сказали, что ты уехал...

— Ну, как семейные дела? — спросил Корнев, шагая чуть впереди.

— Я не добрался до Иркутска. В Казани догнал. Она ребенка сдала в приют. Почти уезжать собиралась... Взял ее за горло — написала она мне вот эту бумажку. — Он протянул Корневу листик с накарябанными на нем словами: «Я, Матвеева В. С., отказываюсь от ребенка. Этим же подтверждаю, что отец его — Мухамедьяров Р. Ш.»

— Мда! — только и вымолвил Корнев. — И что же ты собираешься делать?

— Возьму дитё себе. Как же без отца-то? Без матери еще куда ни шло, а без отца, да пацан...

— В случае чего, поживешь в моей комнате, а я — в мастерской, — сказал Корнев.

— Нет. Мне надо справку предоставить, что у меня лично есть лишних девять метров жилья для него.

— А ей надо было такую справку?

— Нет.

— А тебе почему нужна?

— Я их спрашивал — молчат. Говорят — она мать. А я, кричу, — отец!.. Без толку! Они даже милицию вызывали.

— Зачем? — приподнял брови Василий Петрович.

— Я главврачу в ухо врезал, — признался Рустам.

— Ну и дурак. Могли бы посадить.

— Сам знаю. Да вот не сдержался... Он же за меня потом и просил. Хорошим человеком оказался.

Они вошли в кафе. Зал был полупустой. В стороне бренькали на гитарах ребята в студенческих формах. Позевывала кассирша. Корнев взял пирогов, молока и конфет. Рустам ел, не отходя от кассы, пирог с капустой. Корнев спросил его:

— Переночевать есть где?

— Я поеду к Некрасову.

— Не надо. У него теща приехала, — посоветовал Корнев и беспокойно глянул на часы.

— Приехала? — радостно переспросил тот. — Еду! Побеседую!

— Не дури! Наломаешь там дров...

— Уж нет! Я с ней поговорю — она больше так делать не будет, — Рустам почти бежал к автобусной остановке.

— Дурак! — буркнул в темноту Корнев и зашагал к себе.

Когда он вернулся, из ванной все еще доносились всплески. Накрыв стол, он завел пластинку.

Появилась Ольга с полотенцем на голове.

— Можешь купаться, — сказала она. — Ванну я вымыла.

Искупавшись и побрившись, он выскользнул из ванной. Ольги на кухне не было. Свет всюду был выключен.

«Неужели уехала?» — подумал он и посмотрел в свою комнату. Там тоже не было света. Он нажал на выключатель. Вспыхнула лампочка — на его кровати, под одеялом, лежал комок. Он тут же выключил свет и застыл с открытым ртом... Постояв в волнении немного, он несмело присел на краешек кровати, погладил рукой комочек... Потом прикоснулся к ее волосам, скатывающимся с тощей подушки, и шепотом спросил:

— А правильно ли?

— Мы же с тобой решили, — высунула маленький нос из-под одеяла Ольга. Помолчала и добавила: — Иначе быть не может.

Перед обедом в мастерскую заглянул Николай Иванович. Он поздоровался и сказал:

— Девушки говорят, что у них Ольга не ночевала. Где бы она могла быть? Позвонил на работу — вышла вовремя.

— Не волнуйтесь, Николай Иванович. Мы решили с ней пожениться...

— Серьезно?!

— Да... Только смущает меня многое.

— Что именно?

— Да я еще с той женой не развелся... И старше ее на двенадцать лет почти...

— Это не беда, — успокоил Корнева парторг. — Главное, чтобы вот тут все было хорошо, — и он ткнул себя в грудь.

— Тут-то как раз все хорошо, — вздохнул Корнев, — да как родители посмотрят на это?

— Главное, как она смотрит на это, а не ее родители. Ну-ну, не терзай себя! Хороший у тебя чаек. Может, нальешь?

Корнев наполнил стакан чаем и опять вздохнул.

— Успокойся, — сказал Николай Иванович. — Может быть, тебе надо к той жене съездить — тогда дело быстрее будет?

— Надо бы.

— Как надумаешь — скажи. Я тебя отпущу. — Он наскоро допил чай и ушел со спокойным лицом.

«Ведь знал про Ольгу! — подумал Корнев. — А сделал вид, будто ничего не слыхивал...»

В квартире теперь был порядок. Василий Петрович прилаживал на кухне газовый баллон, когда хлопнула дверь. Он вышел навстречу и увидел Калюжного.

— Привет! — воскликнул он. — Слышь, под подушкой нашел сорок рублей и теперь не могу спокойно спать. Мои или не мои?

— Твои, твои, — поспешил успокоить его Борис Валентинович. — Мне надо было срочно в Москву, а денег в обрез. Вот ты мне и дал... Ты тогда еще на монтаже работал.

— Черт знает, — неуверенно пожал плечами Корнев. — А может быть, ты не у меня брал?

— Я ж помню!.. Так ты теперь покинул свою мастерскую?

— Как видишь. Ну а ты?

— Я — в кабинете... Черт! Приехали американцы по поводу литейного завода. С фирмой «Суинделл Дресслер» заключили контракт. Сумма-то плевая, а возни! Не оберешься. Все специалисты. Всем подай жилье...

— А ты-то при чем? Как я знаю, ты немного другим занимаешься, — заметил Василий Петрович.

— Сейчас все при чем, — вздохнул Калюжный. — Вон даже Дэвид Рокфеллер и тот проявляет пламенный интерес к КамАЗу. Из ФРГ Фридерихс, министр хозяйства, — туда же. Ну, с ними у нас соглашение все-таки на четыреста миллионов марок... Господи! Не верится даже, что когда-нибудь будет автомобиль!

— Как это не верится?

— Конечно, верится, но представить себе не могу.

— Просто ты устал.

— Черт! Откуда на кровати платье? Что это значит? — удивился Калюжный, заметив Ольгино платье на спинке кровати.

— Ж-женюсь, — не совсем уверенно брякнул Корнев.

— А кто хоть твоя невеста?

— Приходи вечером — посмотришь.

— Нет уж. Прийти не могу... Знаешь, приглашаю вас в ресторан «Кама» к семи. Идет?

— Идет, — пожал плечами Василий Петрович.

Перед тем как поехать за Ольгой, Корнев заскочил в мастерскую. У входа, на ящике из-под болтов, сидел Федя Некрасов.

— Ну, что не заходишь? — спросил Корнев. — Не закрыто же.

— Да неудобно без хозяина. — Он глубоко вздохнул. — Только было я смирился и стали мы жить нормально, как приехал Рустам, разбудил тещу, жену, вывел их на кухню, и стали они кричать так, что невозможно было читать. Потом остался у нас ночевать. Потом поехал со мной на работу, заставил уволиться...

Теперь я — монтажник. Как залез первый раз наверх — у меня в животе затряслось. Люди по земле — как тараканы! А он грозит.

— А ко мне жаловаться на Рустама приехал? — прервал Корнев.

— Нет. Это я к слову. Мне нужны рабочие ботинки сорок пятого размера. У нас на складе нет. Ты у себя на складе не обменяешь?

— Нет, разумеется. Езжай к Бочкаревой — все-таки кладовщица. Подберет тебе что-нибудь...

Василий Петрович поехал за Ольгой. Некрасов ушел. До конца смены было еще далеко. В прорабке он встретил бригадира монтажников и спросил у него:

— Где Ольга?

— У нее заболела голова, и она уехала домой, — ответил тот.

Корнев ринулся в поселок Гидростроителей. Мигом влетел в квартиру — Ольга пила чай! Корнев был похож на сумасшедшего, поэтому она вскочила и бросилась навстречу. Они обнялись, прижались друг к другу, и он радостно забормотал:

— Ольга, милая...

Она, видимо, решила, что с ним что-то стряслось, заплакала и принялась успокаивать:

— Не надо, все пройдет...

— А сильно болит? — насторожился он.

— Что болит? — переспросила она.

— Голова твоя сильно болит?

— Какая голова? — отпрянула она. — А с тобой что?

— Я из-за тебя расстроился.

— А я — из-за тебя. Я думала, что с тобой что-то...

— Это мне сказали, что ты заболела и уехала.

— Не-ет! — Она радостно рассмеялась. — Я просто рассердилась и сказала: «У меня от вас голова болит!» — и пошла. Они и спрашивают: «Вы куда?» — я со злости и крикнула, что домой...

Поняв, что ничего не произошло, и застеснявшись своих чувств, Корнев сказал:

— Нас сегодня в ресторан пригласили.

— Я никогда в жизни не была в ресторане, — обрадовалась Ольга.

За свою жизнь Корневу довелось побывать во всяких ресторанах, и ему трудно было понять ее, когда она в каком-то порыве принялась копаться в шкафу, накручивать бигуди, греть утюг...

В седьмом часу, когда они, почти готовые к выходу, сдували друг с друга пылинки, хлопнула дверь.

Перед ними стояла Бочкарева.

На ней был светлый брючный костюм, туфли. Разбитые гаечными ключами ногти были выкрашены перламутровым лаком.

— Здравствуйте! — вымолвила она накрашенными губами.

— Проходи, — недовольно сказал Корнев.

Она прошла в центр комнаты, вытащила пачку «Казбека» и закурила. Вероятно, ей хотелось произвести фурор...

— Я вам не помешала? Кажись, вы куда-то намылились?

— Да, — ответил Корнев, — меня пригласил товарищ...

— С Ольгой? — почти удивилась она.

— С ней.

Некоторое время все молчали, потом Корнев не выдержал паузы и сказал:

— Извини, но нам надо уже идти.

Она нехотя ткнула окурок в кашпо и вышла.

Музыканты уже возились на крошечной сцене, когда Корнев и Ольга ступили на алый ковер ресторана. Он поискал глазами Калюжного и нашел его за крайним столиком. Тот сидел на фоне бежевых портьер. Завидев их, Калюжный сделал изумленное лицо.

Они степенно пересекли зал. Василий Петрович представил Ольгу. Когда они сели, Калюжный склонил к ней голову и с иронией спросил:

— Вы что будете пить?

— Мне ничего не надо, — ответила она.

— Может быть, сок? Или лимонад?

— Я буду пить то, что и Василий Петрович, — решила Ольга

Калюжный с усмешкой посмотрел на Корнева. Тому это не понравилось. Заиграла музыка. Ольгу тут же пригласили.

— Ну-у-у! — воскликнул Калюжный. — Ты даешь!

— Что такое?

— Где ты такую откопал? Да она же еще пионерка!

Корнев поморщился.

— Ты взгляни на нее, друг, — продолжал Борис Валентинович. — Что уж ты, себе девушки не можешь найти?!

— Слушай, — не выдержал Корнев, — попытайся больше не затрагивать эту тему.

— Ну, хорошо, — подавил Калюжный недоумение.

Ольга вернулась. Она чинно села перед крахмальной пирамидкой салфетки и внимательно осмотрела зал.

Они пили сладкое шампанское и беседовали. Калюжный все говорил о работе, о качестве строительства...

Внезапно за крайним столиком, у входа, Корнев заметил Бочкареву. Перед ней стояли бутылка капитанского джина, тарелка супа и салат из огурцов. Она надменно дула дым в потолок.

Ее так никто и не приглашал танцевать. Тогда она, охмелев, взобралась на эстраду и под аккомпанемент оркестрика запела прокуренным голосом:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клеш...

Калюжный обернулся на песнь и воскликнул:

— Браво!

— Бочкарева... — обреченно сказала Ольга.

— Вы ее знаете? — удивился Борис Валентинович.

— Да, — ответил Корнев, и друг укоризненно посмотрел на него.

В субботу было решено поехать на рыбалку. Корнев и Ольга ночевали в мастерской. Туда прикатили Чижиков и Бочкарева с Сашкой. Кавалькада мотоциклов поплутала по грунтовым дорогам Чудских лугов и выбралась на поляну, расположенную на высоком берегу Камы. Поставили мотоциклы у берез. Корнев и Чижиков привязали к бадминтоновым сеткам палки. В стороне Ольга и Бочкарева собирали хворост для костра. Бочкарева ворчала:

— Гады! Хотели без меня удрать! А мне ведь тоже хочется...

— Мы тебя предупреждали, — сказал Чижиков.

— Брешешь!

— Значит, так, товарищи! — крикнул Сашка. — Я в воду не полезу. У меня аллергия — расцветаю, как роза в январе!

— Небось рыбу жрать готов, — проворчала Бочкарева. Она разделась, обнажив жилистое тело, покрытое шрамами, и ринулась в воду, крикнув Сашке: — Бери тогда авоську — собирать рыбу будешь!

— Ну и мегера! — воскликнул Чижиков.

— Холодина с-сучья! — заорала она.

— Не кричи, — возмутился Валерка, — рыбу распугаешь!

— А я и не кричу! — закричала Бочкарева.

Корнев тоже ступил в воду.

— Я пойду по глубине, а ты у берега, — предложил он.

— Ты не знаешь, как надо. Я пойду по глубине!

— Так ты же ростом — метр с каской.

— Не волнуйся... Давай жердь. Надо против течения! Через сто метров полный бредень будет... Эй, на берегу-у! Костер разложите, а то холодно!

— Да не кричи ты! — возмутился Корнев.

— А я и не кричу-у-у! ! !

Солнце поднялось довольно-таки высоко, когда они, измученные, вытаскивали бредень на берег. В сетке бился ершишко. Он, освободив плавник, прыгнул через край и скрылся в волнах. Пока Сашка притащил Бочкаревой кожанку и она закурила, Ольга подсчитала улов.

— Шесть штук, — сообщила она.

— Не-ет, так дело не пойдет, — сказал Сашка. — Надо было сразу ехать в Кызыл-Тау — там у меня дядя егерем работает.

— Врешь, — безнадежно сказала Бочкарева, сворачивая сетку.

— Честное слово! — стукнул тот себя в грудь.

— А что нам терять, — пожал плечами Корнев. — Далеко, что ли?

— Совсем рядом, — обрадовался Сашка. — Километров десять!

Погода стояла сухая. Была невыносимая жара, но встречный ветер обдувал их. Моторы же терпеть не хотели — перегревались.

— Еще немного! — кричал Сашка, раскатывая вокруг остановившихся на обочине ребят. — Дотянем! Там двигуны и остынут!

— Ты свою выключи! — крикнула Бочкарева. — Дай отдых.

— А у меня экспериментальный. Мне его дядя прислал...

— Хорош врать, — прервала Бочкарева. — Племянник!

Собрались ехать. Корневский мотор не заводился. Василий Петрович погремел ключами — безуспешно. Тогда Сашка предложил:

— Давай на буксир возьму? Мы осторожно... Ведь тут недалеко. Там и займешься мотором.

Сомнение не возникло в голове Василия Петровича:

— Давай, черт с ним! Ольгу пусть Чиж заберет тогда...

Ольга пересела к Чижикову. Все тронулись с места. Ногу Корнев держал на тормозе — Сашкина спина маячила перед глазами. Спидометр показывал двадцать километров в час. Вскоре кончились повороты и Сашка начал набавлять скорость. Остальные укатили далеко вперед и скрылись из виду.

Скорость росла. Через пару километров Корнев заметил на обочине ребят — они махали руками и что-то кричали. Внезапно перед колесом появилась канава. Сашка резко затормозил. «Ява» врезалась носом в багажник мотороллера. Корнев полетел. Техника кувырнулась в кювет. Сашка воспарил в воздухе и плюх-

нулся на куст орешника. Корнев ударился головой об асфальт, потом ногами, откатился метров на пятнадцать и затих...

Полежав немного, он попытался подняться, но его сразу же затошнило. Он открыл глаза — над ним стояла белая как снег Ольга и осторожно трогала пальчиками его щеку.

— Ну что ты, Оля, — промямлил он. — Кувыркнулся, видишь...

Она молчала. На носу у нее висела капелька слезы.

— Ну что ты! — испугался Корнев. — Не расстраивайся... Он сел и стал шевелить ногой.

Сашка, выбираясь из кустов, кричал:

— Я пострадавший! Зови врачих помоложе...

— Как ему везет! — искренне удивился Корнев.

— Я в цирковом кружке занимался, — соврал тут же тот, — а там учат группировать тело в секунду!

— Поехала Емеля, — вздохнула Бочкарева, доставая пачку «Казбека». Потом пачку смяла, сплюнула и вытащила махорочную. Закурив, пояснила: — Комары, стервы! Загрызли!

Корнева все еще тошнило. Он поднялся и подошел к костру, который уже успел развести Чижиков. Боль таяла...

— Ну, что? Остановимся здесь? — спросил Чижиков. — Егеря не наблюдается... — Он принялся обтаптывать площадку для бивака.

Края поляны обрамляли пахучие ели — казалось, что маленькие облака вот-вот зацепятся за пики деревьев и перепачкаются смолой. От асфальта поднимался горячий воздух, уродуя даль.

Охая, Корнев выволок мотоцикл из кювета. Принялся копаться в двигателе, позвякивая ключами... Ольга бегала по траве и собирала цветы. Иногда ее светлая голова исчезала в бурьяне и потом быстро появлялась уже в другом месте.

— Эй, придурок! — крикнула Бочкарева Сашке. — Съезди за водой!

— Могу и за водой! — и вскоре затарахтел по шоссе.

Бочкарева подошла к Корневу и сказала:

— Слушай, — и замялась. — Видишь, какое дело...

— Ну? — равнодушно буркнул Корнев.

— Мне нужна квартира... А кто мне ее даст? — Она что-то хотела еще сказать, но мялась. — А мне надо взять ребенка, потому что я воспитывать должна кого-то. Не могу я просто так жить...

— Не дадут тебе квартиры, пока замуж не сходишь, — сказал Корнев. — Вон Рустам — с дитем и без жены. Учти!

— Нет. Это не то. Я вот что решила. — Она подошла к своему

мотоциклу, отвязала сверток и вернулась. — Посмотри, — протянула какие-то бумаги.

Корнев раскрыл папку, полистал, ничего не понимая, и спросил:

— Что это?

— Документы... на моего начальника. Покажу — он мне квартиру... Ты понимаешь? Он ворует!

Корнев пристально смотрел на нее. Она поняла, в каком глупом положении оказалась, и принялась оправдываться:

— Но как-то я должна устраиваться... Тебе не понять!

— Ольга! — крикнул Корнев.

— Ты должен понять! — воскликнула Бочкарева. — Я эти бумажки уже месяц собираю! Мне надо человека! Че-ло-ве-ка!..

Корнев завел мотор. Подбежала Ольга.

— Садись! — приказал он.

Она забралась на сиденье. Он рванул с места, взобрался на откос и помчался по шоссе.

Бочкарева обескураженно постояла минуту, затем кинулась к своему мотоциклу. Попыталась догнать, но мощность маленького синенького драндулета не давала развить ей нужную скорость... Она кричала. Нажимала на сигнал — Корнев ни разу не обернулся. Он не обернулся даже тогда, когда его в бок тыкала Ольга, пытаясь остановить. Она что-то говорила — он мчался вперед...

Бочкарева, рискуя перевернуться, на полном ходу размахивала рукой, плакала. Красный мотоцикл удалялся. Тогда она сбросила газ. Двигатель захлебнулся. Она свернула на картофельное поле колхоза «Татарстан», уронила мотоцикл — вылетела пробка. Полился бензин. Глядя на это, Бочкарева вдруг вспомнила, что ее звать Вероника. Как-то неестественно улыбаясь, чиркнула зажигалкой и подожгла бензин — мгновенно поднялся столб пламени. Бросив мотоцикл с горящей папкой, она пошагала в сторону белых кварталов Нового города...

Поставив во дворе «Яву», они поднялись на второй этаж. Пока Корнев раздраженно сбрасывал ботинки, каску, из комнаты вышла его мать.

— Здравствуй, сынок, — сказала она ласково. — Что же ты квартиру не замыкаешь?

— А кто воровать-то будет? Тут и воровать некому, — обрадовался он. — А так — придет человек, отдохнет, чаю выпьет... Вот ты приехала. А то ждала бы во дворе... Тебе надо было телеграмму дать.

— Мне хотелось сделать сюрприз, — улыбнулась мать. Она еще не видела, что в темноте прихожей раздевалась обмершая Ольга.

Мать сунула руку в чемодан, вытащила оттуда пакет и протянула его сыну:

— Поздравляю тебя с тридцатилетием!

— Фу ты! — смутился он. — А я и забыл.

— Вот те на! — изумилась мать.

В это время вошла Ольга. Она держала букетик каких-то желтеньких цветочков. Мать вопросительно уставилась на сына.

— Познакомься, мам. Это — Ольга.

— Ясно, — поджала губы мать, осмотрев Ольгу.

— Мы решили пожениться, — объяснил сын.

Мать промолчала. Она повернулась к ним спиной и неестественно веселым тоном заговорила:

— А еще я привезла бутылочку коньяка! — Извлекла на свет пузатый сосуд с медной пробкой и прочла: — «Плиска»... Где будем располагаться?

— На кухне, — пожал плечами Корнев.

Он сразу понял, что мать очень недовольна. Она, перед тем как пройти на кухню, даже облачилась в черный пиджачок с россыпью медалей. Сама принялась накрывать стол только тем, что привезла с собой.

Он пошел умываться. Ольга переоделась. Но платье мало добавило ей солидности. Василий Петрович уступил ей место у раковины, а сам вошел на кухню.

Мать постучала пальцем по его носу и грозно проговорила:

— Ты мне дурака не валяй! «Жениться»! Такая страшилища! Она у меня враз вылетит отсюда!

— Мама! — твердо сказал он. — Жить мне, а не тебе...

— Ты еще дурак — даром тебе тридцать!

— Не вмешивайся!..

Скрипнула дверь, и из ванной вышла Ольга.

Все расположились за столом. Ольга поставила греть воду на плитку.

— А что, газу у вас еще нет? — кивнула мать на мертвую газовую плиту так, словно вина в этом Ольги.

— Баллон кончился... — ответил Василий Петрович. Мать налила в две рюмочки коньяк и, немного подумав, налила и Ольге. Потом подняла свою рюмку и произнесла:

— Дорогой мой сын! Ты уже прожил ровно тридцать годочков... И желаю тебе выбрать хорошую девушку, завести настоящую семью... Ты уже сделал достаточно ошибок, потому смотри — больше не ошибайся...

Во время своей речи она несколько раз уронила многозначительный взор на Ольгу. Мать выпила и принялась спешно ловить вилкой шпротину, а Ольга только поднесла рюмочку к губам.

— А в вашем возрасте рано еще прикладываться к спиртному, — вставила между прочим мать. Ольга поперхнулась.

Закусив, мать посмотрела на сына и всполошилась.

— Откуда у тебя кровь на рубашке? Что с тобой?

— Он упал с мотоцикла, — пояснила Ольга, и мать обожгла ее взглядом.

— Это правда? — спросила она.

— Правда, — подтвердил Корнев.

— А откуда мотоцикл? Купил? Деньги были лишние?

— Были, — усмехнулся он.

— Ты бы лучше их матери послал, я бы сохранила. А теперь выбросил на ветер деньги...

— Я могу продать, — заметил Корнев.

— Ты его быстрее разобьешь.

— Не разобью.

— Ну, голову разобьешь.

Все опять замолчали. Ольга заварила кофе и подала его в красивых чашках.

— Я кофе не люблю, — соврала мать.

Ольга пожала плечиками и ушла в комнату, чтобы не мешать. Мать немного помолчала, прежде чем приступить к разговору.

— Куда она ушла?

— К нам, — ответил Корнев.

— Вот что, сынок, — сказала решительно мать. — Ты с ней жить не будешь — это говорю тебе я!

— Как это не буду, если уже живу, — удивился он.

— Ты ее выставишь за дверь... Или уеду я.

— Как хочешь, — пожал он плечами.

— Тебе кто дороже? Мать или эта мартышка?

— Вы мне обе дороги.

— Что же выходит: ты меня равняешь с этой... Да она же еще несовершеннолетняя!

— Ей девятнадцать, — коротко ответил он.

— Значит, — примирительно заявила мать, — у нее что-то не в порядке. Она не смогла развиться и так и осталась ребенком.

— Все у нее в порядке! — тут он очень пожалел, что перед ним сидела родная мать, а не чужая тетя. — Она спортсменка, — едва сдерживаясь, сказал сын. — Она мастер спорта.

— «Мастер», — презрительно усмехнулась мать. — А ты подумал, как она будет рожать? Чем кормить ребенка?..

— Мама! — воскликнул он, вскакивая.

— Не кричи на мать!

«Не кричи», — продребезжали чашки.

— Господи! — простонал он. — Неужели я, в тридцать лет, не имею права распоряжаться жизнью! С детства ты давила на меня! Только из-за этого я уехал! Я убежал от тебя!..

— Ты однажды распорядился своей жизнью сам, — сказала тихо мать. — Теперь же слушайся, пока я жива. Я вижу, что это за девка... Ты хочешь мучиться всю жизнь с ней, да?!

— Хочу!

— А я не хочу, чтобы мой сын пропадал!

— Не пропаду.

— Не пропадешь, если будешь слушаться. — Она попробовала кофе и буркнула: — И кофе-то холодный на стол сунула!

— Так он уже остыл, — возразил Корнев, бледнея.

— Не защищай ее... Вот — разве порядочная девушка ушла бы? Она бы поговорила с матерью жениха, обсудила будущее... А эта — фырк — и убежала! Видно, ей наплевать на меня.

— Она, наоборот, не стала нам мешать!

— Не заступайся, — безнадежно протянула мать. — Небось и родители у нее пьяницы, иначе она не была бы такой страшной.

— Ничего не страшная. Мне она нравится.

— Так вот тебе мое решение: или я, или она. Выбирай, сын, — с горечью и обреченно вздохнула она. — Мать уже старая... Ее не грех и променять на кого попало, — она говорила как бы сама с собой. — Мать, которая воспитала, от себя отрывала последний кусок... А сейчас куда она годна? Вот если б у меня на книжке лежало двадцать тысяч — ты бы и не выбирал. Не умела я копить...

— Мама! Опомнись! Что ты говоришь?!

— Конечно, — согласилась она покорно. — Я уже выжила из ума. Ну, что? Гони мать-старуху. Она лишняя. Она мешает...

— Перестань, мама. Неужели ты не понимаешь, что выбирать тут нечего. Ты — мать. Она — моя жена.

— Мое слово — закон!.. А может быть, ты стесняешься ей прямо сказать? Так давай я поговорю? — она встала.

— Нет! Она останется здесь навсегда!

— Тогда я уезжаю! — Она резко поднялась и стала собирать вещи, громко бормоча проклятия так, чтобы было слышно Ольге.

— Мама, не надо! — воскликнул он и попытался удержать ее.

Но, замкнув чемодан, она сказала:

— Ну, хорошо. Увези ее хотя бы на неделю, пока я здесь... Чтобы я ее не видела...

— Нет. Она будет здесь!

— Тогда, — она нервно подвязала косынку, — вызови мне такси!

— Извини — в Челнах еще нет такси.

— Как это: в крупном городе и нет такси? — изумилась она. — Такси есть. Просто ты не хочешь проводить меня, как положено!

— Конечно, — ответил он, — если мать не желает уехать, как положено... Ложись и отдыхай. Завтра уедешь. Сейчас уже и самолеты не летают. И пароходы только утром...

Она отставила чемодан. Он молча вынес ей постельное белье и, сказав: «Спокойной ночи!» — скрылся в своей комнате.

Ольга сидела на кровати, обхватив голову руками. Он обнял ее за плечи. Они посидели молча около часа, прислушиваясь, как тяжело вздыхает и ворочается мать...

Когда стало уже совсем светло, к ним донесся стон. Корнев вскочил, выглянул в другую комнату и увидел, что мать сидит на кровати и держится за сердце.

— Мама, мама! — кинулся он к ней.

— Мне плохо, — вымолвила она.

Он быстро оделся, побежал звонить в «скорую», нетерпеливо ждал у подъезда, когда белая машина с крестом подкатит к дому, проводил молодого доктора к материнской постели. Тот недолго сидел возле матери. Выписал ей рецепты, сделал укол и молча вышел.

Мать успокоилась, закрыла глаза и как будто бы уснула. Василий Петрович на цыпочках прошел в свою комнату...

Там Ольга, одетая, сидела за столом.

— А ты почему оделась? — устало спросил он.

— Она меня гнала, — тихо сказала Ольга.

Утром Корнев позвонил Калюжному. Тот прислал свою «Волгу». В аэропорт Корнев не поехал и распрощался с матерью почти сухо.

В паршивом настроении направился Василий Петрович на работу. Посидел за столом и лениво принялся грунтовать стекляшки для дверных надписей. Не работалось. Перед глазами вставали жена, дочь, мать, какие-то обрывки: вагоны, самолеты, больницы, кулаки, — все перемешалось в голове. Стандартные рожи смотрели на него с плакатов его же исполнения. Он скрипнул зубами, затем взял молоток и принялся бить уже готовые таблички, приговаривая: «Не так... Все надо не так!» Круша и

ломая трафареты, он даже не заметил, как в дверях появился Рустам.

— Корнев взбесился, — вяло сказал монтажник и сел на рундук.

Василий Петрович зашвырнул молоток в угол и остыл.

— Что с тобой? — спросил Рустам. — Да, впрочем, не все ли равно? Я тут свою цепь забыл — ты ее еще не порвал?

— Вон, — кивнул Корнев на цепь.

Рустам надел цепь на пояс и вновь присел.

— Не дают мне сына — жениться велят, — вздохнул он.

— Ну, женись, — буркнул Василий Петрович. — Возьми и женись на Бочкаревой. А что ко мне пристал-то?!

— Никто к тебе не приставал... А Бочкарева уехала.

— Куда? — удивился Корнев.

— В Сибирь...

Вошел Николай Иванович. Рустама сразу же насторожил его начальственный вид, и он стал собираться уходить.

— Попей чаю, — предложил Корнев.

— Нет, мне надо идти, — замялся он.

— Как хоть Некрасов-то?

— Вкалывает, — пожал плечами Рустам. — Разряд уж дали... Ну, будь здоров, не кашляй! — поднял он ладонь и вышел.

Николай Иванович подошел к столу, подобрал порванный рисунок и удивился:

— Мыльников? Здорово! Он ведь недавно в нашем тресте.

— Лицо характерное...

— Это точно. Зря порвал... Лицо у него действительно какое-то не такое... Тут студентки собираются домой съездить, — объявил он, глядя на погром.

— Пусть едут, — криво улыбнулся Корнев.

— Я полагаю, что и Ольге хочется.

— Она мне не говорила...

Преодолев любопытство по поводу погрома, Приходько вздохнул:

— Все-таки они не привыкли надолго расставаться с родителями... А мне пришлось попутешествовать. Все хотел написать матери, чтобы фото дома прислала на фронт... Кончилась война — отправили на Север. Когда вернулся, приезжаю — а дома нет! Волжское водохранилище — и дом на дне... Никак себе не мог представить, что больше не увижу своего дома. Знал, а не верил!

— С деревней такое бывает, — откликнулся Корнев. — А город? Вот я прожил дома всего шестнадцать лет, а уже за это время мы трижды меняли квартиру. Сейчас мать в четвертой

живет... Приехал на старое место, позвонил. Открыл какой-то... Я ему — мол, детство вспомнить — он и не пустил даже...

— Надо думать, чтоб детям было куда вернуться, — вздохнул парторг. — Человек выходит из родины, как дерево из земли. — Он помолчал, глядя на осколки стекла на полу, и спросил по-домашнему: — Ну, как у тебя с разводом? Ты уж не задерживай.

— Постараюсь, — ответил Корнев.

Парторг еще потоптался на пороге и вышел, а Корнев тут же сел за стол и принялся писать письмо жене.

Рано утром, в пятницу, Корнев и Ольга тронулись в путь. Было прохладно. Медленно вставало солнце. Встречный ветерок влажно бил в кожанку. Впереди лежало четыреста километров, которые Корнев собирался проскочить в течение дня... Пока было холодно, он выжимал из двигателя все.

Кое-где дорога ныряла в низину, исчезая в настоянном за ночь тумане. Корнев нажимал сигнал и не прекращал гудеть до тех пор, пока туман перед глазами не рассеивался, — пулей «Ява» выскакивала из молока. Изредка шоссе тянулось по лесу, и тогда по обочинам над головами возвышались ели. Подкрадывалась осень.

Часа через два Корнев остановился на отдых. Ольга, соскочив с сиденья, принялась разминать ноги. Было тихо. Несмело чирикали птицы, заботливо готовясь к перелету. Скользнула грациозным комочком белка...

Он вошел в лес, остановился и из-за кустов полюбовался маленькой фигуркой Ольги. В белой каске она была похожа на гриб... Налюбовавшись, Корнев закрыл глаза и снова представил ее на дороге. Потом открыл глаза. Закрыл... Ему было хорошо. И он понял, что стало хорошо с того дня, когда группка практиканток под руководством Гали шла к его вагончику. Как белела кофточка Ольги... Это хорошее занимало часть его души, и он страшно боялся, что кто-то извне сможет вдруг войти в их жизнь и развалить все то светлое, что таилось в нем все годы, что береглось как бы специально для нее, для этой маленькой некрасивой девочки, которая, сунув руки в карманы, пинала камушек на обочине междугородного шоссе и обеспокоенно посматривала в сторону леса.

Корневу показалось, что он издевается над ней, и он выбрался из-за кустов...

Уже стемнело, когда на горизонте показались россыпи огней. Корнев радостно вздохнул — спина болела, ноги едва двигались,

пальцы рук зудели... Сзади дремала, крепко прижавшись к спине, Ольга. Качнув мотоцикл, он разбудил ее. Возле въезда в город дорогу перебежала ободранная лиса. Она лениво посмотрела на мотоцикл и исчезла в темноте.

Попав в круговерть незнакомых улиц, он то и дело спрашивал Ольгу, куда поворачивать. Гуляли парочки, ухала музыка. Через полчаса они вкатили во двор кирпичного дома.

— Последний подъезд, — подсказала она.

Он остановился. Она спрыгнула на асфальт и посмотрела на окна.

— Дома! — сообщила она, и у него похолодело в груди. Предстоял нудный разговор — он это предчувствовал.

Ольга быстро полетела по ступенькам, а он, собравшись с духом, поплелся за ней, стаскивая с головы приросшую за четыреста километров каску. Ольга остановилась перед коричневой дверью и принялась греметь ключами. Но замок открыли изнутри.

— Ольга!

— Мама!..

— Ольга! Девочки уже приехали, а тебя все нет и нет. Я же расстраиваюсь!..

— А мы билетов не достали на самолет... Мы на мотоцикле... Познакомься, мам...

Губы матери вытянулись в ниточку. Она ненамного была старше Корнева. Он пожал ее руку и сказал:

— Вася.

— Олина мама, — представилась она. Лицо ее выражало и недоумение, и массу вопросов, которые, наверное из вежливости, она решила оставить на потом.

В сатиновых брюках и зеленых домашних тапочках вышел в коридор сорокалетний тощий и маленький мужчина. Ему очень хотелось быть солидным, и поэтому он надувал щеки. Заговорил с расстановкой:

— Вы что? Тоже из Набережных Челнов? Кстати, я ее отец.

Отец посмотрел грозно на Ольгу, словно спросил ее: «Что это значит?!» Немного затянулась пауза. Нашлась мать:

— Вы, наверное, устали? Есть хотите?.. Я сейчас. — И она бросилась в ванную, а оттуда — на кухню. Вернулась, ткнула мужа: — Ну, что стоишь? Иди переоденься — гости приехали...

— Переоденусь, — процедил отец, не сводя взгляда с Корнева.

Корнев выдержал его взгляд, и ему даже стало смешно.

Отец ушел переодеваться, а Корнев снял ботинки. Из комнаты донесся звук оплеухи — кому она досталась и от кого, для

Корнева осталось тайной. Он прошел в ванную — из зеркала на него глянул грязный бандит. Тогда он накинул крючок и включил душ. Минут через пятнадцать, когда вышел, в большой комнате маленький телевизор орал на тарелки и рюмки.

Семья, видимо, бурно побеседовала. При появлении Корнева все стихли. Он сел, осмотрелся. Напротив сидела уже переодетая Ольга. На отце был дорогой костюм со значком ударника коммунистического труда. Заметно было: с самого начала он хотел показать пришельцу, что шутить вовсе не намерен.

— Выпьем? — спросил всех отец и, не получив ответа, открыл бутылку «старки».

Все выпили и принялись есть. Изредка мать что-то спрашивала Ольгу. Та односложно отвечала. Чувствовалось большое напряжение, которое как бы нагнетал орущий телевизор. Корнев был спокоен. Боялся лишь за Ольгу — как бы ее не обидели...

Наконец отец спросил его строго:

— А кем вы работаете на КамАЗе?

— Художником, — ответил он, жуя. Ольга насторожилась.

— Все ясно! — сказал отец и многозначительно глянул на мать. — Вы учились где-нибудь этому?

— Нет... Я просто рисую — вот меня и пригласили.

— А до этого где работали?

— Монтажником.

— И долго?

— Нет, года два.

— А до монтажника?

— Корреспондентом, — усмехнулся Корнев. Допрос забавлял его.

— Вы кончили университет?

— Нет. Понемногу писал в газету — так и стал работать.

— Так что же выходит? Нигде вы не учились?

— Отчего же? Я окончил ремесленное училище.

— И по какой специальности?

— Машинист шахтного комбайна.

— Так вы и на шахтах побывали!

— Пришлось...

— А почему вы нигде не задерживались? Почему бегали туда-сюда? Вы что — такой неуживчивый? Или вас выгоняли отовсюду? — он посмотрел на Корнева, прищурив глаза.

— Почему «выгоняли»? Меня даже грамотами награждали, на доске Почета висел... Ударником тоже был, — кивнул он на значок.

— Значит, вы просто непостоянный человек, — решил отец, откинувшись на спинку стула.

— Значит, так.

— Выходит, что вы сегодня так, а завтра этак?

— Нет, отчего же...

— Судя по вашей биографии, выходит, что вы такой.

— Нисколько... Мне просто хотелось все увидеть, везде побывать. А вам не хотелось?

— У вас есть родители? — спросил отец.

— Ясное дело.

— Старые?

— За шестьдесят обоим.

— Отец старше матери?

— На семь лет.

— Мда! — вымолвил он выразительно. Наполнил рюмки. Все выпили, и отец продолжил беседу: — Судя по тому, как вы выпили, дело это вам не чуждое.

— Выходит, я, по-вашему, пьяница?

— Может быть, — пожал он плечами, постеснявшись сказать «да».

— Но разлили вы тоже профессионально, — заметил Корнев. Ольга наступила ему на ногу.

— Я в своем доме и пить могу так, как хочу, — вспыхнул он. Мать настороженно дергала мужа за рукав. Ему это надоело, и он взорвался:

— Да не дергай меня! А то я тебя так дерну!!!

— Не болтай лишнего, — сказала мать.

— «Не болтай»! Вон дочь твоя взрослых мужиков в дом ведет, а я молчи? Кстати, сколько вам лет?

— Тридцать.

— Это вы старше Ольги на двенадцать лет?

— На одиннадцать, — поправила Ольга.

— Цыц!!! — крикнул отец.

— Не кричи, — сказала Ольга. — Не порть людям настроения...

— Я?! «Порть»?! Да вы что? Измываться надо мной вздумали! Я здесь хозяин! В этом доме все будет по-моему!.. — Он заводился. — С горшка слезла — и замуж? Вот я те покажу — замуж! — Он было замахнулся на Ольгу, но Василий Петрович поймал его руку и вернул в исходное положение.

— Ты что хватаешься, а? Я тебе кто?.. Да ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю?!

— Кушайте спокойно, — посоветовал Василий Петрович.

— Что «кушайте»? Что «спокойно»?! — Он вырвался из-за

стола, схватил чугунную пепельницу и бросился на женщин.

Корнев поймал его, отнял пепельницу. Тогда отец в ярости перевернул стол, пнул подвернувшуюся кошку и вылетел на улицу.

— Ничего... Немного остынет, — беспечно сказала Ольга, закрывая дверь за отцом. Мать дала дочери пощечину, вышла на кухню и там заплакала.

Ольга стала ее уговаривать:

— Мамочка, не расстраивайся... Надо же мне когда-то...

— Он тебя бросит, — всхлипнула мать. — Он тебя бросит через неделю...

— Нет. Не бросит. Зачем же он тогда приехал со мной?.. Я-то уже познакомилась с его мамой. Она ко мне хорошо отнеслась.

— Ольга, ты подумай как следует, — доносилось из кухни. Корнев сидел на корточках и собирал осколки тарелок с пола.

— ...он же гораздо старше тебя. Да он уже, наверное, десяток таких, как ты, обманул! И женат, небось, и дети есть...

— Нет, мама. Не был он женат ни разу и никого не обманывал, — успокаивала ее Ольга.

— Тогда он — больной...

— Нет...

— А ты откуда знаешь? — встрепенулась мать.

— Ну-у, видно по человеку сразу, — замялась Ольга.

Мать уже не всхлипывала. Она глубоко дышала. Потом попила воды и сказала:

— Знаю я их, этих художников! Они вон во все времена голых женщин рисовали...

Корнев обулся и вышел, решив оставить их наедине.

Город спал. Было прохладно. Корнев застегнул кожанку, закурил и двинулся по незнакомой улице. Вдалеке улица превращалась в широкий проспект. Горели уже ненужные фонари. На горе стоял массивный кинотеатр, выставив вперед слоновые ноги колонн. По дороге тарахтела инвалидная коляска. Сверкнул дугой трамвай...

Осмотрев близлежащий район, он спустился по широким ступеням к реке. Холодная вода волновала водоросли возле берега. Покачивались на волне сухие камышинки.

Оставляя четкие следы на мокром песке, Корнев медленно побрел по берегу, размышляя о создавшейся ситуации.

«Что было б, если бы они узнали, что мы с Ольгой живем! — подумал он. — Пока-то я в качестве жениха... Конечно, лучше б не ездить с ней...»

В стороне, почти на самом берегу, торчал деревянный магазин. Возле служебного входа стояла пирамида бутылочных ящиков. Немного в стороне, на ящике, сидел сторож. Напротив него сидел Ольгин отец. Сторож и отец пили красное вино и жаловались друг другу на жизнь. В ногах сидела пестрая дворняжка и слушала.

Отец увидел Корнева, погрозил ему кулаком и грозно сказал:

— Не подходи лучше!

Подумав, обидеться или нет, Корнев повернул обратно. Добрел до дому, сел на мотоцикл и уставился в голубеющую прореху неба над окраиной города.

Так бы он просидел долго, если бы в окно его не увидела Ольга. Она помахала рукой, но Корнев показал, что в дом не пойдет. Тогда она вышла сама.

— Спать надо. Утро уже.

— Может быть, я лучше поеду? — спросил Корнев.

— Как тебе хочется, — ответила она.

— Да. Наверное, поеду, — решил он. — А ты, как нагостишься, приезжай. Не задерживайся только.

— Всего два дня.

— Два — тоже долго. Я ведь, когда спать ложусь, и то стараюсь подольше не засыпать, чтобы с тобой не расставаться...

— Чудак, — радостно усмехнулась она.

— Ольга-а! — крикнула с балкона мать. — Не маячь во дворе!

— А мы уезжаем! — ответила Ольга.

— Как же так! — всполошилась мать. — А мы хотели завтра собраться с родственниками...

— Когда приеду на защиту диплома, — пообещала она.

— Войди-ка в дом!

Ольга ушла. Спустя полчаса вернулась с матерью, неся каски и сумки. Василий Петрович принялся увязывать багаж, а мать ни на минуту не отходила от дочери: все наставляла ее, сокрушалась, что не погостили, ругала отца...

Километров двести они проскочили одним махом. Тяга ко сну заметно уменьшилась от свежего встречного ветра, а Ольга уже успела немного выспаться на спине Корнева. Когда они остановились размять ноги, он глянул на небо и увидел толстую грозовую тучу. Мерцали молнии. Тревожно замотали верхушками березы...

— Этого нам только не хватало! — вымолвил он с досадой.

Мотоцикл стоял на грунтовой дороге, и, если только начнется дождь, дорога превратится в мокрое мыло.

— Садись... Сколько успеем, — сказал он Ольге.

Вздымая за собой столб пыли, они помчались на большой скорости. Ревел мотор, колеса прыгали по ухабам... Но в тучах мелькнуло, грохнула канонада, и первые тяжелые капли ударили по лицу. Он сдвинул очки на нос и, едва различая дорогу, катил вперед, стараясь проехать еще и еще, пока колею не расквасило. Сумки болтались на багажнике — ехать становилось тяжелее. Ольга спряталась от ливня за его спиной, но вскоре и она промокла до нитки.

Корнев остановился — от постоянного напряжения свело судорогой пальцы. Он принялся растирать руки и мотать ими. По каскам еще сильнее задолбил ливень. Дорога на глазах превращалась в месиво, по которому с трудом ползли трактора и машины...

— Может, доедем до деревни и остановимся? — спросила Ольга.

— Ничего не получится: после дождя еще неделя потребуется, чтобы дорога подсохла... Надо ехать.

Он вновь взялся за руль, и мотоцикл пополз. Заднее колесо юзило и выворачивалось, выбрасывая комья грязи. Иногда они скользили на одном месте, кое-как удерживаясь, чтобы не свалиться в канаву... Понятие «время» утеряло смысл. Они старались как можно дальше пробраться вперед, зная, что впереди еще более сотни километров дождя.

После трех часов этой битвы с дорогой и небесными силами они остановились возле небольшой рощицы. К тому времени они все-таки успели несколько раз перевернуться, и лица их, и одежда были густо покрыты грязью. Мотоцикл тоже был весь вывалян в грязи, двигатель раскалился. Бензин был на исходе, и Корнев, подремав на пне под крупнокалиберными каплями, встал и вышел на дорогу, в надежде остановить машину.

Ольга с обочины казалась слабым, беззащитным котенком. Она ежилась от сырости, хлюпая покрасневшим носиком. Ее фигура, казалось, росла у подножья березы и мокла под дождем потому, что не было у нее ни дома, ни другого места на земле. В глазах ее жили покорность и всетерпение.

Мимо прогремел трактор с лафетом. Водитель любопытно глянул на Корнева и покатил дальше. Вскоре, роя грязь, выкарабкался грузовик. Корнев махнул рукой — он остановился

— Что? Стакан бензину? — хохотнул шофер.

Глядя, как Василий Петрович доит его бак, он спросил:

— Далеко, приятель, путь держишь? — и одарил мотоцикл презрительным взором.

— В Елабугу, — сказал Корнев.

— Так ты не туда. Эта дорога на Пермь.

— Брось! — распрямился Корнев. — Так как же теперь-то?

— Тебе надо выбираться на дорогу Казань — Уфа. Вернешься обратно. Тут всего десять километров... Увидишь белую церковь — и за нее, вправо...

Уже темнело, когда на горизонте показались свечи елабужских колоколен. Эти красотки стояли среди частных изб, огородов и заборов. Незадолго до Елабуги дождь прекратился, и теперь встречный ветер сушил на лицах грязевые маски. Началась спасительная асфальтовая дорога.

Корнев вел мотоцикл, и ему не верилось, что они чуть ли не дома. Ольга держалась сзади в обхват и как бы застыла за его спиной.

— Остановимся? — спросил он ее.

Ей очень хотелось, чтобы он остановился, но она ответила неопределенно:

— Как хочешь...

— Ну, тогда терпи! — крикнул он и, минуя городок по объездной дороге, вкатил в лес.

Дорога здесь была оживленнее, и он включил фару. То и дело навстречу попадались грузовые машины, автобусы, легковушки. На камском берегу осторожно вскарабкались на паром по трапу, заляпанному жирной глиной. Корнев заплатил за перевоз, и они, в ожидании отправки, повисли на перилах. Взгляд Ольги был пуст. Она безразлично смотрела в глубины Тарловского бора, где ели и сосны стояли по грудь в ночном тумане. Из тумана с трудом, будто из болота, поднималась надраенная луна...

Корнев обнял Ольгу и прислонил ее голову в грязной каске к своему плечу... Что-то кричал в мегафон помощник капитана, командуя погрузкой транспорта. Потом рявкнул гудок, ему откликнулось эхо, увязая во влажной темноте. Загудел двигатель, палуба задрожала, будто в ознобе, и паром отчалил. В небольшой будочке на носу бренчала гитара. Курили возле машин уставшие шоферы, сплевывая в Каму, посматривая сочувственно на Корнева и Ольгу.

Челнинский берег встретил моросящим дождем. Они едва выбрались на центральную улицу, состоящую из двухэтажных деревянных домов. Проехали сиротливо прилепившийся на отшибе городской вытрезвитель, пожарную каланчу, банк...

Не добравшись до дому метров двести, они остановились. Кончился бензин. У Корнева не оставалось ни сил, ни духу...

Ольга спустилась на землю и сказала с мольбой:

— Ладно, докатим так...

И он взялся за руль. Ноги подгибались в коленях...

Установив «Яву» во дворе, он взял в руку сумку, другой рукой обнял Ольгу. Поднялись на второй этаж. Он помог ей содрать курточку, сапоги, каску. Напустил в ванну горячей воды и, пока она купалась, сидел на кухне в полусне и курил...

Ее не было долго. Корнев закрыл глаза — все еще ползла ему навстречу грязная дорога. Видно, он задремал. Ольга тронула его за плечо.

— А!.. — откликнулся он.

— Устал? — зачем-то спросила она.

— Да, смертельно! Посмотри, — и показал ей разбухшие ладони, щедро покрытые мозолями.

— Я там включила воду, — сообщила она. — Только слабый напор...

— Ничего. Подожду...

— А хочешь, я приготовлю ужин?

— Я сам. Вот только искупаюсь... А ты очень устала?

Она не ответила. Она уставилась в окно, где красовались огни города, гирлянды уличных фонарей, потом вздохнула:

— Хорошо!..

— Хорошо, — согласился он. Ему было действительно хорошо. Еще не верилось, что они добрались.

— Знаешь что?

— Нет, — пожал он плечами.

— У меня будет ребенок...

— Точно?!! Это точно?

— Совершенно.

Он вскочил (куда делась усталость), схватил ее грязными руками, поднял и стал кружиться по комнате, яростно крича:

— У нас! У нас! У нас!

Она безудержно смеялась. Он целовал ее, тыча перепачканное лицо в ее щеки, в лоб, в нос...

Она смеялась.

Она смеялась и рыдала.

ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВ

У СРЕДНЕЙ РОГАТКИ

Возле дома высотного хмуро
В глубь земли зарывается дот
И ощупывает амбразурой
Отдаленные склоны высот.

К небу тянутся теплые кроны,
Забирается ввысь самолет,
Новомодные микрорайоны
На рассвете уходят в полет —

Только
Доты
В зеленых кварталах
В землю врезались тяжестью всей,
И стоят они, как пьедесталы
Настоящих
И будущих дней.

* * *

Я стою на Лиговском проспекте,
Щурюсь от рассветного огня,
И, наверно, нет на целом свете
Человека празднее меня.

Вот шагну сейчас, куда — не знаю:
Вправо, влево или напрямик.
В каждом этом случае иная
Жизнь начаться может в тот же миг.

Может быть, на парковой дорожке,
Где светло от пения синиц,
Выплеснется синью осторожной
Взгляд девчоночий из-под ресниц.

И возможно, повернется круто
Все в моей размеренной судьбе...
Может быть, последние минуты
Самому принадлежу себе.

* * *

Отчего-то чудится опять,
Что я встречусь нынче, как бывало,
Вновь с тобой, лишь стоит добежать
Побыстрее до конца квартала.

А в глаза бьет солнце с высоты,
Март шумит прибоем воробьиным,
И сейчас вот в переулок ты
Выбежишь из-за ворот старинных.

И на свете ничего не жаль
Подарить за эту вот минуту...
И звенят сосульки об асфальт,
Будто бы на счастье бьют посуду.

* * *

Собачьих слез не видит человек,
Он часто лишь свою смакует горесть,
И тихо плачет в новогодний снег
Щенок бездомный, словно чья-то совесть.

Он так стерег людскую тишину,
Он так старался людям быть полезным,
Что даже ночью тявкнул на луну,
Когда она в хозяйский дом залезла.

И вот, пронзенный холодом насквозь,
Среди людей он не находит близких,
И месяц в небе стынет, будто кость,
Что из собачьей выброшена миски.

* * *

В полупустой полуденной столовой,
Где фикус длинною поник листвой,
Признания немыслимое слово
Я из гортани вытолкнул сухой...

А за окном качался день обычный,
Троллейбусы катили и такси
И, видимый на фоне стен кирпичных,
Дождь тоненькими струями косил.

И приглушенно звякала посуда
На столиках за спинами у нас...
И ничего не предвещало чуда,
Покуда ты не поднимала глаз.

* * *

Солдаты сорок первого, проснитесь!
Лугами и бескрайностями ржи
Вы хоть на час к домам своим вернитесь,
Далекие оставив рубежи.

Сквозь города пройдите и селенья,
Поднявшиеся к солнцу из углей,
Чтоб вам, не испытавшим наступленья,
Потом лежать спокойнее в земле.

Чтоб, смертной встав наперекор кручине,
Лежащие совместно или врозь,
Узнали вы, что с вашею кончиной
Все то, что после будет, — началось.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ

* * *

Это край мелколесья
И ржавой осоки.
Это край, где дожди цвета мокрого льна.
Это выдумки все,
Что березы — высоки,
Небеса — необъятны и даль — не видна.

Даль видна:
Это кромка осеннего утра,
Где туманом омыты кусты ивняка
И холодная
Ниточка сереньких уток
Бесконечно протянута издалека.

Даль видна, присмотрись:
За изгибом дороги
Притаился сиренью окутанный дом,
И тропинки от дома
Легки и пологи,
И гусиный пушок над лиловым прудом.

Это даль, это детство,
Пусть даже нечетко:
На песке отпечатанный узенький след —

И сверкнет,
Открывая калитку, девчонка
Ободочками
Солнечных
Сандалет...

* * *

Сказывают, раньше это было:
На сто верст болотных — ни души.
По ночам листву в лесу знобило.
Леший кашлял, филинов глушил.

В этот край, где каменеют скулы
Валунов, затерянных во мхах,
Из глубин Руси пришел сутулый,
Продубленный ветрами монах.

Кто он был — одной земле и ведать.
Голос тех времен доныне скуп.
И приткнулся у озерной вербы
Пахнущий сосновой щепкой сруб.

Все менялось в мире суетливом:
Свадьбы, тризны, войны здесь и там,
Как в морях приливы и отливы,
То звенели песни, то металл.

Но сюда, в дремотное молчанье,
Где в низинах стыли облака,
Звук мирской с рассветными лучами
Много лет еще не проникал.

Лишь когда отшельника не стало,
Вепс-полесник из неблизких мест
Над обрывом у ручья поставил
Суковатый и тяжелый крест.

С той поры хранятся в деревеньке
Без званья, так она мала,
Горсть монет — серебряные деньги,
Туесок да ржавая пила.

А еще видали, правда редко, —
Есть у бабки, старой, как Оять,
Та икона, что, по сказу предков,
Край лесной не может покидать.

На окладе стерлась позолота,
Почернел святого старца лик,
Он стоит у лунного болота,
Немощный, беспомощный старик.

Синевой подсвечены осины,
Звезд полна тяжелая вода,
Вот и понял он свое бессилье,
От чего уходит навсегда.

Вот и понял он, что есть на свете
Лишь одно бессмертие — земли...
Триста лет... Но так же чист и светел
Тонкий ствол, белеющий вдали...

* * *

Мы оживляем прошлое с трудом.
Живем по общепризнанным законам.
Но сколько раз, щемящим и знакомым,
Приходит детство в постаревший дом.

И, очищая дочке апельсин,
Вдруг вспоминаешь это же движенье
И руки матери, а память — отраженье
Ее незабываемых морщин.

* * *

Из детства очень просто уходил:
Крутились у дверей военкомата,
И о мальчишках, длинных и худых,
Вздохнула бабка, проходя: «Солдаты...»

И был смешон залатанный пиджак,
Разлет ушей из-под огромной кепки.
Я был зачислен в роту «салажат»,
В шестую роту танковой учебки.

И очень быстро был приобретен
Глубокий интерес к простой капусте,
А вымытый объемистый котел
Стал азбукой солдатского искусства.

И первый бой, тяжелый, кстати, бой,
Я принял не в железном брюхе танка,
А на плацу, когда, смирясь с судьбой,
Вбивал в кирзу измятые портянки.

А через месяц я уже писал
Своим родным таким технарским слогом,
Что мать моя не верила глазам
И собиралась в дальнюю дорогу.

Ах, мама, мама! Где же ей понять
Армейский метод перевоспитанья,
Что мальчика-филолога, меня,
Она в пустой казарме не застанет,

Что вновь уйдет четвертый батальон
Лопатить грязь у танковых препятствий,
Что сын ее, быть может, и смешон,
Но, черт возьми, впервые в жизни счастлив.

ПРИБАЛТИЙСКОЕ ДЕТСТВО

Пятидесятые. Как помнятся те годы,
Когда земля была начинена
Металлом, заменявшим нам природу,
И памятью, где что ни шаг — война.

Казалось, столько лет уже я прожил,
Но все сильнее сквозь шеренгу лет
Я чувствую своей недетской кожей
Коросту пулеметных ржавых лент,

Я помню, как врывались мы в подвалы,
Как штурмовали старые форты.
Да, мы тогда мгновенно узнавали
Сороковых суровые черты.

И сквозь кирпич дымящихся развалин,
Сквозь прошлое, по меткам пулевым —
Мы всю войну прошли, хоть и не знали
Ее цены. Цена которой — мы.

УРОКИ РИСОВАНИЯ

Давным-давно, в начальных классах,
Нас на уроках рисованья
Учили не смешенью красок,
А тишине и ожиданью.

В пустынном парке возле школы,
И акварель забыв, и кисти,
Мы пили чистый и тяжелый
Настой цветных осенних листьев.

Учитель! Вас мы понимали.
И принимали нашим детством
Голубоватый цвет эмали
В луче, упавшем по соседству,

И ту задумчивость, с которой,
Забыв, что годы — не минута,
Вы шли и шли вдоль косогора
Военным памятным маршрутом...

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

ПОДО МГОЮ

Подо Мгою холмы нарыты,
Подо Мгою шумят березы
И кричат в тишину сердито
Беспокойные тепловозы.
Подо Мгою в ночи, наверное,
Ветер с Ладоги травы стелет
И, как воины на поверке,
Перекликнулись коростели.
Мой отец — он уже не встанет,
Мне на свадьбе не крикнет: «Горько!»,
Внука ласково не поманит,
Не побродит с ружьем на зорьке.
Затерялся отцовский холмик,
Где березы на карауле,
Только ладожский ветер помнит,
Как солдата настигла пуля.
Подо Мгою холмы нарыты
Километрами за окошком.
Губы сына во сне открыты
И тепла под щекой ладошка.

* * *

Ах, ствол у березы отчаянно тонок,
Над ним потрудился какой-то подонок:
Оставил глубокие злые затесы,
Приладил стакан под березовы слезы...

Какая-то девочка в синем берете,
Видать, бесконечно расстроена этим.
Она, тонкорукая, очень сродни
Березе вот в эти весенние дни:

Такие же светлые, русые пряди,
Такая же синь в опечаленном взгляде,
И то же стремление ввысь, к облакам,
И та же открытость весенним ветрам.

Заботливо теплые, чуткие руки
Сухою травой спеленали зарубки,
Точь-в-точь наложили на рану бинты:
«Красуйся, моя тонкопрядная ты».

Бывает: подступят нечаянно слезы,
Но вдруг, как спасение, — облик березы
И девочка в синем пушистом берете.
И, знаете, легче вздохнется на свете.

ЮРИЙ ШЕСТАКОВ

У ПРОХОРОВКИ

Поутру, по огненному знаку
пять машин «КВ» ушло в атаку.

*Сергей **Орлов***

О жизни и о смерти
до утра
дождь говорил
на языке морзянки...
Работали в тумане трактора,
а чудилось —
в дыму гремели танки.
Лучом пронзило мглу,
и предо мной
сверкнул пейзаж,
как снимок негативный...
Мне жутко миг представить за броней,
которую прожег
кумулятивный!
Я думал, сталь —
надежнее земли,
но в сорок третьем здесь пылало лето:
и сталь и кровь беспомощно текли,
расплавившись,
и были схожи цветом.
Наверно, мир от ярости ослеп:
чернело солнце,

мерк рассудок здравый,
когда в той схватке
с диким воем
степь
утюжили стальные динозавры.
Огромные, железные, они,
друг друга разбивая и калеча,
скрывали там,
за панцирем брони
трепещущее сердце человечье.
Земля и небо —
в звездах и крестах!
И раны кровоточат и мозоли.
В эфире жарко,
тесно, как на поле, —
звучит «Огонь!» на разных языках,
на общечеловечьем —
вопли боли!
И где-то здесь,
среди бугров
и ям,
сквозь смотровую щель шального танка
ворвался полдень
и, как белый шрам,
остался на лице у лейтенанта...

Войны не зная,
понимаю я,
что в том бою должна была решиться
судьба России и судьба моя:
родиться мне на свет
иль не родиться,
не спать ли мне однажды до утра,
за Прохоровку выйдя спозаранку,
где бродят тени опаленных танков,
где все траншеи срыли трактора.

ПЕТР КИРИЧЕНКО

ЗАРЕЧЕНСКИЕ ВЫСЕЛКИ

Н. П. Ковязину, моему отчиму

В памяти человеческой ничто не пропадает бесследно, хранится годами так бережно и так далеко где-то, что, кажется, и не вспомнить уже никогда; и живет человек, ничуть не тяготясь тем, чего не помнит, заботится своими делами, как вдруг — точно просверк молнии в ночи — вспыхнет старое, осветится; и нет уже человеку покоя, и событие, казавшееся мелким, не таким и значительным, чтобы о нем помнить, увидится вдруг совсем иначе.

В конце июля Никодим Васильевич поехал в Зареченские Выселки — небольшой районный городок, серый, пыльный, построенный еще до войны на пересечении двух железных дорог, — до последнего времени и не городок, собственно, а поселок, — название его «Зареченский» родилось в первые годы застройки, когда из ближайших сел из-за речки Оржицы потянулись люди на новое место, да так и прижилось. Разрушенный войною городок отстроился, и теперь в нем три десятка улиц, железнодорожные мастерские и большая товарная станция, поэтому на центральной улице, где возведены двух- и даже трехэтажные дома, бывает довольно-таки людно, пахнет дымком от вагонов, соляром и пылью. Часто кричат тепловозы, и все прибывают и убывают товарняки. Пассажирские поезда стоят не больше пяти минут, люди выскакивают из вагонов и бегут то в буфет вокзала, то на маленький базар, где продают вареную картошку, огурцы и яблоки... Здание вокзала двухэтажное и приземистое, с узкими

окнами и коричневыми дверьми; возле него всегда пахнет жареными пирожками и кислым пивом. Над вагонами и базаром кружится и сердито каркает воронье. Словом, обычный, ничем не примечательный городок, и понятно, что Никодим Васильевич нашел его таким, каким представлял себе все эти годы. Он был уверен, что городок расстроится, но знал — и в этом случае останется хоть что-то, что напомнит ему то далекое время, конец войны.

О поездке Никодим Васильевич думал давно: лет десять назад впервые пришла ему в голову мысль об этом и с тех пор тревожила, заставляла вспоминать. Думая, Никодим Васильевич находил, что ехать в Зареченские Выселки незачем, потому что никто его там не ждет, поначалу даже посмеивался над собою, вспоминал, сколько они тогда освобождали таких поселков. На какое-то время забывал, после снова вспоминал, даже прикидывал, как бы он собрался и поехал. Никодим Васильевич знал, что купит для этого случая рюкзак и положит в него только самое необходимое: бритву, рубашку, пару белья да всякие свои лекарства. И ехать Никодим Васильевич хотел бы не на поезде, а на машине или автобусе. Отчего ему хотелось прибыть в Зареченские Выселки непременно на машине, он не знал, да и думал об этом как-то несерьезно — мечтал и не трогался с места; но однажды, идя из редакции газеты, где он работал, зашел в магазин спортивных товаров и купил рюкзак, небольшой выбрал, приглянувшийся. Две зеленоватые лямки рюкзака были упругими от новизны, пахли складом и жесткой, еще не обломавшейся тканью и напоминали собою винтовочные ремни. Никодим Васильевич только подумал об этом, как сразу же почудилось ему, что пахнет еще и ружейной смазкой, и, довольный покупкой, он, вскинув пустой рюкзак на правое плечо, пошел домой.

Жил он в центре города, на Пушкинской улице, в небольшой квартире, одиноко жил и привычно. Жениться, как полагал Никодим Васильевич, он не успел по причине постоянной занятости, а также потому, что считал себя человеком нелюдимым, замкнутым и не очень-то приветливым. Раньше, когда он еще надеялся жениться, ему думалось о том, что не всякая женщина выдержит его характер, не всякая приладится, и винил себя. Одно время он долго ухаживал за машинисткой из издательства, с которой и познакомился по работе, водил ее на концерты или в кино, дарил цветы... Но вероятно, машинистка решила, что время ухаживания затянулось, и вышла замуж за другого. Никодим Васильевич погоревал какое-то время — оказалось, привык к этой женщине, — но после все забылось и он просто жил. А когда набегали подобные мысли, он отмахивался от них, заключая спра-

ведливо, что годы уже не те. «Да и вообще, — говорил он мысленно, а иногда и вслух, — что за разговоры!» И время шло, годы бежали — и стало их почти шестьдесят... Так что этот вопрос отпал сам собою. Кроме того, стало побаливать сердце, об этом приходилось думать, раненый глаз, над которым военврач выкинул кусок кости и стянул кожу, все больше туманился бельмом. Никодим Васильевич от операции отказался, а доктора и не настаивали из-за слабого его сердца... Словом, забот хватало. С виду, правда, Никодим Васильевич еще довольно крепок. Худой, всегда по-военному подтянутый, костюм строгий, однотонный, галстук завязан маленьким тугим узлом. Волосы седые, коротко постриженные. Лицо тоже худое — скулы выдаются — и кажется иногда злым из-за шрама над левым глазом, где отчетливо видны три рубца. Левой брови почти что нет, и на ее месте — неровная впадина, по ней изредка пробегает нервный тик, отчего кажется, что Никодим Васильевич подмигивает кому-то. Но это бывает редко, только тогда, когда Никодим Васильевич сильно разволнуется.

Рюкзак висел года два на стене, у письменного стола, и Никодим Васильевич, придя, бывало, из редакции, смотрел на него, вспоминал Зареченские Выселки и надеялся, что когда-нибудь он все же туда поедет. Там же продолжал он висеть, когда Никодим Васильевич ушел на пенсию; это произошло сразу же после того, как он два месяца провалялся в больнице... На пенсию Никодима Васильевича провожали тепло и бурно. Его заместитель, с которым они проработали восемь лет, сказал речь; он напомнил, что Никодим Васильевич воевал, после учился и начинал свою журналистскую практику в этой же газете; начинал журналистом, а заканчивает редактором. Еще заместитель сказал, что теперь у Никодима Васильевича наконец-то будет то, чего всем так не хватает, — свободное время... Маргарита Николаевна, бессменная секретарша, полная и хлопотливая женщина, позаботилась о том, чтобы было что выпить; она же заварила непременный при всех редакционных разговорах чай... Никодим Васильевич растрогался, глаз его дернулся несколько раз, когда он благодарил своих бывших сотрудников, ему было грустно: все же пенсия — будто конец жизни. Никодим Васильевич думал об этом и еще о том, что работа в редакции будет так же катиться без него, как и с ним, что уход одного человека еще ничего не значит... Ему вспомнилось, как в университете он мечтал о рассказах, о больших статьях; он и написал несколько рассказов, напечатал их. Но это было совсем не то, о чем мечталось: слабые, типично газетные рассказы. Никодим Васильевич еще какое-то время надеялся, что у него появится свободное время и он на-

пишет, а после — редко вспоминал: редакторская работа требовала полной отдачи. Никодим Васильевич засиживался ночами над чужими рукописями и о своих рассказах забывал. И постепенно он свыкся, понял, что ничего уже не напишет, и утешал себя мыслью о том, что должен же кто-нибудь делать эту — редакторскую работу.

Обо всем этом думал Никодим Васильевич, пока пили чай и говорили о разных вещах, и неожиданно для самого себя прочитал стихи. Читал тихо, раздумчиво и грустно, и когда дошел до слов:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,

то показалось ему, что он, десятки лет знавший эти строчки, только теперь понял их по-настоящему; он почувствовал, как ощущение какой-то удивительной легкости коснулось его, и с ним пропали и годы, и тяжелое, становившееся иногда затвердевшим, словно каменным, сердце; на секунду показалось Никодиму Васильевичу, что жить он будет вечно, и больше того — он хотел этой жизни...

Когда Никодим Васильевич закончил читать, было тихо, потом все сотрудники зашумели; Маргарита Николаевна прослезилась и, убрав аккуратно платочком слезы, смело заявила: «Ушел человек — и говорит что хочет!» Заместитель рассмеялся, все допили чай, и вскоре Никодим Васильевич ушел из редакции и, когда оказался на вечерней, освещенной улице, по которой столько отходил с работы на работу, как-то по-новому увидел и дома, и людей, будто бы только теперь понял, что и впрямь — свободен. Он медленно зашагал по тротуару, потоптался у освещенного изнутри газетного киоска, у которого никогда даже не останавливался: некогда было, а к тому же все журналы доставлялись в редакцию, и неторопливо пошел домой. На душе у него было легко и спокойно, и вечер был до удивления хорошим, тихим и не холодным. Весь день падал снег, но в сумерки небо очистилось, и теперь только отдельные снежинки взблескивали, пролетая в белом свете фонарей...

Никодим Васильевич уже не думал о свободе, решив, что в таком виде она никому не нужна, и вспоминал Зареченские Выселки, все, что там с ним произошло. Вспоминая, он тяжело вздохнул, потому что подумалось ему в тишине и пригожести этого вечера, что, может, и не было вовсе той ночи, а все привиделось ему, не было и самого поселка Зареченские Выселки, затерявшегося среди полей. Никодим Васильевич сосчитал — получилось, что прошло тридцать семь лет. Он невесело улыбнул-

ся — такой отрезок равен человеческой жизни, и немудрено что-то и забыть, но тут сердце его стукнуло два раза отчетливо и защемило. Никодим Васильевич остановился, постоял немного и, с опозданием подумав о том, что не надо было пить водку в редакции, медленно пошел дальше. «Но иной раз, вот как сегодня, — тут же возразил он себе, — и не выпить неудобно — традиция вроде. . . И если бы не сердце, то что оно там, сто грамм. В войну. . .»

Сердце опять сдавило. Никодим Васильевич достал из кармана валидол и решил не вспоминать больше ни Зареченские Выселки, ни ту ночь, когда он, мгновенно проснувшись от какого-то шороха, увидел впотьмах что-то смутное и белое. В хате, где они остановились после освобождения Выселок, было темно и жарко, и в первый момент Никодим Васильевич, привыкший за три года войны к тому, что спит солдат не тогда, когда ночь, а тогда, когда есть возможность, привычно выпалил:

— Что?! К комбату?!

И сразу же вскочил, чтобы одеваться.

— Тссс! . . Не пугайтесь, — сказало видение жарким, прерывистым шепотом. — Это я! . .

Голос был девичий, тонкий, но подействовал он на Никодима Васильевича сильнее выстрела; он оторопел до того, что замер, как парализованный, и глупо только подумал: «Стало быть. . .» Так же он, помнится, успел подумать и в тот раз, когда на него навалились два немца, пытаясь взять его живым. Тогда тоже была темнота, и жив он, конечно, остался только потому, что им нужен был «язык». Это Никодим Васильевич сразу же сообразил и, следом за двумя этими словами, вспорол финкой живот одному немцу. А с другим они возились еще долго, пока он не прикончил и того. И только после почувствовал, что был у смерти в зубах, и какое-то время в голове крутились эти два слова: «Стало быть. . .»

Дочь хозяйки ушла от него утром, когда уже почти развиднелось. Он даже лица ее не разглядел как следует, и когда вспоминал, то виделось ему одно сплошное белое видение. Да еще слышалось: «Я пришла. . .»

А утром они выступили спешно из поселка и пошли дальше.

Никодиму Васильевичу казалось странным то, что первые десять лет после войны он ни разу не вспомнил этой ночи, ни разу. . . Ни поселок не вспомнился, ни хозяйка, ни ее дочь — они обе стояли у дома, глядя на их спешные сборы. . . Никодим Васильевич не помнил, оглянулся ли он на женщин. Через полгода его тяжело ранило, и война для него закончилась. Он долго лежал в госпитале, тяжело и постепенно выкарабкивался, и такой

провал в памяти Никодим Васильевич мог объяснить только ранением в голову.

Странно, но сначала почему-то ему вспомнилась речка, отчего-то ее название больше запало в память, и Никодим Васильевич долго повторял: «Оржица... Оржица...» Слово было знакомым, близким, но откуда оно, Никодим Васильевич не знал, не мог вспомнить. А как только вспомнил, что так называлась речка, появилось мало-помалу и все остальное: и Зареченские Выселки, и бой за них, и та ночь...

В тот вечер, идя из редакции домой, Никодим Васильевич твердо решил, что едет в поселок немедленно; на сборы он положил два дня: надо было перевести пенсию на книжку и заплатить за квартиру. От такой решимости Никодим Васильевич почувствовал себя лучше, даже зашагал увереннее и не думал больше о сердце, которое постукивало с перебоями.

И все же Никодиму Васильевичу не удалось поехать немедленно, потому что на следующий день он снова попал в больницу. Врачи признали инфаркт, и он провалялся до апреля, так что выехать в Зареченские Выселки смог только в конце июля.

От города, в котором жил Никодим Васильевич, до Зареченских Выселок было больше тысячи километров, и пришлось сутки париться в душном вагоне. Никодим Васильевич спасался тем, что подолгу простаивал в коридоре, глядя на леса, а затем поля, плавно под стук колес уплывавшие назад. Не доезжая до Зареченских Выселок сорок с небольшим километров, он вышел из поезда в каком-то небольшом городке и подался на автобусный вокзал. Обо всем, что его интересовало, он расспросил соседа по купе, знавшего эти места и ехавшего дальше Выселок. На автовокзале он чуть было уже не купил билет, но вдруг заинтересовался грузовой машиной, подъехавшей почти к кассам. В кузове грузовика стояло два больших колеса от трактора и лежал на боку платяной шкаф в деревянной грубой упаковке, сквозь которую проглядывала, сверкая на солнце, полировка... Шофер грузовика, невысокий пожилой мужчина в замасленной зеленой рубашке и старой кепке, покупал в ближайшем ларьке ситро. Он взял бутылок пять и, сказав что-то продавцу, рассмеялся и пошел к машине. Никодим Васильевич видел все это, стоя в очереди. Он мигом, будто от толчка, схватил свой рюкзак и подошел к шоферу.

— Вы, простите, не в Зареченские Выселки?— спросил он. — Не в ту сторону?

Шофер оглядел его внимательно, помедлил секунду, прежде чем сказать небрежно и в то же время по-человечески просто, так, будто это было ясно и без слов:

— Сидайте...

И они поехали.

Шофер оказался молчаливым, он легко держал грубыми, побитыми и почерневшими руками руль, смотрел вперед на асфальт дороги и, казалось, даже забыл, что рядом с ним сидит случайный попутчик. Никодиму Васильевичу неудобно было отрывать шофера от дела да от своих каких-то мыслей, и он тоже молчал. Вдоль дороги тянулась лесозащитная полоса, шикали встречные машины. Солнце светило по-летнему жарко. В кабине грузовика было несравнимо лучше, чем в купе поезда, потому что сквозь открытые окна врывались сквозняки... Один раз остановились, вышли; шофер обошел машину, заглянул в кузов и покачал рукою шкаф, будто убеждаясь, что лежит он как надо. И снова поехали. Никодим Васильевич не удержался и спросил:

— Обнова? ..

— Та не... Добрыня просил — привези и привези, — не сразу ответил шофер и так, будто Никодим Васильевич непременно должен был знать этого самого Добрыню. — Оно у нас тоже продавалось, — продолжал шофер, взглянув на попутчика и обратив к нему свое невыразительное, плоское лицо с маленькими хитроватыми глазами. — А теперь нема, не завезли... А у них тут мебельная хвабрика, так я и купил ему. Вот и везу, стружки подложил, чтоб не поцарапать, и думаю себе: а случаем оно в хату не пролезет, а?

И он пристально еще раз взглянул на Никодима Васильевича, как бы интересуясь, понимает ли его попутчик что-нибудь в таких делах. Никодим Васильевич не знал, что ответить, и сказал:

— Был бы шкаф, уж как-нибудь внесут...

Шофер тихо посмеялся на эти слова, но ничего не сказал и замолчал на следующие полчаса. И Никодим Васильевич весь остаток дороги довольствовался надсадным гулом мотора да бряцаньем ведра в кузове. Монотонность движения, бесконечная, казалось, лесозащитная полоса, за которой изредка открывались поля, утомили Никодима Васильевича, и он обрадовался, когда впереди показался железнодорожный переезд. Он был закрыт, и пришлось ждать, пока мимо не прошумел стремительно товарняк, скрыв на минуту будку и женщину в желтой куртке. Женщина стояла на бетонном приступке, снабженном железными трубчатыми перилами, и держала, приподнимая в руке, флажок. Она напомнила Никодиму Васильевичу военных регулировщиц, стоявших на перекрестках в войну...

Когда товарняк умчался и открылся переезд, они поехали дальше, но Никодим Васильевич успел рассмотреть лицо жен-

щины, оно оказалось веснушчатым, молодым. Платок на ее голове был повязан так, что получался козырек от солнца.

— Считай, приехали, — буркнул шофер, сворачивая от переезда вправо, — считай, что дома...

Никодим Васильевич кивнул головой и засмотрелся на первые дома Выселок; эта улица была совсем новой, и заборы, кое-где еще не крашенные, янтарно горели на солнце. Участки под застройку нарезаны были так, что улица тянулась вдоль железной дороги. Во многих дворах стояли времянки, а около них лежали кирпичи и шлакоблоки или же кругляк. Один дом сразу же кинулся в глаза Никодиму Васильевичу тем, что его выкрасили в яркий желтый цвет, и этим он напоминал будку у переезда...

— А мы у вокзала будем проезжать? — спросил Никодим Васильевич и, не дав шоферу ответить, продолжал: — Мне бы где-нибудь остановиться надо...

— У вокзала не будем, — степенно ответил шофер. — Мы за эртээсом налево пойдем, а остановиться... Та где ж?.. У Селифонихи! Во! — проговорил он быстро и как-то обрадованно, подумал и, чему-то улыбаясь, добавил: — У нас и готель есть, так что, ежели...

— А где живет эта Селифониха?

— Та где живет? — переспросил шофер. — Тут и живет, и благодать у нее — сад хороший, да... Словом, спокойно отдыхать будете, довольны будете... А я, — продолжал шофер, — как шкап доставлю, так вас и отвезу... Чего там...

Последние слова он сказал так, будто Никодим Васильевич собирался возражать, и еще раз усмехнулся незаметно и даже кепочку потрогал пальцами, помял козырек. Видно, была у него какая-то тайная и приятная мысль.

Какое-то время они ехали по асфальту, а после свернули в узкую, зеленую и пыльную улочку, на углу которой был вырыт колодец с белым бетонным кольцом вместо сруба и зеленым крашеным козырьком над ним. Под козырьком стояло большое цинковое ведро и блестело на солнце. Проехав пять или шесть дворов, шофер притормозил, остановился. Прямо перед ними была низина, густо поросшая травой и уходившая туда дальше, в огороды. Два дома, приходившиеся как раз на нее, казались ниже других. Воды в низине было мало, больше грязи. Вот этой грязью, намешанной близ дома, и швыряли друг в друга двое братьев-близнецов, одетых в одинаковые красные рубашки. Им было лет по пяти, и занимались они этим делом самозабвенно, кричали от восторга и успели заляпаться с головы до ног.

— Во, разбойники! — спокойно заметил шофер и стал подавать машину задним ходом. Дети, будто услышав его слова, оста-

вили лужу и понеслись к машине. — Поглядите за ними, а то под колеса сунется кто, — сказал шофер и притормозил.

Никодим Васильевич вылез из машины и остановил бегущих близнецов, постоял с ними, пока грузовик медленно въезжал во двор.

— Вас как зовут? — спросил он братьев, но те не ответили и только настороженно на него глядели, а потом повернулись и опять рванули к луже.

— Ну, бегайте, — сказал еще Никодим Васильевич и пошел во двор.

Из времянки, стоявшей в глубине заросшего травой огорода, низкой, крытой толем, уже вышел высокий, здоровый мужчина лет сорока и открывал борта кузова. Верно, потому что он сразу же увидел шкаф, лицо его сияло.

— Ну вот, Добрыня, — говорил шофер, когда подошел Никодим Васильевич, — я свое сполнил... так что владей, радуйся... А кровати и у нас есть, скажешь — привезу...

— Спасибо! — отвечал на это Добрыня густым голосом, повернулся к Никодиму Васильевичу и сказал: — Здравствуйте!..

Одет Добрыня был несколько необычно: на нем ладно сидела выглаженная армейская гимнастерка с блестящими пуговицами, а на голове был потертый железнодорожный картуз. Несмотря на летнюю жару, Добрыня ходил в сапогах, начищенных и блестевших. Блестела и пряжка ремня. Лицо у него было открытое и приветливое, красное, с мясистым носом, рост Добрыня имел немалый, такой, что он мог заглянуть в кузов грузовика, не приподымаясь на носках. Что он, кстати, сразу же и сделал... А поздоровавшись с Никодимом Васильевичем, еще раз оглядел шкаф и прогудел:

— Хороший...

Шофер тем временем вскочил в кузов и стал там что-то перекладывать, расчищая место у кабины. Никодим Васильевич, вспомнив опасение шофера о том, пройдет ли шкаф, критически оглядел распахнутую настежь входную дверь времянки и на глаз определил, что если и войдет, то еле-еле. И сразу же подумал о том, что́ можно предпринять, если шкаф все же не войдет. Он даже нахмурился. Добрыня, взглянув на него, будто угадал эти мысли, и успокоил:

— Вымерено!

Он произнес это слово с радостью, посмотрев на Никодима Васильевича победителем. Никодим Васильевич не смог не улыбнуться и подумал, сколько радости может доставить человеку такая простая вещь, как платяной шкаф. И очень удивился, когда увидел, что внутри хаты было абсолютно пусто: ни кровати,

ни стола, ни чего-нибудь другого, чем принято уставлять жилище; хата внутри даже перегородок не имела, так что можно было увидеть все четыре пустых угла. Слева от двери помещалась небольшая плита с духовкой, красная от неоштукатуренного кирпича, на ней стоял черный чугунок; справа, вдоль стены, лежало несколько досок, служивших, видно, хозяину постелью, доски были прикрыты домотканым полосатым рядном...

Шкаф определили в дальний угол, и, как только его установили, так он сразу же и заблестел. Никодиму Васильевичу показалось, что в хате посветлело, и он сказал об этом.

— Это уж да, — отозвался шофер, — светлая вещь!..

Добрыня заулыбался на эти слова, погладил шкаф рукою и, сказав, что, как водится, такую покупку положено окропить, посмотрел на Никодима Васильевича вопросительно и зачем-то поправил под ремнем гимнастерку.

— А вот и невозможно, — сказал шофер и, повернувшись к Никодиму Васильевичу, предложил: — Поехали?

— Та как же так? — обиделся хозяин. — Вот там бы под сливою и посидели... У меня все готово, а?

Шофер энергично, как-то по-бычьи закрутил головой и сел в кабину, видно было, что ему тяжело слушать слова Добрыни и хотелось побыстрее уехать.

— Лиха не оберешься, — не утерпел он все же сказать, и с этими словами они и тронулись, оставив Добрыню любоваться шкафом, пораскрывать все его дверцы, выдвинуть ящики, вдыхая стойкий запах свежего дерева и клея.

Никодим Васильевич представлял, как Добрыня, осматривая, найдет связку ключей или же завалявшийся с фабрики шуруп, а быть может, просто золотистую стружку... Ехали они недолго и остановились перед высоким и ладным кирпичным домом, крытым белым шифером, с синими, резными наличниками окон. У ворот, будто поджидая их, стояла старушка в белом платке, отчего темное и сморщенное лицо ее казалось совсем черным. Сгорбившись и прижимая к груди газеты, она пытливо смотрела на них.

— Читаешь все! — крикнул ей шофер, остановившись и не выключая мотора. — Читай, читай, может, там чего и напишут... Я тут тебе квартиранта привез!

Старушка кивнула, пожевала губами, как бы готовясь вступить в разговор, и сказала неожиданно твердым голосом:

— А что кричишь? Привез, так входите.

И распахнула калитку.

— Мне ехать надо, — все так же крикнул шофер, — но ты не забудь!

— Да ладно, — отмахнулась старушка и посмотрела на Ни-

кодима Васильевича ясными, совсем не старческими глазами. — Прошу ко двору...

Шофер сразу же уехал, а Никодим Васильевич пошел со старушкой в дом, на большую и прибранную веранду, в углу которой стоял голубой газовый баллон, а чуть подальше от него — белая плита. Сидели за чистым деревянным столом... Селифониха долго наговаривала, как у нее хорошо и спокойно жить, долго расспрашивала, что за человек Никодим Васильевич, откуда приехал и зачем, и в конце концов предложила комнату в доме.

— Но ежели желаете отдельно, — сказала она, — то есть у меня домок в огороде. То стоит пятнадцать.

Никодим Васильевич, чувствуя, как старухе по сердцу такой обстоятельный разговор, неторопливо оглядел «домок», оказавшийся всего лишь небольшим сарайчиком с одним большим и светлым окном. Стены были пробелены мелом, но глина кое-где все же проступала темными пятнами. В сарайчике стояли узкая железная кровать и стол. У двери были вбиты два гвоздя и пришпилена газета — для вешалки. Перед дверью в двух шагах росла раскидистая яблоня, ветки ее опускались на крышу сарайчика. «Чего бы и не жить», — подумал Никодим Васильевич и сказал старушке, что остается.

— Вот и хорошо, — ответила она, пожевав губами. — Надо бы для порядку задаточек... А я постелю принесу.

Никодим Васильевич дал старухе десять рублей, и она скрылась в доме, а после, как заводная, стала носить в сарайчик то постель, то какую-то посуду, стул принесла, и чистую клеенку на стол. И все что-то приговаривала, спрашивала, и если Никодим Васильевич отвечал ей, то она кивала головой и говорила: «Да оно так!» А после незаметно как-то и убралась со двора, пошла к соседям. И соседи узнали, что приезжего зовут Никодимом Васильевичем, что в поселок он попал по болезни сердца, отдохнуть ему надо. Соседи, такие же старые, как и Селифониха, участливо кивали головами, но мало что понимали, потому что сами, если случалось заболеть, никуда не ездили, лечились на месте и способами известными. Но раз приехал человек — значит, ему так надо, это они понимали. «Говорит только мало, — печалилась Селифониха, — будто думает все о чем-то... Чудаковатый такой...» На это соседи ничуть не удивлялись, потому что видели в своей жизни немало чудного, привыкли.

Так и прижился Никодим Васильевич в Зареченских Выселках, можно сказать, в один день, и ночью, когда налетела гроза, когда тяжелый, резкий и густой ветер бегал по крыше сарая и грохотал куском железа, положенным на прохудившемся углу,

он лежал в теплой постели и смотрел на черно-синий проем окна, на ветку яблони, метавшуюся в окне подобно чьей-то руке. Вспыхивали и гасли молнии, дождь резко стучал по шиферу, а мысли Никодима Васильевича были светлые и приятные; думал он о том, что все же выбрался в поселок, что можно будет, не заботясь особо, бродить по его улицам, рассматривая людей, дома, сады. Мечталось о речке Оржице. Вспоминался Добрыня и шофер, так ловко все устроивший. Разное приходило в голову Никодима Васильевича, но все хорошее, радостное...

И жилось ему с того дня легко, будто он знал, что кто-то близкий и заботливый думает о нем беспрестанно, переживает и печалится, и тепло этой печали долетало до него. Хорошо жилось в Зареченских Выселках, о которых он столько передумал, и совсем не чувствовалось, что Никодим Васильевич совсем один на всем белом свете и некому о нем ни тревожиться, ни печалиться...

Через неделю люди в поселке привыкли к Никодиму Васильевичу, здоровались и не удивлялись, когда видели, как он ходил по улочкам или блуждал среди прилавков местного базара. А что больше делать, когда отдыхаешь... Все, кто уже знал Никодима Васильевича, поняли к тому времени, что он человек молчаливый и несколько странный и видом своим, и молчаливостью, но добрый, а жители поселка, повидавшие всякое на своем веку, ценили больше всего доброту.

Никодим Васильевич исходил многие улицы поселка, забирался в самые дальние окраины — и везде, даже себе не признаваясь в том, что он все же кого-то ищет, присматривался к лицам людей. Первым делом он сходил к железнодорожному вокзалу, но на месте того дома, где он тогда останавливался, теперь стояла чайная, приземистая и с узкой дверью. Никодим Васильевич посидел в одном из двух просторных залов, выпил пива и поглядел на буфетчицу, которая, нацедив ему кружку, резанула широким ножом конфету и кинула половинку в накрашенный рот...

В августе, как это часто бывает в тех местах, навалилась нестерпимая жара, солнце палило с утра, дождей не было. На улицах сильнее запахло пылью и сухой выжженной травой. Даже Оржица обмелела, и вода в ней не бурлила, а тихо струилась меж коряг и ивняка, и было ее совсем мало. На берегах речки кочковато росли травы, задумчиво бродила цапля, иногда стояла подолгу на одной ноге, будто вслушиваясь в звенящую тишину летнего дня; невидимая птица тревожно вела свое нескончаемое «д-дыр-р-р-р...», похожее на пулеметную очередь. В прозрачной воде шныряла рыбья мелюзга...

Никодим Васильевич долго просиживал на берегу Оржицы,

смотрел на воду, на привольный ивняк, выросший на месте вырубленных деревьев, на небесную синь. Ему казалось, что речка здорово усохла и изменилась за эти годы, но об этом можно было только догадываться, потому что тогда он ее и не рассмотрел как следует. Речка да и речка, помнился только деревянный мост и название. . .

Так, сидя в один из августовских дней близ воды, Никодим Васильевич решил, что пора уезжать. Прожил он тут три недели, и его потянуло домой, в свой город; там же, у речки, он подумал о том, что непременно напишет обо всем этом рассказ. Пусть это будет совсем небольшой рассказ, пусть он будет всего лишь один, но такой, чтобы каждый, кто его прочтет, понял многое и задумался. . . Никодим Васильевич знал, что научить жизни невозможно, да этого и не требуется, потому что сколько людей, столько и судеб и каждый человек постигает житейские истины сам, он блуждает и ошибается, но все же находит свое место. Весь вопрос только в том, сколько времени уходит на эти поиски. Год, два, десять или вся жизнь. . .

Размышляя о себе, Никодим Васильевич находил, что его-то жизнь прошла, собственно, и, кроме поездки в Зареченские Выселки, где он так никого и не встретил, в ней уже ничего хорошего не будет. Дальнейшая жизнь виделась ему долгой и отчего-то пустой. Вот об этом он и собирался написать, потому что именно в Выселках он понял, что нет для него ничего важнее, чем рассказать о своей жизни, о той далекой, незабываемой ночи. Никодиму Васильевичу не хотелось, чтобы в мире жили одинокие, заброшенные люди, и он решил сказать и об этом. «А если и тогда будут такие, — с грустью спрашивал он себя, — то рассказ, встретив человека, наверное, поможет... Должен! Иначе зачем бы и писать. . .» Он полагал, что если он осилит такой рассказ, то ему легче будет умирать. И, думая о себе, о своей жизни, которая по каким-то неведомым законам вся сошлась на Зареченских Выселках, Никодим Васильевич оставался совершенно спокоен. Сердце его билось ровно, не болело, чувствовал он себя хорошо, посему решил приступить к писанию немедленно. . .

В жаре притомились и жители поселка и, отправляясь утром на работу, тоскливо поглядывали на чистое, синее и безоблачное небо; им предстоял тяжелый день, похожий на вчерашний, — в поту и в духоте; многие находили, что неплохо бы отсидеться где-нибудь под вишнями, в холодке, разрезая красный арбуз или спелую дыню (дыни в то лето уродились, надо сказать, прекрасные, небольшие, да пахучие, сладкие). Но об этом только мечтали и шли на работу — в железнодорожные мастерские, на вокзал и товарную станцию. . . Старухи предрекали пожар и крести-

лись. Донимала жара и мухи. Люди отяжелели и перестали даже к пруду ходить после работы, потому что лень напала, да еще и по той причине, что вода в нем стала похожа на парное молоко. Пруд был прямо в поселке. В его воде плавали гусиные перья и чей-то приблудный селезень, гордый и горластый, прибившийся неизвестно откуда. Зная нравы поселка, селезень держался больших глубин и редко, обкричав пологие берега, вербы и несколько плоскодонок, решался выплывать на мель. Там, тревожно вслушиваясь, он щипал траву, потрошил сизый ил и, случалось, подхватывал клювом с десяток водяных блох.

В один из дней августа Никодим Васильевич вдруг исчез, он не уехал, но затворился в сарайчике на кованый крючок и даже Селифониху просил не беспокоить, окно завесил газетой и таким образом и вовсе отгородился от мира и сидел за столом перед чистым листом бумаги. В углу стоял кувшин молока, купленный на базаре, лежал каравай хлеба. Возможно потому, что лист был совершенно белый, а в сарайчике царил полумрак, на Никодима Васильевича напала какая-то боязнь. Он вспомнил все, что было в его жизни, начиная от военного времени и до сегодняшнего дня. В этих воспоминаниях были и Добрыня, и буфетчица из чайной, и Селифониха. В голове Никодима Васильевича гудело. Несколько раз он заносил руку, намереваясь начать повествование, но каждый раз его что-то останавливало. Рука замирала от страха, душа сладко ныла... Рассказ должен был быть звонким и чистым и совсем простым, как проста жизнь поселка.

В поселке, кстати, пребывающем в сонной одури, и не заметили отсутствия Никодима Васильевича. Да и то: краснели помидоры в огородах, огурцов завязывалась такая пропасть, что хозяйки не успевали их срывать и они лежали под колючим, выпаренным солнцем листом, огромные, как поросята, некоторые уже пожелтели. Жить в августе можно было совсем безбедно: купи только хлеба да бутылку подсолнечного масла. Кроме того, приспела и работа: бочки выпарить, обручи насадить, отревизовать погреба. Словом, надо было думать о зиме, и замечать отсутствие Никодима Васильевича было решительно некому. Встревоженная Селифониха, правда, говорила некоторым людям о том, что квартирант ее затворился в сарайчике и что-то пишет, советовалась, не будет ли беды какой...

— День таки не выходит, — рассказывала она, — не дай бог, думаю, что случится...

Знающие люди отвечали ей, что в том ничего страшного нет, потому как дети в школе тоже подолгу пишут, так что опасаться, мол, нечего. И сразу же заговаривали о нестерпимой жаре, о том, что Василий Шушаркин, доставивший Селифонихе квар-

тиранта, снова напился где-то и ткнулся машиною в столб. Новости были мелкими, но крайне необходимыми для жизни поселка, потому что, вопреки предсказаниям старух, ничего не загоралось и никто не утонул. . .

Никодим Васильевич сидел в сарайчике третий день. Он обессилел и потемнел лицом, щеки его запали, резко выдавались скулы; серебристый хохолок надо лбом торчал воинственно, и Никодим Васильевич поминутно ворошил его. Он все еще ничего не написал, придумывал первую фразу, от которой, как он полагал, зависело очень многое. . .

Все же в поселке произошло немаловажное событие, и поселок гудел, как гудит улей, когда его потревожишь. Говорилось много и говорилось разное, толком никто ничего не знал, и доподлинно было известно только то, что Приступина Верка, работавшая дежурной на переезде, подхватив своих двойняшек, перешла жить к Добрыне. Говорили больше всего о том, что она ничего не взяла из дому, и о том, кто ее муж — Приступин. О Добрыне можно было и не говорить, потому что Добрыня был у всех на виду. Откупив времянку, он поселился в ней года три назад и жил бобылем, трудился в котельне, так что был он, этот самый Добрыня, истопником по доброй воле. А мог бы работать и в мастерских — это в поселке считалось почетнее, да и силища у него — дай бог каждому. Руки крепкие и жилистые. У истопника было имя-отчество, но дети прозвали его Добрыней, так и повелось: Добрыня да Добрыня, ему и этого было довольно. Похоже, что он не особенно задумывался над пустяками, ворошил угли в печах, высыпал шлак за котельню и помнил, что при деле. И вроде бы ничего больше и не хотел. Иногда, пошуровав топки и побрызгав водою серый пол, садился Добрыня на низенький стульчик у дверей и смотрел на огонь в узкой щели заслонки, думал о чем-то, вздыхал иногда и почти всегда молчал. Даже когда выпивал, то говорливее не становился, смотрел на людей по-братски, будто прощал их за что-то. Глаза его, синие, с выгоревшими в котельной ресницами, чуть-чуть слезились.

И вот когда Верка перешла к нему, то в поселке загудели: «Что ей надо?» Приступин-то был человек уважаемый, он руководил топливным складом и поэтому считался одним из первых в поселке, особенно осенью, когда доставался уголь и дрова на распал.

«С жиру бесится, — говорили люди. — В доме у них чего только нет — и покрывала, и диван. . .»

С удивительной памятливостью они перечисляли все, что водилось в доме Приступиных, вспоминали покойную мать Верки — та тоже была с норовом, никому не подчинялась и Верку

прижила неизвестно с кем, вроде бы с солдатом, стоявшим в войну в их хате. И все же больше говорилось о том, что за человек Приступин и как это раньше никто ничего не замечал — встречались же они раньше? . . Наверняка встречались. Не могло же быть так, что решилась Верка в одну ночь? Не могло — значит, встречались тайно. Но никаких тайн в поселке не водилось, о каждом было известно решительно все, даже больше, и многое угадывалось заранее. А тут тебе — никто ни слова, ни полслова... «Вот тебе и Добрыня, — говорили и добавляли многозначительно: — Да!» Приступин и мог бы кое-что рассказать, уж он-то догадывался, но Приступин молчал, зыркал на соседей красными от бессонницы глазами и думал, как грозил: «Как же... Проживешь на сто рублей!» И понимал — проживут, и никому не показывал принесенный соседским пацаном клочок бумаги, на котором непривычными к карандашу пальцами Добрыня начертал: «К нам сам понимаешь не ходи ногой вовек не позволю добрыня». А в самом уголке прибавил: «Дмитрий Сергеевич».

А Добрыня, как стало известно всем, кроме Никодима Васильевича, ошалев от радости, поймал ночью селезня — заарканил его сонного — и утром накормил двойняшек. Смотрел на них, пока они ели, и думал о том, что еще необходимо купить. Шкаф, стол и кровать уже стояли в хате... Глаза его слезились, он смотрел на детей, на жену и ничего не говорил. А Верка, немного стесняясь, тоже смотрела на детей, на Добрыню, плакала и смеялась одновременно, и, проводив мужа на работу, принялась убирать холостяцкое жилье. Она мыла и чистила и тихо напевала. И ждала от жизни чего-то прекрасного, а когда в промытом стекле окна увидела себя в белом платке и красной кофте с засученными по локти рукавами, то неизвестно отчего обрадовалась так, как не радовалась давно. Рассмеялась во весь голос, схватила, перецеловала детей и, выпроводив их на улицу, снова принялась за работу.

Ничего этого Никодим Васильевич не знал, ничего не слышал, сидел в полутьме сарайчика и чуть не плакал: еще вчера он точно решил, что сошел с ума на старости лет и что ничего больше он уже не напишет. Он не сдвинулся с места, потому что двигаться, как понял Никодим Васильевич, было некуда. Звон в голове прекратился, сердце не болело, но и это его не утешало. Голова стала пустой и легкой и совершенно бездумной. Никодим Васильевич смотрел на свою руку, которая лежала на столе и казалась ему чужой. О рассказе он уже не думал, просто вспоминал все, что было с ним в этом поселке, и очень удивился, когда рука, отважившись, вывела: «Женился Добрыня очень поздно. . .»

ВЛАДИМИР ВОЛЫК

ЗИМНЕЕ

Метель шаманит.
Овладела тундрой
И, седину по насту распустив,
Твердит неподражаемый и трудный,
Непревзойденный ветровой мотив.
И, диким околдованные пеньем,
Под свист и улюлюканье ветров
Кружат и пляшут исступленно тени
У фонарей, как будто у костров.
Сияния резвятся на торосах.
Балок до крыши утонул в снегу.
Мохнатые январские морозы,
Стуча зубами, сели к очагу.
Но огонек пробился сквозь поленья,
Как родничок уюта и тепла.
Ночь свалена неодолимой ленью,
Медведицей надолго залегла.
Так и вершится выдумка,
Которой
Я с детства бредил
И сходил с ума. . .
Сполохами
Окошки,
Словно шторой,
Завесила полярная зима.

ПОСТ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Семь сопок — семь ступенек в облака.
Семь дней в неделю, под семью ветрами
«Медведица» на гулких сквозняках
Ворочается долгими утрами —
Семь звезд-жаринок, тлеющих всегда
В семи шагах,
Свободно,
Легковесно,
Как ноты, наплывут на провода
Седьмым аккордом предрассветной песни.
Особенным ничем не знаменит
Армейский быт, каким живут солдаты,
Но этот серый, как шинель, гранит,
«Седьмое небо» названный когда-то,
Над многогранностью домов и скал,
Величием с любым шедевром споря,
Встает как самый лучший пьедестал
Солдату моего Североморья.
Пускай седьмой в морозы знаем пот,
Пусть у зимы семь пятниц на неделе,
Пускай не семь и даже не семьсот
В стране седьмых небес на самом деле,
Но я опять всем повторю не раз,
Что где бы я с тех пор на свете не был,
Нет более прекрасных звездных трасс,
Чем над землею — пост «Седьмое небо».

ОСЕНЬ

Пустеет берег.
Солнце ходит лесом.
В пейзажах лета появилась рябь —
И незаметно влажную завесу
Над побережьем опустил сентябрь.
Не жду чудес.
Но чудо состоится.
Вдоль просеки,
Неуловимо чист,
Невидимый огонь все дальше мчится,
И в том огне уже калится лист.
Простор пылает, полыхают выси,

Переплавляя время в слитки дней.
Преображает города и мысли
Таинственный,
Добрейший из огней.
Укоренилась и окрепла озимь,
И пашни обнажили новый пласт.
Одаривая щедро,
Ходит осень,
Своим огнем переполняет нас.

ЛЭП СНЕЖНОГОРСК — НОРИЛЬСК

Казались нам свинцовыми под вечер
Подошвы измочаленных сапог.
Давило небо глыбиной на плечи,
В дугу сгибало и валило с ног,
А мы все шли непроходимой тундрой
И на кострах отогревали хлеб,
И было трудно, даже дюжим трудно
Построить эту северную ЛЭП!
Сквозь буйство зим,
Сквозь топи и заторы,
Высоко поднимая провода,
На тропах наших дней росли опоры,
В седой гранит врастая навсегда.

О СЕВЕРЕ

Речушка лижет льдинок леденцы,
Ворочая пески на перекатах,
А ветры, словно быстрые гонцы,
Уносят весть рассветам о закатах.
Слоняются морозы-шатуны,
И небо звездным бисером расшито. . .
На точных чашах солнца и луны
Закон природы взвешен деловито.
В далекий край вершин и мерзлоты,
Циклонов бесконечных и сияний
Стремимся мы за птицами мечты.

На зимники,
В раздолье расстояний
Нас увлекают важные дела —
И, вопреки давным-давно знакомым,
В природе утвердившимся законам,
Теплеет мир от нашего тепла.

ОБЩЕЖИТИЕ

Оно определило жизнь мою
Рабочую,
Как жизнь России.
Его по окнам ночью узнаю,
Недремлющим до предрассветной сини,
Вбирающим и солнце, и ветра.
Какой же мерой жизнь его измерю?
Оно меня с утра и до утра
Торопит в мир.
Ему я свято верю —
Оно доброжелательно всегда,
И, если в дверь однажды постучите,
Все этажи ответят хором:
«Да!»
Полсотни комнат скажут:
«Заходите!»

ПЕРЕД ЛЕДОСТАВОМ

Комочек солнца, выцветший в путину,
Уляжется закату под крыло.
Задумчиво,
Не разгибая спину,
Бредут валы к ночлегу тяжело.
Ледками сонно щелкает вода —
Рыбацкий труд никак не подытожит.
Баюкает уставшие суда,
Вздыхает море
И заснуть не может.

АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ

НОВОСТРОЙКИ

Уплывает белый город —
корабли-дома гудят...
А над ними —
Ольгой Корбут
чайки невские летят.
Нас уносит парус плавно —
мимо дачи, озерца,
а игла Петра и Павла
чуть пока-чива-ется.

— До свидания! Счастливо...—
старый город вслед ворчит.
— Здравствуй! —
с Финского залива
кто-то весело кричит.

* * *

Ударит час,
и наплывает
во тьме такая тишина...
Не та,
не послештормовая,
а что любовью рождена.

И гаснет шепот себялюбья.
Спадают маски. И в тиши
ты молча отвечаешь людям —
на каждый вздох чужой души.

Вот снова ночь до срока будит,
и собираются во мне
надежды,
сны,
обиды,
будни —
мои с чужими наравне.

В окне напротив курят часто —
там сна, наверно, тоже нет.
Там —
мой безвестный соучастник
в прикосновеньи к тишине.

Вновь, молчаливо, осторожно,
с чужой бедой приходит ночь.
Помочь, я знаю, невозможно —
и невозможно
не помочь.

* * *

Матовая кожа снега
вдруг землю сделала женственной и детской.
Не торопитесь.
Постойте у дверей —
такой сегодня теплый снег,
что, кажется, наступишь —
вскрикнет!

31 МАЯ

На перекрестке двух сезонов,
в 12 ночи,
как всегда,
во мгле, вдали — над горизонтом
взойдет зеленая звезда.

Навряд ли смогут звездный атлас
и самый мудрый астроном
назвать ее небесный адрес
и рассказать об остальном...

Но всходит!
Всходит!
Нынче в полночь
свои зеленые лучи
она пошлет земле на помощь —
и вспыхнут яблони в ночи.

И расцветет,
и озарится
ночной простор,
и хлынет в нас...
И удивленно вскрикнет птица,
увидев лето в первый раз.

ВОЛХОВ

Русский,
северный,
в оправе
из лесов, камней и вод,
город строит,
город плавит,
шьет,
поет,
творит —
живет!
Полон зелени кипучей,
детворы и шустрых птах,
он пропах травой,
а пуще —
свежей корюшкой пропах.

Возле ГЭС река буксует
и опять летит,
темна,
Ильмень с Ладогой связуя

и тасуя времена:
то XII проглянет —
вои в стругах проскользят,
то гроза в XX грянет
и откатится назад.
Волхов, Волхов —
камень волглый,
берег ягодный, грибной, —
ты в родстве с Невой и Волгой:
там был бой
и здесь был бой,
там — начала,
здесь — начала...
У воды, живой, речной,
сколько раз земля дичала —
люди делали ручной!
Сколько ты унес на север,
а не меньше, чем вчера,
полон памяти,
как сейнер
полн в путину серебра...

Над водою, пенной, древней,
чайки мчат,
плывут гудки...
ГЭС вычесывает гребнем
электричество реки.

ОДА АЛЮМИНИЮ

В 1932 году в городе Волхове
был построен первый в стране
алюминиевый завод

13-й в таблице Менделеева,
а неудачник из него не вышел.
Другие и прочней,
да не смелей его,
другие и дороже,
да не выше!

Летали и другие,
но воистину
в полет влюбиться не смогли другие —

нацелившие уши на баллистику,
но к аэродинамике глухие.

. . . .

И души, и металлы
одно роднит:
кто легок — тот взлетает,
но кто силен — летит!

Где крылья —
там открытья.
Бескрылые — скучны.
Нужны и в небе крылья,
и на земле нужны.
О, как необходимы
надежные крыла,
чтобы земля не дымной,
а солнечной плыла
и не был бы ревущим
и рвущимся металл —
чтоб каждый из живущих
ле-тал!

Время расклинено,
располовинено:
без алюминия —
и с алюминием;
пешее,
конное,
и паровое,
и реактивное,
сверхзвуковое.
Льется расплавленный алюминий —
авиалиниям,
авиалиниям!

Белый металл оживает в руке —
крылья посверкивают опереньем,
крылья, которые от сотворенья
мира
томились в земном сундуке.

ВЛАДИМИР СОБОЛЬ

РЫЖИЙ И АРБУЗ

— 1 —

Это был последний мяч, единственный оставшийся во всем дворе, и Витька поостерегся бить издали, хотя погоня уже висела на пятках. Он двинулся дальше, в штрафную, обошел кинувшегося навстречу защитника, последнего, стоявшего между ним и воротами, но задержался, и наперерез уже неслись двое. Можно было отдать пас свободно набегавшему справа Фоме, но Витька не хотел делиться — он привык все делать сам — и стал уходить влево, готовясь к удару. Пока он медлил и выбирал, защитники почти успели загородить ворота, но оставалась еще щелочка, и в нее-то он и ударил, забыв об осторожности, видя только, что ускользает верный гол; ударил носком, «пыром», как можно сильнее, чтобы пробить закрывшего угол вратаря. Мяч пошел верхом, в кресты; не встретив сетки, долетел до забора и ударил по доскам так, что завизжала колючая проволока, протянутая поверху. Ударил и остался висеть, словно прилип.

— Впилил! — вздохнули сзади.

Остальные подходили уже не спеша, и обе команды, выстроившись на лицевой линии, молча смотрели на красный, пупырчатый нарост, безобразно выставившийся из серых досок. Это был последний из завезенной в начале весны и тотчас же раскупленной партии великолепных мячей; они вполне подходили для настоящей игры, хотя были не кожаные, а резиновые и по весу отличались от футбольного, но, главное, они стоили всего два рубля и были по карману любому; разноцветные — красные, коричне-

вые, зеленые — они были усеяны странными пупырышками и, если их принимали на «головку», царапали лоб, но вратарям ловить было даже удобнее. И все мячи, более двух десятков, погибли за весну на ржавых гвоздях треклятого забора.

Этот они берегли почти две недели, дрожали над ним, упускали верный гол, но били потише; и вот Витька сорвался. Таких мячей в магазине уже не было, лежали только настоящие футбольные, ниппельные, по восемь рублей, но аванс на заводе, где работали родители, выдавали двадцать пятого, и до этого дня никто не мог рассчитывать хотя бы на полтинник. А через две недели, первого июля, начиналось первенство района.

— Фома! — обернулся вратарь. — У тебя же вроде шарик остался?!

— Не-а, — мотнул тот головой, — мой пятым прокололи.

Тогда Чир, тот самый защитник, которого последним обвел Витька, пошел к одежде, разбросанной кучками за воротами, и позвал остальных:

— Айда, парни, сегодня в шесть по телику футбол. Не поиграли, так поглядим. А Фома жмот известный: и был бы шарик — все одно не дал!

— Нет у него мяча, точно! — вступился Витька за друга.

— А ты, Рыжий, помалкивай! Из-за тебя все!

— Просили его лупить!

— Стукнул бы баночкой, аккурат в ближний угол прошло бы.

— Ну да, прошел бы! — вскинулся Женька, вратарь, только что крывший Витьку вместе со всеми. — Взял бы как миленького!

— А чего вы все на меня?! Остальные продырявили — молчали, а как я — так сразу...

— А ты что выступаешь, Рыжий?! — Чир отбросил брюки и, согнув руки в локтях, стал надвигаться на Витьку, ступая левой ногой и подтягивая правую. — Схлопотать хочешь?! Это можно, это мы с удовольствием.

Он был на год старше Витьки и успел отзаниматься три месяца боксом в «Спартаке», пока его не выгнали после драки в раздевалке.

— Кончай, Чир!

— Ну чего ты!

— Оставь, охота тебе вязаться! — Женька взял его за локоть и оттянул в сторону.

Витька постоял еще немного, но, увидев, что Чир снова поднял одежду, пошел к своей. Оделись быстро, без разговоров и потащились на выход, один за другим протиснулись в узкую дыру, придерживая рукой качающуюся на одном гвозде доску, а

за забором растянулись вереницей, петляя тропинкой вдоль речки.

Тропинка выходила к мосту, но передние, не дойдя метров сорока, свернули влево, через свалку к аккуратному пригорку, зеленым чудом торчащему среди нагромождения сплющенных жестяных банок, ржавых проволочных мотков, разноцветных болотец краски, вытекшей из брошенных бачков. Чир с Женькой заняли самые удобные места, привалившись к чахлому топольку, торчавшему наверху; остальные рассыпались по склону. Витька сел в самом низу, рядом с фиолетовой, остро пахнувшей лужей. Фома примостился ровно посередине между ним и остальными. Те двое наверху уже дымили. Они брали себе по целой сигарете, а три пускали по кругу. Фома торопливо сделал пару затяжек и, по привычке не предлагая Витьке, собрался передавать дальше, но тот молча забрал окурок и, брезгливо, лишь кончиками губ касаясь размокшей бумаги, потянул в себя густой, едкий дым.

— Покури, Рыжий, покури! — крикнул Чир. — Авось полегчает!

Витька не отвечал. Он откинулся навзничь и лежал неподвижно; сладко кружилась голова и все: погибший мяч, парни и даже Чир, который — он знал наверняка — не отвяжется до самого вечера, все вдруг стало для него далеким и неважным, как вот эти тихо плывущие на солнце перистые облака.

— Ну, что будем делать?! — спросил Женька.

Промолчали. Женька повысил голос:

— Черти, вы хоть играть-то думаете?!

И опять ни словечка.

Здесь сидели две команды из одного двора — Спутник-1 и Спутник-2. В первую команду входили угловые — десять ребят из углового подъезда и Чир. Остальные составили вторую. На первенство они были заявлены по разным возрастным группам, и в общем, угловые и были постарше, но разделился двор на команды все-таки не по году рождения. Угловые еще до переезда сюда жили вместе, в маленьких двухэтажных домишках, не расставались и теперь, поселившись по двое, по трое на площадке, а то и в одной квартире. Они всегда держались заодно и не брали к себе чужаков. Команда у них и так вышла сильная, хотя, например, Витька играл едва ли не лучше любого из нападающих угловых и по возрасту вполне подходил для старшей группы. Но он переехал слишком поздно, причем зимой и, еще не успев показать себя на поле, поссорился с угловыми. Те делали во дворе что хотели, а остальные крутились рядом, радуясь, если их принимали в игру, и безропотно уходя, когда старшие желали остаться своей компанией. Витьке же не пристало быть на подхвате,

слоняться вокруг да около и ждать, пока его позовут. Он принялся сколачивать компанию в противовес угловым, сошелся с Фомой, и вдвоем им удалось перетянуть к себе еще пять человек. Поначалу угловые к ним только присматривались (их в то время больше занимал только что появившийся во дворе Чир), но в одно воскресенье, в ответ на Женькино предложение пойти раскидать снег в «сетке» (спортплощадке в соседнем дворе) Витька заявил, что едет в Кавголово, и за ним потянулся длинный хвост лыжников. Тут-то угловые спохватились и в последний раз, перед тем как их прибрал к рукам Чир, выступили единым фронтом. Дело обошлось даже без стенки на стенку. Просто в ближайший выходной Фома, близнецы и Алик клюнули на приглашение ехать кататься на «джеках» (тогда они были только у старших), а когда вечером Витьку прихватили у гаражей, никого из своих рядом не оказалось.

С Фомой они потом помирились. Того, как оказалось, именно в это время тоже лупили — дома, за порванное пальто, но во дворе уже верховодил Чир. Тот приехал последним, никого не зная, но не прошло и месяца, как во дворе не осталось ни одного, кто решился бы ему перечить. Он был совсем не страшен с виду — не самый высокий, не самый широкий, с круглым, щекастым лицом — и, как выяснилось впоследствии, не самый сильный, не самый ловкий (боксом он начал заниматься гораздо позже), но наглости его хватило бы на десятерых. Он затеял драку в первый же день, едва успев выйти во двор, жестоко отлупив Салмана за безобидное вроде бы словцо, и, раз начав, дрался со всеми по очереди, пока весь двор не признал его верх. Закончив с одним, он намечал себе следующего противника и не отступал до тех пор, пока тот не признавал себя побежденным. Дольше всех продержался Муха, самый сильный и высокий во дворе, на голову выше Чира, но в конце концов сдался и он, хотя Чиру так и не удалось выиграть ни одной стычки. Они дрались ежедневно, а то и по два раза на день, и всякий раз Чир оказывался битым, но не отступал, а, едва оправившись, снова лез в драку по любому случайному поводу, и, когда наконец Муха без слова впустил его перед собой в очередь за билетами на киноутренник, все поняли, кто теперь главный. Конечно, угловые могли сообща просто-напросто заказать ему дорогу во двор, но брата его, Чира-старшего, знали и боялись окрестные улицы задолго до того, как он, не спеша переставляя ноги, пронес себя по двору.

Единственный, кто не испытал еще себя с Чиром, был Витька. Пока Чир воевал со двором, он держался в стороне, но не из страха (сам Витька считал себя четвертым по силе после Мухи, Чира и Женьки), а потому, что был ошеломлен предатель-

ством Фомы и отсиживался дома, мало интересуясь тем, что творится внизу. Когда же он вышел во двор, там все уже установилось. Чир сдружился с Женькой, а через него и с Мухой, и втроем они зажали двор в кулаке. Только с этой весны, когда двор разделился надвое, а Витьку выбрали капитаном второй команды, Чир стал поглядывать в его сторону, опасаясь, видимо, что тот попытается выйти из воли.

Сейчас Чир сидел вольно откинувшись и пускал кольца. Сивые баранки выплывали одна за другой и повисали, расплываясь в неподвижном вечернем воздухе. Ему не сиделось, тянуло на набережную, где в скверике наверняка уже сидела компания брата. Но уйти первым он не решался. С футболом кончалась его власть, и нужно было со всеми вместе ждать, пока Женька закончит. Сигарета жгла губы, он вытащил из мятой пачки новую, разломал надвое по надорванному месту и прикурил от окурка, с каждой минутой все больше озлобляясь против Рыжего.

— Так что же, — не унимался Женька, — так и разойдемся?! Вот раскатают в первой же игре всухую...

— У Арбуза есть шарик, — неожиданно сказал Фома. Все разом обернулись на голос.

— Да ну... Врешь! Зачем он ему?!

Фома, будто не слыша, продолжал перешнуровывать кеды.

— Чего молчишь?! — рявкнул сверху Чир. — Сам, что ли, видел?

Фома выпустил концы шнурков и, оглянувшись на Чира, затараторил:

— Точно видел. Сам. Я последний купил, а передо мной они и стояли. Арбуз, батя его и матуха. Он не хотел, это батя ему купил. Жир сгонять, — подхихикнул он напоследок.

— И все дела! — Женька повеселел. — Идем к нему домой, берем мяч — и порядок.

— А кто пойдет? — спросил Леха. — Ты?!

С минуту Витька слышал, как кружатся мухи над свежевыброшенными банками. Наконец Женька ответил:

— Почему это я? Давай ты!

— Ага, так он мне и дал! Пусть Фома идет.

— И Фоме не даст. Он вчера у него мороженое вышиб.

— Карась?

— Ха, Карась! Мы ж с тобою его до парадняка гнали.

Женька поочередно окликал ребят, и у каждого находилась не одна причина бояться отказа. Арбуз был из их дома, но ни с кем не водился и редко появлялся во дворе — только по дороге в школу и обратно (он учился в другом районе, в какой-то специальной школе), а в выходные отправлялся на прогулку с роди-

телями. Когда он прокатывался мимо — серый, тугой шарик, украшенный вверху огромными очками, все время сползающими по короткому носику, — мало кто мог удержаться и не наподдать, не выбить портфель, не запустить вслед камешком.

— Да чего там, — подал голос и Чир, — пойдем все. Струсит — и даст.

— Он-то, может, и даст, да отец его...

— А что отец? Будет выпендриваться — брату скажу.

Витька рассмеялся — не громко, но его услышали.

— Чего ржешь?

— Брату скажет! — сообщил Витька облакам. — Тот секцию бокса на заводе ведет, а он — брату...

— Откуда знаешь?

— Батя сказал. Он у него в цехе вкалывает.

— Мастер?

— Вроде бы.

— Отец боксер, а этот...

— Слушай, Рыжий, а может, ты сходишь?

— Правильно, пусть Рыжий идет. Он его и пальцем не тронул.

— Правильно?! Вы его лупите, а я — отдувайся! Фига с два!

Чир спустился вниз и стал над Витькой.

— Пойдешь, Рыжий! А нет — кровью умоешься! Понял?

Витька повернул голову. Фома высматривал что-то под ногами, остальные глазели кто куда. Он и сам понимал, что виноват и должен идти, вот только если бы не Чир... Ему стало трудно дышать, и, поднимаясь, он медленно процедил:

— А ты что за приказчик выискался?!

— Ладно, Чир, — второй раз вступился Женька, — он пойдет, не лезь.

— Пойду! — озлобленно выкрикнул Витька. — Пойду! Только ни шиша не выгорит!

— А это твое дело. — Женьке нужен был только мяч, а там Рыжему пусть хоть все зубы пересчитают. — Говори, что хочешь, но без шарика не появляйся!

— Иди, ну!

Витька развернулся и пошел к мостику, конвоируемый Чиром и Женькой. Следом вразброд потянулись остальные...

— 2 —

После обеда Мишку заставили ходить по комнате. Он подчинился, помня, что с минуты на минуту должен подойти дядя Толя с обещанными неделю назад Лемом и Саймаком, и решил не за-

тевать ссоры. Иначе отец мог забрать книги и отдать лишь через несколько дней, а то и вообще вернуть непрочитанными. Пока же можно было и побродить — хоть как-то скоротать ожидание, тем более что с приходом гостя его, как всегда, оставят в покое.

Звонок застал его на середине пути от стола к двери, и он опрометью кинулся в переднюю. Из второй комнаты слышны были шелест складываемой газеты и скрип тахты. Торопясь, Мишка оттянул замок, толкнул дверь и... застыл на пороге.

Они молча смотрели друг на друга. У одного посасывало под ложечкой и, будь на площадке кто-либо другой, он тотчас захлопнул бы дверь, но Рыжий единственный во всем дворе не тронул его до сих пор и пальцем, и любопытство пересиливало страх, удерживая Мишку на месте. А Витька все не решался начать. Долго так не могло продолжаться: Мишка глянул случайно вниз и, увидев вылезшего на площадку Чира, а за ним еще головы, прилипшие к прутьям перил, в ужасе выпустил из рук цепочку и отпрянул в тамбур. Это движение словно подхлестнуло Витьку, и он заговорил быстро и как-то вбок:

— Слушай, дай-ка шарика на вечер.

— Какого шарика? — изумился Мишка.

— Ну, говорят, у тебя есть мяч. Или нет? Тогда извини.

Последние слова Витька произнес уже не так скованно, почти с облегчением.

— Подожди, подожди. Я вспомнил. Был, кажется, сейчас поищу.

Он кинулся в квартиру, а Витька уставился ему вслед, хлопая глазами: иметь мяч и не знать, где он лежит!

В коридоре Мишка столкнулся с отцом.

— Ну, что ты, Анатолий? Проходи!

— Это не дядя Толя. Это ребята за мячом, — бросил Мишка на ходу, юркнул в комнату и полез под тахту выковыривать застрявший в дальнем углу мячик.

— Какие ребята? За каким мячом? — Отец выглянул на площадку и мгновенно пришел в ярость: — Ты что же это, стервец?! То прохода парню не даете, а как приспичило — клянчить притащились?! А ну, брысь отсюда!

Чира и тех, кто были ниже, словно сдуло. Витька слышал, как они катились по лестнице и грохот входной двери. Сам он тоже дернулся бежать, но Григорий Львович ухватил его за плечо:

— Стой, не торопись! Пора побеседовать.

Витька быстро перестал рыпаться. Его держали уверенно и крепко, больно сжимая плечи. Он привык уже к тому, что в любых историях выходил, благодаря внешности, главной фигурой.

Но тут он был чист донельзя. Витька напрягся и исподлобья поглядел мужчине в лицо, выдавив с трудом:

— Чего надо-то?

— Кому хамишь, щенок?!

Витьку тряхнули за плечи, и голова его замоталась, как у сестренкиной куклы, когда ослабевали резинки. Тут он разъярился вконец:

— Ну, что пристали-то?! За сыночка вступаетесь, а сам он что, без рук?! Лупили его и будут лупить, а мячом своим хоть подавитесь! И пусти лучше! — заорал Витька в бешенстве. — А то так разделают — свои не узнают!

Мужчина впился в него сузившимися в щелочку глазами и вдруг весело, от души расхохотался.

— Ну, рассмешил, приятель. Это кого же ты позовешь? Сколько вас там на фунт?

— Никого! — огрызнулся Витька и снова забарахтался. — Пусти, ну!

Тяжелые руки соскользнули сначала на предплечья, потом отпустили вовсе.

— Ладно, катись! Но помни: тронете сына — головы пооткручиваю!

— Ага, открутил один такой! — Витька был уже пролетом ниже.

— Ну ты и тип! А зачем, кстати, вам мяч? Просто гоняете?

Из-за спины отца показалось испуганное лицо Арбуза и пухлые ладошки, обхватившие зеленый мяч. Снизу мяч казался совершенно новым.

— Нет, не просто. — Витька задержался, понадеявшись, что, может, еще и выгорит. — У нас две команды, мы тренируемся, ну вот. . .

О том, как они оказались без мячей, он решил не распространяться.

— «Кожаный мяч», значит. — Григорий Львович вдруг оглянулся: — Слушай, на кого же ты похож? Отец где работает?

— У вас в цехе.

— Верно! Абросимов, да? Такой же ерш. Ничего, толковый мужик. Зашибает только. Ты ему передай — пусть бросает, а то выгоню с завода к чертовой матери! — Он подмигнул и взял мяч у Мишки. — Держи!

Медленно передвигая отяжелевшие вдруг ноги, Витька поднялся, взял мяч и пошел вниз.

— Когда занесешь, Рыжик? — крикнули в спину.

Он, не оборачиваясь, кивнул головой.

— Ополоумел от радости, — сказал мужчина, — смотри: завтра вечером чтоб был!

И дверь наверху захлопнулась.

— 3 —

Ребят Витька нашел в соседнем дворе, в беседке, как стеной окруженной разросшимся кустарником. Он молча прошел мимо сторожившего проход Шпендика и, выйдя из лаза, остановился, высматривая свободное место.

— Достал?! — заорал Женька из беседки. — Давай сюда!

Витька бросил ему мяч и сел у входа.

— Нормальный шар! — объявил, насмотревшись на мяч, Женька. — Как новенький.

— А он новенький и есть. Арбузов же...

— Ну, Рыжий, молоток!

— Эй, чего нахохлился?! Ухи целы — и лады!

— Ну, как он тебя прихватил! Я уж думал — все!

— Думали!.. — прорвало Витьку. — Ноги у вас будь здоров соображают! А я из-за вас, сволочей...

— Ладно, будет тебе, заткнись! — Муха гудел вполне добродушно, но Витька понял, что перегнул, и осекся. — Не ты первый, не ты последний. Когда меня на Угольной прихватили, ты тоже до угла не оглядывался.

— А что бы мы сделали? Не драться же.

— Да он бы нас, как своих. Бицепсы у него — будьте любезны. И не обхватишь.

— Да уж наверное — мастер, — задумчиво протянул Чир. — Не знаешь, Рыжий, у него с четырнадцати принимают?

— А ты пойди спроси! — Витьку еще заносило.

— Но-но, полегче!

— Ладно, расквакались: ручки, ножки! Пошли доигрывать!

— Сдурел? Уже девять. Слышишь, пикает?

— А что? В школу завтра собрался? Подожди до сентября. Ну, поехали, еще часок погоняем, хоть в сетке.

— Не-е, — сказал Фома, — мне домой надо. Матка ждет.

— Брось ты! — и Чир принялся урезонивать приятеля. — Пошли на набережную.

— Эх вы! — Женька выпрыгнул из беседки и стал подкидывать мяч обеими ногами попеременно, не давая опуститься на землю. Подъем — коленка, подъем — коленка; подбив пяткой, пустил свечой и лбом мягко сбросил в руки.

— А когда приносить?

— Завтра. Не наколоть бы.

— А... хоть... и наколоть, — Женька опять возился с мячом.

— А если замотать? — Чир сказал тихо, но решительно, так что вопрос звучал уже полуутверждением. Мяч хлопнулся на землю и быстро-быстро заскакал в кусты.

— Как это?

— А так! — Женька с ходу поймал идею. Он облокотился на перила и, говоря, вертел головой, пытаясь втолковать каждому. — Скажем, что прокололи. Им он все одно не нужен. Деньги отдадим. Два рваных всяко сколотим.

— Это уж как Рыжий. Ему решать.

— Я могу пойти. — Чиру явно хотелось познакомиться с отцом Арбуза. — Не съест же. Скажем: так и так. Кто еще пойдет? Фома?

— Чего Фома, чего Фома-то? Как что — так Фома! Этот же мне потом прохода не даст. Они же за гривенник удавятся.

— Да не, Жека, неудобно...

Ребята колебались. С одной стороны, мяч нужен был позарез, а у Арбуза он действительно пропадал без толку, а с другой — все это сильно смахивало на воровство. И то, что Чир брал все на себя, тоже не успокаивало. Идти объясняться должен был тот, кто просил мяч, иначе виноватыми оказывались все. А Витька отмалчивался.

Мяч нужен был ему не меньше, чем остальным, но Витька чувствовал, что, согласившись на Чирову хитрость, он окажется в еще большей зависимости от человека, только что оскорбившего его, человека, которого он глухо и бессильно ненавидел и которому уже был обязан. Чтобы освободиться, он должен был отдать мяч целым и невредимым. Те два рубля, которые неизвестно откуда предлагали достать, не могли поставить его на равную ногу с владельцем; они были несоизмеримы — мяч и две скомканные бумажки или, того хуже — горсть склизкого серебра.

Вдруг из лаза с истошным воплем «Атас!» выскочил Шпендик, и тут же кто-то уверенным голосом позвал из-за зеленой стены:

— Эй, пацаны, где вы там?

— Арбуз с б-батей! — шепотом пояснил Шпендик. — Б-бабки навели. Валим!

— А чего бежать? — спросил Чир.

Он обращался к Витьке, они остались в беседке вдвоем, но говорил громко, чтобы его слышали все. Ребята остановились.

— Пойдем, Чир, — позвал Фома из-за кустов, — ну его!

— Чего прячетесь? — голос звучал нетерпеливо. — Вылезайте, дело есть!

— Пойдем поговорим. А то сваливаем, будто и впрямь виноваты.

Чир перепрыгнул через перила и двинулся к выходу. Остальные стояли в нерешительности. Подойдя к кустам, Чир обернулся и позвал ребят:

— Ну, пошли! Чего боитесь?

— Мяч! — откликнулся Женька.

— Чушь порешь! Только дал — и сразу отнимать? Двинули!

Не решаясь выходить поодиночке, они пошли не лазом, а напролом, через кусты, забирая влево от звавшего их голоса.

Григорий Львович и Мишка стояли в стороне. Когда стало ясно, что вышли все, мужчина выкинул папиросу и, оставив сына на месте, направился к мальчишкам. Чир оглянулся на своих и зашагал ему навстречу. Они встретились ровно на середине и некоторое время просто стояли друг против друга, пока мужчина, чуть приподняв уголок рта, разглядывал Чира. Тот упрямо пытался не отводить глаз, но не выдержал и сморгнул. Наконец старший протянул руку:

— Григорий Львович.

Чир утопил кисть в предложенной ладони и выдохнул:

— Олег. — Настолько непривычно прозвучало его имя, что Витьке даже подумалось, будто Чир решил схитрить на всякий случай.

— Весьма приятно познакомиться со столь выдающейся личностью, — теперь мужчина уже откровенно смеялся, и Чир заулыбался в ответ. — Как же, как же — наслышаны, и премного, смею вас уверить. А разрешите осведомиться, — он, все еще не выпуская руку Чира, наклонился и понизил голос: — Вы здесь в каком звании?

Чир недоуменно пожал плечами:

— Да так... в общем...

— Ага, ясно. Ну что же, фельдмаршал, веди, знакомь со своим войском.

Чир, отступив в сторону, пропустил Григория Львовича вперед, а сам, приотстав, пару раз встряхнул руку. Еще отдельного знакомства удостоился Женька, а затем Григорий Львович принялся пожимать руки подряд всем передним. Выпрямившись, он заметил в середине Витьку и, подмигнув, протянул руку над головами:

— Еще раз, Рыжик!

Витька не шелохнулся. Он уставился в спину Мухе и желал одного — удрать подальше. Между тем рука висела в воздухе, и мужчина, чувствуя неловкость, начинал злиться.

— Да ты что, парень? Оглох?!

Витька молчал.

— Слышишь, тебе говорю?!

Чир врезался в толпу и стал перед Витькой:

— А ну, чеши отсюда, пока цел! — И тут же обернулся: — Да плюньте вы на него, Григорий Львович! Он у нас вечно такой — малахольный!

Говорил Чир быстро и весело, но, поворачиваясь, успел, почти не глядя, сильно ткнуть Витьке кулаком под ребра.

— Плюнуть? — рассмеялся опомнившийся Григорий Львович. — Это можно! Вот так? — И он сделал вид, будто отхаркивается.

— Ничо мужик! — удовлетворенно сказали рядом.

Задние расступились; Витька, согнувшись, выбрался из толпы и присел на корточки за дубом.

Ребята подались вперед, окружили Григория Львовича и обоих вожаков. Только что настороженные и ощетинившиеся, готовые в любую минуту огрызнуться или попросту дать деру, они уже возбужденно шушукались, разглядывая нависавший над ними мощный, клинообразный торс, подпихивали друг друга, указывая и на выпирающие из-под сеточки бицепсы, и на вдавленную переносицу, и на невозможно широкие, словно раздавленные, кисти, покрытые черной порослью. Все они испытывали чувство радостной приподнятости, почти любви к человеку, бывшему недавно чуть ли не главным врагом, а если к кому-нибудь и закрадывались тревожные мысли (ведь не просто же так он сошел к ним, не ради удовольствия познакомиться с дворовой «шоблой»), он тут же гнал сомнения прочь, охотно отдаваясь общему настроению.

Григорий Львович тоже молчал, готовясь ко второму раунду. Счет был в его пользу, но следовало хорошенько продумать, как двигаться дальше. В конечном успехе он не сомневался. Было бы смешно, если б ему не удалось подчинить себе мальчишек, которых он видел насквозь. Григорий Львович любил и умел разговаривать с людьми; ему нравилось заставлять их делать то, что он считал нужным; одних он склонял на свою сторону незаметными, хитрыми ходами, других, когда не хватало времени на уговоры, попросту ломал. Ему всегда, где и с кем угодно удавалось настоять на своем, по крайней мере вне дома, и единственным человеком, с которым он не мог справиться, был Мишка.

Григорий Львович точно знал, что должен уметь и знать его сын, был требователен, и Мишка ни разу не осмелился ослушаться, ни разу, и в этом-то и была главная закавыка. Сын не

прекословил, но все, что бы ни приходилось ему делать, выполнял с таким безразличием, что у отца чесались руки. Григорий Львович уже больше года воспитывал сына (до этого он кончил вечерний институт, а первую половину Мишкиной жизни ему закрыл бокс), пробовал и так, и этак, но ему необходимо было чувствовать сопротивление, видеть перед собой противника, а с этим мямлей он постоянно проваливался и срывался на бессильный крик. Мальчишка рос размазней, и ничего с этим нельзя было сделать. Григорий Львович дошел уже до того, что в голову ему полезла вообще несусветная чертовщина. Так, неделю назад, уже в постели, еще не остывшему после очередного вечернего скандала, ему в полудреме вдруг представилось, что на самом деле именно за Мишкой стоит какая-то страшная сила, действующая по своим законам, идущая своей дорогой, но настолько превосходящая его, отца, в своем могуществе, что там, где они сталкиваются, она может себе позволить и подчиниться. С утра Григорий Львович помнил вчерашнее ощущение и, может быть, впервые в жизни чувствовал себя неуверенно, но в дневной горячке все позабылось. Тем не менее он начал посматривать по сторонам, ища помощи, и, когда после разговора с рыжим наглецом у него мелькнула удачная мысль, Григорий Львович, не откладывая, взялся за дело. Пока все складывалось удачно: враг оказался в единственном числе (правда, несколько неожиданный — в Рыжем он думал найти союзника) и раскрылся сразу, к тому же его убрали свои. Григорий Львович еще раз прикинул, с чего начать, и кашлянул, показывая, что будет говорить. При первых же звуках его голоса шушуканье оборвалось и два десятка пар глаз уставились ему в рот.

А Витька сидел за деревом и плакал. Никогда он не надеялся справиться с Чиром, но ему и в голову не приходило, что он может проиграть так позорно. И он знал, что, по крайней мере, еще одной драки ему не избежать. Иначе лучше уж и не появляться во дворе, гулять на Каменном с сестрой, бегать за картошкой, просиживать вечера у телевизора. А может быть, сейчас? Прямо здесь? Не надо и предлога искать — отдышался и вышел. Только бы ОН не полез. Нет, не станет он разнимать. Будет стоять, смотреть и улыбаться...

Витька очнулся, когда все загалдели, задвигались, ломая строй, подвинулись ближе, а оставшиеся сзади прыгали в возбуждении. Григорий Львович поднял руку, успокаивая.

— Но это не все, парни!.. Да тихо вы, чудилы! — Он махнул рукой и с улыбкой озирал беснующуюся компанию.

Витька вышел из-за дерева, и кто-то, заметив его, заорал:

— Рыжий! И мяч дает, и тренера!

Выждав, мужчина снова покрыл зычным голосом нестройный шум:

— Ша, мальчики! Еще не все!

Смолкли.

— Так вот — тренера я вам достану и дальше помогу, чем сумею, но и вы уж мне не откажите.

— Да вы скажите только, Григорий Львович! — вскричали разом Чир и Женька.

— Во-первых, можете меня звать покороче — дядя Гриша, а во-вторых... — Он обернулся и позвал сына: — Михаил, иди-ка сюда!

Арбуз подошел медленно, загребая носками, и, так же, как и стоял, не поднимая головы, протиснулся в центр.

— А во-вторых, ребята, прошу вас, умоляю, сделайте мне из сына человека. Вы посмотрите только на него — разве это парень?! В четырнадцать лет брюхо наел! Что с тобой в сорок будет, олух?!

Арбуз через плечо бросил странный — ни злобы, ни стыда — взгляд на отца и опять вернулся к созерцанию палочки, которую вертел в руках с самого прихода.

— Сделаем, дядя Гриша, — уверенно заявил Чир, — в команду возьмем, через месяц не узнаете.

— В команду?! — как будто даже удивился Григорий Львович. «Переигрываю, — подумал, — но здесь сойдет». — Это дело. Но только в основной состав. — Теперь он заговорил требовательно, давая понять, что от своих условий не отступится. — Только в основной состав. Я его, поганца, знаю — поставить в запас, так будет за бровкой книжки читать.

— Куда же мы его поставим?

— Придумаем, — отмахнулся Женька. — Вон к Рыжему, во вторую команду. Поставят в защиту.

Витька уже забыл о Чире. Дело оборачивалось — хуже некуда. Угловые получали все, что хотели, а расплачиваться предоставляли им. Витька вышел из-за спин и стал против Женьки.

— А с чего вы Арбуза нам пихаете?

— Опять ты за свое! — взъярился Чир.

— Ну-ну, Олег. — Григорий Львович обнял мальчишку и притянул к себе.

Он видел, что часть ребят недовольна, видимо, та самая вторая команда, и понимал, что лезть напролом нельзя.

— Я не настаиваю, парни, но вы же понимаете...

Угловые окружили Витьку, а остальные стояли в замешательстве.

— Я капитан и Арбуза не возьму, — повторил Витька. — Он совсем не тянет. Это хуже, чем вдесятером.

— Возьмешь, — Муха был очень спокоен. — Возьмешь. Без тренера и без мяча нам всем гроб.

— Нет!

— Ах ты, сука!

— Спокойно, — Григорий Львович придержал Чира. — Значит, капитан говорит «нет», а команда?

— Да мы... да что... он же не тянет... точно... брось — справится... подстрахуем... идешь ты мимо!..

— Мнения делятся. Надо голосовать. Капитан капитаном, но коллектив тоже сила.

— Сейчас нельзя. Троих нет.

— А где же они? А-а, мяч пасут. Хитры, черти.

Напряжение разрядилось общим хохотом.

— Ладно, подождем до завтра. Проведите собрание и сообщите решение. Можно в устном виде. Тогда что же — до завтра!

Ответили хором. Арбуз, весь разговор простоявший с отрешенным видом, так что оставалось неясным, слышал ли он хоть словечко из говорившегося здесь, встрепенулся и поспешил забежать впереди отца. Отойдя на несколько шагов, Григорий Львович остановился и поманил Чира.

— Рыжего, Олег, больше не трогай. Только хуже сделаешь. Он что, в авторитете?

— Да так... — Чир замялся, но врать не стал, — эти, из второй команды... в общем, как он скажет, так и будет...

— А ты постарайся, фельдмаршал. Потолкуй по отдельности, на собрание приди. Своих прихвати для, так сказать, мощной физической поддержки. В общем, думай, действуй. Надеюсь на тебя.

Отец с сыном ушли, и Чир вернулся к своим.

— Завтра к двенадцати в беседку. И чтобы никто не опаздывал. Понятно?!

— 4 —

Когда на следующий день Витька подошел к беседке, все были уже в сборе. Фома держал ему место, распялив локти и развернув колени. Витька плюхнулся рядом с приятелем, сунул, не глядя, вбок руку поздороваться и уставился вниз на пучок травы, вылезший между рассохшихся досок. Фому он ни о чем не стал расспрашивать: и так все было ясно. По пути он решил, что будет держаться со всеми ровно, как если бы ничего не случилось, но оказалось, что даже это ему не под силу, и един-

ственное, что он мог — сидеть, уставясь под ноги, чтобы, не дай бог, не сцепиться с кем-нибудь. А ребята все никак не могли разместиться, толкались по всей беседке, тесня счастливцев, успевших усесться, выпихивали друг друга наружу.

— Все! — гаркнул Женька. — Начинаем!

Оставшиеся без мест сели на пол.

— У нас два дела. Форма и Арбуз. С чего начнем?

Начали с формы. Давно, когда только образовались команды, было решено, что обе выходят на поле в одинаковой форме — знак принадлежности к одному клубу. О цветах в свое время спорили долго, пока не сошлись на красных футболках и черных трусах. Кеды и трусы входили в школьный физкультурный костюм и были у всех, а с футболками и гетрами дело обстояло много хуже. Гетры в конце концов были не столь важны. Футболки же нужны были позарез, а еще по крайней мере человек семь и знать не знали, как им достать форму. Разбирались подробно с каждым, и не два ума, а двадцать подсказывали наперебой, где и как, откуда. Никого не отпускали без точного ответа, а Женька записывал все сроки. Став капитаном, он сразу завел себе перекидной блокнотик, в который заносил все, что касалось организационных дел. Больше всех старался с советами Фома, и с ним же провозились дольше всего.

— Не-е, — тянул он лениво, обгрызая яблоко, — меня матка убьет.

— Ты скажи — у всех есть, я один остался.

— А что ей все? Она говорит — отцову рубашку одень и бегай сколько влезет.

— Какую рубашку?

— Да старую клетчатую. А чо ржать-то?! Я подсчитал — у ней шесть клеток красных спереди да и на спине не меньше...

Кончили, наконец, и с Фомой.

— Все! Запомни — через неделю покажешь футболку, — Женька захлопнул и спрятал блокнотик в задний карман. — Нет — худо будет! Так. Теперь давайте решать с Арбузом. Рыжий, твое слово.

— А почему я?! — спросил Витька муравья, шнырявшего по устилавшему пол песку. — Больше нет никого?

— Ты же капитан.

Почему ему разрешают говорить первым? Чир, ясно, не тратил времени зря и успел потолковать с каждым. Витька слишком хорошо мог представить, как это происходило: лицом к лицу с Чиром и двое-трое угловых за спиной. И теперь они молчат и отводят глаза. Не может же он в одиночку идти против всех!

— А что капитан? Я как все, вместе с командой.

Он поднял голову и, найдя глазами Чира, усмехнулся деланно-беззаботно. В ловушку его хотел загнать? Не такой уж он дурак, с командой его не поссорить.

— Ну и отлично, — заторопился обрадованный Женька, — остальные уже сказали, один ты оставался. Сейчас голоснем — и порядок.

— Ну, и что же сказали? — спросил Витька как нельзя безразличнее.

— А, — отмахнулся Женька, — девять да, один против.

Это меняло дело. Вдвоем можно было еще и побороться.

— Кто ж этот один? — Витька заранее был уверен в ответе. — Ты, Фома?

— Чо я, чо я-то? — дернулся в сторону Фома. — Я — как все. Это вон Шпендик воду мутит.

— Как же, за друга заступается, — улыбнулся Чир вроде бы и одобрительно, но вся беседка загоготала насмешливо. Витька обалдело уставился на потупившегося Шпендика.

Надежд не оставалось. С Фомой они могли поставить на своем, но оказаться в паре со Шпендиком — значило выставить себя на посмешище и заранее обречь на проигрыш. Витька смотрел на непрошеного заступника и с трудом поборол желание подойти и вмазать.

— Тоже мне друга нашел! — услышал он свой голос. — Давайте голосовать, — и первый, не дожидаясь команды, потянул руку.

— Ох и заживем же, кореши! — На радостях Женька прохлопал «цыганочку» от груди до коленей. — Тренер же будет, чудаки, а вы все рыпались!

— Погоди, — Чир потянул приятеля за рукав, — а вместо кого возьмем?

— Сами разберутся.

Но Чир хотел довести дело до конца. Он побаивался, что когда начнут решать вопрос о замене, то, реально ощутив, что значит взять Арбуза, могут и переиграть обратно. Действительно, никто не решался начать. Витька выпрямился и с вызовом смотрел на друзей — проголосовали, теперь расплачивайтесь. Эти несколько минут общего молчания были его победой, впрочем недолгой и тут же обернувшейся унизительным поражением.

— Чо думать? — прорвало наконец Фому. — Шпендика!

— Точно, — подхватил Леха, — не хочет с Арбузом играть, так пусть катится.

— И Рыжий не хочет, — съехидничал Чир.

— Ну, тоже... какая игра без Рыжего... да он вместе со всеми...

— А, правильно. Он же за, — Чир вроде бы пошел на попятную, но на самом деле еще более издевался над скорчившимся Витькой. — Я и забыл. Думал — он со Шпендиком заодно. Как же — кореши!

На этот раз никто не засмеялся. Шпендик встал и начал пробираться к выходу.

— Ты куда? — окликнул его Женька. — Не гонят же. Будешь запасным. Ему много не набегать.

Шпендик ушел, не ответив. У самого выхода он оглянулся на Рыжего, и слава богу, что тот опять уткнулся в пол и не видел Митькиных глаз.

— Так что порядок, — докладывал Чир в тот же вечер Григорию Львовичу. — Рыжий теперь и не пикнет.

Они разговаривали в передней. Григорий Львович сидел в кресле у телефонного столика, нога на ногу, а Чир стоял перед ним, стараясь держаться как можно прямее. Дверь в первую комнату была закрыта, и за ней не слышалось ни шороха.

— Вот так, — заканчивал Чир свой отчет, — куда они Ар... Мишу поставят, точно не знаю, но тот у них в защите играл, слева. Он левой бить может?

— А кто его знает. Эй, Михаил, брось книжку, иди сюда, поговорить надо!

В комнате зашаркали шаги, дверь приоткрылась, и Мишка высунул голову:

— Что, папа?

— Выйди и поздоровайся для начала!

Мишка нехотя, боком выбрался в прихожую и притворил дверь за собой.

— Здорово! — как хорошему приятелю, кивнул ему Чир.

Мишка осторожно взял протянутую руку и ответил:

— Добрый вечер!

— Так вот, Олег интересуется — ты слева сыграть сможешь? Ну, левой ногой по мячу попадешь?

— Не знаю, я же не играл никогда.

— Ох и пентюх! Банки-то хоть подшибал на улице? Какой ногой?

Мишка растерянно посмотрел на ноги, а потом почему-то пальцем указал на одну:

— Вот этой.

— Ага, все-таки левой.

— И как, получалось? — поинтересовался Чир.

— Да так... не очень...

— Ясно, — ухмыльнулся Григорий Львович, — левой не умею, а правой еще хуже. Ладно, пойду я. Договаривайтесь. Да пригласи Олега в комнату. Что ты его в прихожей держишь?

Мишка как-то сжался и очень неуверенно поманил Чира за собой:

— Правда... заходи... зачем стоять?

Но тот решил не навязываться.

— Не, идти надо. Завтра выходи к полдесятому во двор. Пойдем играть.

— 5 —

Теперь они старались не отлучаться со двора надолго и ходили играть в «сетку» — подобие спортплощадки, втиснувшейся с трудом меж зданий через двор от их дома. Небольшой, чуть длиннее школьного физкультурного зала прямоугольник каменистой земли был обнесен металлической сеткой, верхний край которой немного не доходил до второго этажа.

Играли трое на трое, на вылет, до трех голов. Воротами служили вкопанные попарно столбы, держащие баскетбольные щиты. Пока шестеро бегали, остальные болтали ногами на лавочках, протянувшихся вдоль длинных сторон.

С каждым днем Мишка все больше увлекался игрой. То, что когда-то представлялось ему пустой беготней, приобретало постепенно смысл и ритм. Входя в игру, он завоевывал себе и место во дворе. Он знал уже в лицо всех ребят и был накоротке с большинством из них. Единственным темным пятном, омрачавшим его существование, была с трудом скрываемая ненависть Рыжего.

Этот день выдался для Мишки особенно удачным. Он попал в одну тройку с Чиром и Женькой, и из семи игр они уступили только одну. Заигравшись, он чуть было не опоздал к обеду и в дверях услышал, как мать стучит уже посудой по столу. Не снимая кедов, Мишка прямо пошел на густые, съедобные запахи и ввалился в кухню как был — пропыленный, взъерошенный, с грязными разводами по щекам.

— Чучело! Иди хоть в зеркало посмотрись! И в обуви лезет! А ну марш в прихожую!

Мишка ретировался, стяпув из хлебницы увесистую горбушку.

— Это еще что?! Положи на место! Умойся сначала!

— У-гу, угу! — Он и не думал возвращаться. Хлеб был мягкий и теплый, даже чуть сыроватый и лип к зубам.

За обедом ему не сиделось, и в первый раз он пожалел, что отца нет дома. Но тот звонил, что задерживается, а мать, расстроившись (они как будто собирались в кино), была не расположена слушать. Мишка ерзал, крошил хлеб на клеенку, наконец выхлебал, обжигаясь, стакан киселя и кинулся одеваться.

— Чтобы в полдесятого был дома!

— Ну, ма...

Выклянчив лишние полчаса, выкатился за дверь и запрыгал через ступеньки.

Торопился он напрасно. «Сетка» уже опустела, и в беседке тоже не было ни души. Ему стало досадно. Совсем не хотелось заканчивать такой день у телевизора или даже в комнате с книгой. Он решил вернуться во двор и расспросить малышню, но только вывернул из-под арки, как из открытых окон в него ударили винтовочные залпы. Тут только он вспомнил, что сегодня в шесть тридцать фильм по первой программе, и расстроился вконец. Теперь раньше восьми никого не встретить. И домой вернуться нельзя — мать может придраться к чему-нибудь и больше не отпустить. Не желая торчать под своими окнами, он опять прошел под аркой, побродил по дорожкам вокруг фонтана и выбрел на детскую площадку. Там один-одинешенек раскачивался на качелях Рыжий.

Еще вчера Мишка обошел бы его за километр, и даже сегодня, преисполненный самодовольства после дневных успехов, когда ему казалось, что любой должен, ну если не восторгаться, то, по крайней мере, смягчиться, он долго не осмеливался заговорить. Погонял по песку деревяшку, покружился на каруселях, забрался на бревно. Наконец, решился и уверенными шагами направился к качелям.

— Здравствуй! — единственная завязка разговора, которую он сумел найти.

Рыжий сидел боком на узкой металлической планке, связывающей спускавшиеся с верхней перекладины штанги, и слегка отталкивался от земли свободной ногой. На подошедшего Мишку он и не взглянул, но ответил:

— Здорово! Давно не виделись.

— Я вот... А что ты фильм не смотришь?

— Ящик сломался, — нехотя буркнул Рыжий.

На самом деле ему просто не дали смотреть. Отец переключил на другую программу, а Витьку, когда он заспорил, мать выставила из комнаты. Соседки дома не оказалось, идти к Фоме было стыдно, и Витька забрался сюда, рассчитывая отсидеться незамеченным до конца фильма. И вот — приперся этот.

— Ничего, ты не огорчайся. Фильм так себе. Я его видел. А вечер сегодня хороший.

Вечер действительно был хорош. Теплый, спокойный. Но фильм тоже был хороший, старый, прошедший по экранам еще до того, как они научились отличать чужих от своих, и весь двор ждал этого дня с самой пятницы, с момента, когда принесли программу.

— Хороший, говоришь... — повторил Рыжий и неожиданно взорвался: — Заткнись, жирный! Уматывай отсюда, понял?!

Мишка отпрыгнул, но не ушел — остался стоять, пристально разглядывая Рыжего.

— Ну, чего вылупился?!

— Слушай, за что ты меня так не любишь?

— Твое какое дело?!

— Ну как же, — Мишка попытался усмехнуться, — все-таки это и меня немного касается.

— А тебе небось хочется, чтобы все тебя любили?

— Не обязательно, — соврал Мишка, — но хотелось бы знать — за что?

— Глухой, что ли?! — Арбуз сам нарывался, и Витька сдерживался из последних сил. — Еще раз повторяю — не твое дело! Не лю... — споткнулся на непривычном слове, — не люблю — и весь сказ!

Но тот не унимался:

— Но за что? Играю я плохо? Так не брали бы.

— Я бы не брал, — Витька спрыгнул с качелей, намереваясь уйти, отвязаться от надоеды. — Команда решила взять — и взяли. А я как команда.

— А ты, значит, не в команде?

— То есть как? — растерялся Рыжий. Он повернулся и подошел вплотную. — А ну, повтори!

— Да ты послушай, — заторопился объяснить Мишка, — ты вот говоришь — команда решила. А кто решал? Фома, Прыщ, Леха... Они спорили-спорили, решили, наконец, и тебе сказали. Ну, и получается, что команда — это только они. А ты в стороне. Правильно?

— А пошел ты!..

Рыжий не ударил, только пихнул в грудь. Но во время разговора Мишка все отодвигался, пока не допятился до песочницы, и теперь, качнувшись от резкого толчка, споткнулся о бортик и растянулся во весь рост. Рыжий стал над ним, может быть, ожидая, что Мишка захочет подняться и дать сдачи, но, поняв, что тот и не собирается вставать, быстро ушел.

Мишка лежал неподвижно до тех пор, пока видна была

голова Рыжего, и только когда тот свернул на боковую дорожку, скрывшись за высокими и густыми кустами, осторожно поднялся на ноги. Особенного урона он не понес: саднило плечо, попавшее на камень, да вся одежда была в песке, пробравшемся и к телу под ремень, в рукава, между пуговиц на рубашке и брюках. Мишка отряхнулся, высыпал песок из сандалет и отправился искать Чира. Он и не подозревал, что умеет так злиться.

Фильм еще не кончился, и Мишка пересек двор, прошел под противоположной аркой и, перебежав улицу, длинной анфиладой проходных дворов вышел на набережную и не спеша побрел вдоль Большой Невки. Речной воздух остудил первую злость, но прилипшие к телу песчинки, заставлявшие его извиваться на ходу, напоминали о мести. Все-таки он был уже не столь уверен в своей правоте и до самого двора взвешивал «за» и «против», не решил ничего определенного и положился на случай.

А случай уже поджидал его. Вездесущие мальки уже разнесли новость по всему двору:

— А Рыжий ка-ак даст! А Арбуз хлоп... и все, — добавляли разочарованно.

Чира Мишка нашел во дворе. Угловые собрались на бетонной лестнице, поднимавшейся к входу в склад книжного магазина, и, наперебой хватая друг друга за руки, обсуждали просмотренный фильм. Мишка подошел нерешительно, но Чир только его и ждал. Он мигом соскочил с лестницы. Махнул Мухе и позвал Женьку, возившегося внизу у стенки с мячом.

— Ну как? — Чир внимательно осмотрел Мишку и, хотя тон был соболезнующий, вроде остался недоволен отсутствием повреждений.

— Да ничего как будто, плечо вот только...

— Ладно, сейчас мы ему устроим! Жека, идешь?

Женька в последний раз поймал мяч и присоединился к карательной группе. Сверху на них сыпались напутствия и советы.

Мишка был доволен таким оборотом. Ему даже не пришлось просить, ребята сами выступили на его защиту. Так и должно быть. Когда сильный бьет слабого, это подло, и справедливость должна быть восстановлена. Он приободрился и, в то время как Муха с Женькой вприпрыжку перебрасывались мячом, шел сзади с Чиром, преподносившим ему на ходу основы кулачного боя. Обычно он, как и все во дворе, говорил мало, короткими и корявыми фразами, но сейчас, перечисляя все эти нырки, уклоны, подставки, прямые, апперкоты, Чир просто захлебывался словами. Сначала и Мишка заразился его воодушевлением, но, чем дальше, тем отчетливей представлял, что не кому-то в телеви-

зоре, а именно ему через десяток минут придется подставлять ладонь под удар, оберегая свой нос, или сгибаться, пропуская над головой кулак Рыжего, который в его воображении разросся почти до размеров волейбольного мяча. Кроме того, ему еще ни разу не приходилось бить человека в лицо. Он поскучнел, и Чир, заметив это, оборвал на полуслове:

— ...а в общем, все это чушь. Бей в глаз и делай клоуна. Усек?

— Угу...

— Да не дрейфь! Пусть только пальцем шевельнет!

Мишке показалось, что Чиру этого-то больше всего и хотелось.

Рыжего они нашли во втором дворе. Он стоял у дуба, разговаривая с Фомой. Увидев подходивших ребят, он и не дернулся бежать, только отступил назад, прижимая спину к дереву. Чир стал напротив, держа при себе Мишку. Муха и Женька зашли с флангов. Фома шажок за шажком выбрался из окружения, но совсем не ушел — остановился на приличном расстоянии.

— Так что он тебе сделал, Рыжий?

Рыжий не отвечал. Опустив руки, он неотрывно смотрел на Чира; ни ненависти, ни страха — одно лишь угрюмое ожидание читал Мишка в его глазах.

— Что, здоровым стал?! — загудел Муха. — Меня бы нашел, коль руки чесались!

Чир вытолкнул Мишку вперед:

— Дай ему!

Рыжий разлепил губы:

— Пусть только попробует... — На Мишку он даже не взглянул.

— И что будет? — поинтересовался Женька.

— Увидишь!

— Ну, Миш, давай! А хочешь — подержим, — и Чир двинулся вперед.

Муха остановил его:

— Погоди, пусть вдвоем разберутся для начала, а дальше поглядим.

Мишка не двигался. Не то чтобы он особенно боялся — он понимал, что нужен только для затравки, что при первом же ударе Рыжего кинутся те трое. Право ударить только у него, а ребята здесь для поддержки, словно олицетворяя ту самую справедливость, помогающую в конце концов слабому, но праву взять верх над сильным, но он уже передумал.

— Пойдем, Чир, не надо.

— Да чего ты боишься?.. — начал было Чир.

Но опять вмешался Муха:

— Не хочет — его дело. Но ты смотри, Рыжий, — еще раз, и я сам за тебя возьмусь.

Рыжий молчал и не шевелился, чтобы не спровоцировать собравшихся уходить парней. И тут Женька, которому абсолютно было плевать на Рыжего, Арбуза, правых, виноватых, который пришел сюда лишь за компанию с Чиром, вдруг неожиданно для самого себя сбросил мяч на ногу и пробил в Рыжего. Хлесткий удар кипятком ошпарил бедро, и Рыжий, взвыв от боли, бросился на Женьку. Чир поспешил на помощь другу. Вдвоем они сбили Рыжего с ног и, придавив коленями к земле, замолотили кулаками; Рыжий извивался и яростно, но безуспешно отмахивался.

С Мишкой случилось что-то вроде припадка. Он прижал руки к груди и, часто стуча кулачками друг о друга, кричал на одной ноте:

— А-а-а... не надо! не надо! не надо!.. зачем вы?! не надо! не надо! не надо.. а-а-а! — дергаясь и переступая на месте.

Муха влез в драку и оттащил ребят от Рыжего.

— Хватит с тебя?! — тяжело дыша, спросил Чир. Женька, с досадой разглядывая разбитые костяшки, пошел за мячом.

— Ладно, оставь его. — Муха взял Чира за локоть и повел с собой. Мишка потащился следом.

Рыжий с трудом сел, запрокинул голову, уперев затылок в кору, и зажал нос; скосив глаза, он видел, как кровь просачивалась сквозь пальцы, окрашивая розовым налипшие комочки земли. Подошел Фома.

— На, подорожник приложи. Все Арбуз устроил. Ну погоди, сука!..

— 6 —

Через день Арбуз привел в «сетку» тренера — худощавого и невысокого (ниже Мухи) парня. Игорь, так звали тренера, играл правого крайнего в нападении заводской команды. Витька видел его пару раз, когда отец брал его посмотреть первенство города, и запомнил.

Всю оставшуюся до начала игр неделю они тренировались на старом заводском стадионе, том самом, где загублены были все мячи, только теперь они уже не протискивались, обдираясь, в узкий лаз, а гордо проходили в ворота мимо все еще недоверчиво присматривающегося сторожа.

Начинали тренировку с бега, огибая несколько раз поле по

гаревой дорожке. Количество кругов не устанавливалось, время тоже; бегали, пока не останавливал Игорь.

Игорь свистел, и тут же, кончив бег, ребята стягивались к центральному кругу. После короткой разминки начиналась собственно тренировка. Раскрыв огромную белую сумку, Игорь выбрасывал четыре мяча, настоящих футбольных, правда, не ниппельных, а со шнуровкой, два — направо, два налево, и каждая команда уходила на свою половину. Сначала они просто возились с мячом, в основном били по воротам. Затем обе команды перемешивались, разбираясь по «профессиям». Полузащиту с защитой, чтобы не мешали, загоняли на одну половину, и они там скучно перебрасывались мячом по кругу, а нападающих, вратарей и двух полузащитников получше — Муху и Костю — Игорь тренировал самолично.

Женька и Леха становились поочередно в ворота, а остальные били. Из любого положения, с любых передач. А Игорь в стороне занимался со свободным вратарем: обозначив дощечками воротца, посильно бросал мяч рукой, следя только за тем — правильно ли ловит. Затем они играли два тайма по полчаса, пробегали круг-два, кого на сколько хватало, и уходили, освобождая место взрослым.

Дома Витька разогревал обед и наскоро, пока не появилась соседка, хлебал, стоя у плиты, прямо из кастрюли, чтобы не мыть лишнего; хватал несколько ломтиков жареной картошки со сковородки и, поставив будильник на полчетвертого, заваливался спать. На тренировке он не щадил себя и, лишь прикоснувшись к подушке, проваливался в глухую и вязкую черноту. По звонку он вскакивал, прибирался в комнате (в магазин он успевал до тренировки) и бежал за сестренкой. Забрав Ленку из детского сада, он увозил ее на Каменный остров, где выгуливал ее часа два-три, скармливая постепенно захваченные из дому полпачки печенья.

Во двор Витька не выходил. После собрания, не того, когда решили взять Арбуза, а второго, созванного по его требованию, на котором он, в последний раз пытаясь настоять на своем, отказался капитанствовать, сначала лишь угрожая, а потом, так и не дождавшись ясного ответа, швырнул им в лицо свое звание, (а повязку на стол), ребята отшатнулись от него, и если отвечали, то не поворачивая головы и с заметным принуждением; выходя со стадиона, они сговаривались идти за Черную речку — рвать яблоки с невысоких, будто нарочно скрученных деревьев — или купаться в парк; они громко перекликались с отставшими, сколачивая компанию, а идущего рядом Витьку не замечали.

Только Фома еще общался с ним и как-то даже разыскал их на Каменном, плюхнулся рядом на скамейку, где Витька развлекал сказками утомившуюся от беготни Ленку, и в доброте душевной высыпал девчонке в подол горсть маленьких, красно-зеленых яблок, походивших на окаменевшие вишни. Витька пытался протестовать, но сестренка покривилась, морща нос и отчаянно растягивая губы.

— Нехай куснет, — благодушно вступился Фома. — Больше не захочет. Кислые, заразы!

И верно — чуть не обломав зубы о первую «ягоду», Аленка потащила остальные в песок.

Но с Фомой оказалось еще скучнее, чем с Аленкой; он говорил только об Арбузе, мечтал, как он ему «вломит», строил планы, рассчитывал силы:

— Муха уже не в счет; Женька тренера получил, теперь ему Арбуз без надобности; Чир тоже, того и гляди, откачнется. Тут-то мы его и прищучим! А, Рыжий?

Витька слушал вполуха, выстругивая из подобранной плашки лопатку сестре, чтобы не марала рук в песке: очередной совок, купленный им уже на свои деньги, она тоже потеряла.

— Не я буду, если не изметелю! Да ты чего?

— Брось ты его! На хрена он тебе сдался?

— Ну ты даешь! Тебе из-за него рожу раскровенили, а ты — брось!

— Так ведь мне же...

— А ты мне кто?! Кореш или портянка?

Витька промолчал. Он уже покончил с черенком и теперь осторожно скоблил лопасть.

— Ну, лады, полетел я. — Фома встал со скамейки и, приподнявшись на носки, широко потянулся. — А то приходи вечером в беседку. Про пиратов слушать.

— Ты ж его метелить собрался.

— Это не уйдет! А брешет он складно. Вчера такое загибал — один меж двух затесался и давай чесать — одного вообще потопил, другого раздолбал...

— Он что — сам придумал или читал?

— Или. Чир был у него, так говорит — от книг не продыхнуть. Давай, Рыжий, приходи. Ты чего-то совсем отбиваешься.

— Это я-то?! — вскинулся было Витька, но сдержался: — Не, Фома, не приду. Дела...

Первую встречу они выиграли легко, раскатав противника под ноль. Первый гол с пенальти забил Алик, и еще по два гола пришлись на долю Витьки и Фомы.

Следующий тур они пропустили — не было пары. А угловые играли и победили, так же как и в первый раз. Зато потом отдыхали старшие, а им... им надо было играть со «Сменой».

— 7 —

С утра небо заволокла серая пелена, в которой изредка возникал быстро перемещающийся кусочек голубого, и двор, освещенный рассеянными лучами, был весь ровно светел.

Стало ясно, что погода сегодня самая игровая. Ветерок трепал широкие, не доходившие до локтя рукава рубашки, заползал под материю, пощипывал кожу, и Мишка пожалел, что не натянул куртку, которую мать нарочно же повесила на стул рядом с постелью. Но возвращаться не хотелось. Ребята уже собирались в центре газона, он видел Фому, близнецов, Валета, еще подошло несколько угловых проводить.

Чир толковал о чем-то с Мухой, и Мишка, поставив сумку к уже стоявшим на скамейках, терпеливо ждал, пока он останется один. Муха размахивал бидоном и несколько раз порывался уйти, но Чир все не отпускал его, выспрашивая о футболе, на котором тот побывал вчера. Наконец Муха отмахнулся:

— Погоди, вернусь и доскажу, а то усдет.

И побежал за гаражи. Там, во двор через улочку, каждое утро привозили бочку с совхозным молоком. Но Чир не стал дожидаться, а уверенно пошел со двора. Мишка поспешил за ним.

— Олег! Олег! Оле-ег!

Тот остановился, искоса, через плечо, разглядывая подбегавшего Мишку.

— Привет!

— Привет, — отозвался Чир равнодушно. — Чего?

— Да... я так... просто. Как дела?

Чир не спешил отвечать, и Мишка, обежав его, стал на пути.

— Что, играете сегодня?

Мишка впервые видел, чтобы Чир избегал смотреть в глаза.

— Да, со «Сменой»! Фома говорит, что они здорово играют; ребята вроде бы побаиваются, но я думаю, что выиграем. В тот раз тоже: ехали — тряслись, а потом, знаешь, как разнесли...

Мишка смолк, удивленно уставившись на собеседника. В самом деле, как же это получилось, что он еще не успел поделиться с приятелем главными новостями. После игры прошло уже три дня, и они должны были успеть все обговорить, но, сколько он ни старался, вспомнить такого разговора не мог.

— Эй, Арбуз, пошли!

Мишка не пошевелился. Он привык, что его зовут по имени, а если у кого-то и срывалось с языка прозвище, то не спешил откликаться, ожидая, пока зовущий, заметив Чира, поправится сам.

— Арбуз!!! Оглох, что ли?! Уходим!

— Ну, иди. Тебя зовут. — Чир слабо махнул ладонью у плеча и, обогнув Мишку, пошел дальше. Мишка, не отрываясь, смотрел ему в спину, пока у ног не разлетелся по асфальту ком земли. Ребята уже втягивались под арку. Свою сумку Мишка нашел под скамейкой, поднял, смахнул песок и, не особенно торопясь, побрел догонять.

На остановке ему досталось еще раз. Автобус отошел, когда только первые успели добежать до задних дверей, а Мишка, придя на место, увидел лишь, как он заворачивает в конце улицы, но в опоздании все равно обвинили его. Он пришел последним, он вечно копается, трясется над своим добром, все из-за него... Мишка не отвечал, отошел и стал у витрин игрушечного магазина. Следующего ждали долго, выбегали на угол, откуда просматривался весь переулок, и торчали там по двое, по трое, подпрыгивая в нетерпении. «Что, скорей придет?» — ворчал Фома. Наконец, очередная вахта опрометью бросилась назад, и тут же из-за дома важно выплыла желтая туша.

Мишка не стал садиться. Он забрался в угол на задней площадке и, сунув сумку к стенке, прилип к стеклу. Когда автобус тронулся, стало легче; мерное покачивание успокаивало, а вплывающие в окно городские картинки, привлекая внимание, не давали полностью замкнуться в своем несчастье.

...теперь и Олег. А что нужно было этому? Ах да — секция бокса на заводе. Он просил тебя узнать, это было недели полторы назад, но отец задерживался допоздна, и только за день до игры, после третьего напоминания, ты все-таки дождался его прихода, и отец, хватая со столика газету, буркнул: «Таких не берем, пусть едет в Промку», а назавтра ты так же, походя, передал это Олегу, и что же он? Правильно, это было накануне игры, те только вернулись с победой и весь вечер говорили лишь об одном, а Чир сидел как потерянный, непривычно тихий, и ты думал, что это из-за игры, из-за срезки в штрафной, когда им забили, но вспомни, когда он переживал из-за футбола?..

Автобус накренило на повороте, и Мишка, не успев ухватиться за поручень, покатился к двери и столкнулся с Лехой, которому надоело сидеть, и он пробирался к свободному заднему окну. Зашипев от боли, тот пихнул обидчика так, что Мишка, возвращаясь на место, чуть не врезался в стекло. Было не так

больно, как обидно, и он подскулил пару раз, благо и сам себя еле слышал из-за шума мотора.

...просто некем заменить и терпят. Но почему некем? Что, только тебя и ждали? Была же команда, куда делся одиннадцатый? Вспомни — сын дворничихи, маленький, косоглазый заика. Ты часто видел его на лестнице по утрам; тот помогал матери стаскивать вниз ведра, а потом они вдвоем, взявшись каждый за ручку, толкали тачку с баками. Но, спустившись во двор, ты его уже не встречал. Нет, столкнулся однажды под аркой; тот шел с чемоданом и, пропуская, прижался к стене, почти распластался по кирпичной кладке. А ты свернул? Нет, еще и растопырил локти, чтобы наверняка задеть. Так чего же ждешь сам?..

Играли в парке, в центре города. Вышли из автобуса и потянулись через улицу, где у входа в кинотеатр Игорь нетерпеливо кружил между скамеек.

— Ну, даете! Согласны на баранку без боя? Бегом! Те уже разделись!

Он ошибался. «Смена» только что подошла, и еще последние втягивались в узкую дверь раздевалки. Их пустили в длинный, невысокий зал в подвальном помещении, до отказа забитый гимнастическими скамейками. Показали, где раздеваться, — две скамейки, протянувшиеся от угла по стене. Рядом, вдоль второй стороны угла, переодевалась «Смена». Ничего особенного. Такие же парни, даже чуть помельче; держатся только поувереннней и форма шикарная — белые с обрезанными рукавами футболки с названием команды, пущенной затейливым шрифтом по груди, синие с черной каймой трусы.

Витька не спеша подвязывал гетры и разглядывал соперников, ища по номерам своего опекуна. Вот он, «двойка». Пониже и пошире — не сковырнешь. Но ноги коротки. Сделаю! Тот тоже присматривался, но Витька не поворачивался спиной — пусть поищет.

— Все сюда! — хлопнул в ладоши Игорь. — Живее! Михаил, кончай копаться!

— Вечно он... У-у, тютя!

Арбуз суетливо затягивал шнурки, сильно потянул, оборвал, чуть не плача, взглянул на команду.

— Да свяжи ты концы! — вырвалось у Витьки, но он тут же отвернулся.

Игорь уже говорил:

— ...играют дружно, в пас, но только в центре. Дальше все идет одним краем, левым. «Десятый» у них хорош. Юрик, возьми его и не отходи ни на шаг. Валет подстраховывает. Толич...

...за мяч, за тренера, за отца. А раньше ты не знал? Даже и не догадывался? А тот разговор, самый первый, когда тебя привел отец? Не понял? А за что же тебя взяли под крылышко Чир с Женькой? А за что тебя ненавидит Рыжий? А за что презирают остальные? Ну, эти-то ладно, они продали его и теперь отыгрываются на тебе. Подонки! Положим, что так. Но что нам до других. Сам-то ты кто? Хороший — плохой, добрый — злой; что ты за человек, Михаил Григорьевич?..

— ...оттянешься и с Костей возьмешь центр. Встречайте жестко, но не фолите. И не дай бог заведетесь. Первых с поля погонят вас. Ну, ни пуха ни перышков. Пошли!..

Поле выглядело ужасно: ни травинки, лишь утоптанная земля, густо посыпанная мелким гравием. Кеды скользили, и Витька позавидовал Фоме, догадавшемуся пододеть тренировочные под трусы. Его снесли в первую же минуту, он только успел протолкнуть мяч мимо выставленной ступни, а сам проскочить не сумел. Его попросту зацепили за ногу в прыжке, он грохнулся во весь рост и еще метра полтора проехал на боку. Сразу вскочил, остановил отброшенный ему мяч и, не разбегаясь, сильно пробил на правый край. Нога болела, кожа на бедре почернела и треснула...

Мишка стоял на отведенном ему месте и жевал длинный стебелек, сорванный по пути от раздевалки. Они, как обычно, растянулись в линию, только не параллельно воротам, а наискосок. Юрик уходил к центральной линии, преследуя своего подопечного, а Валст с Прыщом подтягивались к нему, не давая образоваться дыре. Они смещались вперед и вправо, вправо же ушел и Костя, став рядом с Фомой, и на левом краю, если не считать мелькавшего у тех ворот Рыжего, Мишка остался один. Он развернулся вполоборота к бровке, чтобы не мешало солнце, изредка проглядывавшее в просветы, и, уставившись перед собой, застыл. С момента выхода из раздевалки его охватило странное оцепенение, он двигался точно в полусне: поворачивался, когда его окликали, останавливался, налетев на спину переднего, и здесь, на поле, ноги сами несли его, машинально повторяя вдолбленное и заученное; сам же он выключился из игры. Он словно разделился на две, матрешкой составленные одна в другую части: с миром соприкасалась внешняя, та, что видела, слышала, ощущала, двигалась, но все это совершалось само собой; сам же он затворился внутри, почти полностью оборвав связь с окружающим.

Игра переходила на их половину, и Витька по своему краю тоже потянулся назад. За центр он не стал переходить, и мяча ему не было видно, но толпа смещалась к боковой, и Витька спокойно наблюдал за игрой.

Не так уж они и страшны. Играют дружно, но передерживают мяч, и нападение — не блеск. В штрафной суетятся, сами идти не решаются — все пытаются играть через «десятку», левым краем. И хорошо. Не дай бог пойдут через Арбуза — эту дырку не залатаешь. Вот и сейчас — мяч у ворот, а ему хоть бы хны, стоит столбом. «Десятку» надо взять плотно и не Юрику — слишком тяжел, а Толичу. Пусть прилипнет и не отходит. А Юрик подстрахует или Валет. Кому удобнее. Ну а впереди уж мы побегаем.

Мяч был уже у Лехи. Он махал свободной рукой, гоня всех вперед, и начинал разбегаться, готовясь к удару...

Мишке мало приходилось двигаться. Он сам себе определил полосу, которую считал обязанным прикрывать и вступал в игру в тех редких случаях, когда мяч оказывался в его зоне — от бровки до штрафной. Но и тогда он не торопился к нападающему, старался расположиться так, чтобы вынудить того свернуть вправо. То, что этим он позволял белым беспрепятственно проникать в штрафную, его не беспокоило. Сейчас Мишка играл только за себя, и главным для него было — не пропустить никого за спину, не проиграть единоборства, не дать повода упрекнуть его впоследствии — с тебя началось. Он левый защитник и обязан держать свой край; себя обойти он не давал, а за штрафную отвечали Прыщ с Валетом.

Алик протащил мяч до лицевой, там его зажали в угол; он все-таки извернулся и пробил, но попал в защитника. Доставать мяч из кустов бросились вперегонки малолетки, толпившиеся за воротами. Полузащита подтянулась, Фома с Костей затесались среди белых на одиннадцатиметровой отметке, а Витька стал на углу вратарской. Если у Алика получалось, мяч приходил как раз на дальнюю штангу. Его держали двое — «двойка», которого он еще до начала игры определил как своего опекуна, и «шестой». Оба были коренасты, твердо стояли на ногах и стерегли Витьку с выучкой хороших сторожевых псов. Только, если первый выпучивал глаза с бульдожьей искренностью, второй угрюмо и цепко следил из-под нависшей челки. Закрутить не удалось: вместо дуги мяч пошел по прямой и вылетел из штрафной...

...и предатель! Нет, почему же; он купил тебя, а товар оказался с гнильцой. Не ты, успокойся. Это отец не дал ему обещанного. Так кто же он? А важно ли это? Важно: узнав, кто он, я могу сказать о себе — я не это. Ну и что? Главное — он сделал то, что сделал. А что сделал бы ты? Как ты поступил бы на его месте? Не знаю, но не так. Уверен? Да, я знаю, что если человек доверяется другому, то тот берет на себя ответствен-

ность за доверившегося, и благородный человек не должен, не имеет права...

Фома передержал мяч, и Витьку успели прикрыть. Пас пошел направо, а Витька остановился и наблюдал за Аликом, упорно пробивающимся вдоль бровки. Тот знал и умел одно — проскочить вперед, хоть на полступни опередив защитника, и подать в штрафную. Там кто-то должен был замкнуть. Кто — Алика не интересовало. Следить должны были за ним.

Витька сдвинулся к середине. У ворот уже столпились и свои, и чужие. Втискиваться в эту кучу было бесполезно. Он рассчитывал подобрать отскочивший мяч и, уклонившись влево, проскочить к воротам. Мяч влетел в штрафную и тотчас выскочил в поле. Витька перехватил мяч, опередив защитников на несколько метров и, не теряя времени, пробросил себе на ход. Он успевал обогнуть все еще скучившихся игроков — они стояли слишком плотно, чтобы рассыпаться разом, — и выскочить на точку. Уже входя в штрафную, он неожиданно почувствовал, что не может бежать; мяч укатывался все дальше, а он оставался на месте, точно ступни вдруг вросли в землю, тянулся следом и грохнулся ничком, не успев и выбросить руки. На этот раз он приложился лбом и некоторое время лежал без движения, смутно различая голоса вверху. Затем он перевернулся и сел. Фома наскакивал на «шестерку», а тот уходил в сторону, оборонительно выставив локоть. «Как он достал?» — подивился Витька, но тут же вскочил оттаскивать Фому. Сюда пробирался судья.

Его снесли на самой линии, и сперва Витька решил ударить по воротам, но не нашел никакой щелочки в стенке и пустил мяч поперек поля, под удар набегающему Косте. Тот не ждал передачи, засеменил, подбирая ногу, и мяч, срезавшись, ушел к угловому флагу...

...не злой, справедливый, знаешь, что хорошо, а что плохо, но они разберутся и без тебя — кулаками. А ты не можешь ни драться, ни бегать, ни... ничего, что нужно им. А ведь считал, что прижился. И как же ты так опростоволосился?! Они же смеются над тобой и кличку придумали унизительнейшую — Арбуз. Сам посуди — ну какой же ты им свой?!.

Костя перемудрил, и Фома не успел к мячу. Витька догнал, достал уже на своей половине и выбил мяч за боковую. Белые быстро перебегали центральную линию, готовясь атаковать, но второпях вбросили неправильно. Прыщ пошел перебрасывать и неожиданно сильно, через головы, кинул мяч Фоме. Край был свободен, но Витька не спешил. Напротив, он двинулся поперек, убеждая опекунов, что собирается помочь Фоме, приплясывающему перед двумя белыми, и, только когда тот проскочил на сво-

бодное место, резко кинулся влево. Он не оглядывался, уверенный, что Фома заметил его рывок, и, когда мяч разбросал гравий метрах в трех впереди, еще наддал, но, лишь зацепив мяч ногой, затормозил, пропуская защиту, и, срезая угол, двинулся по прямой к воротам. Он все сделал верно: увидев набегавших белых, опять свернул, вышел к лицевой и прострелил, но выскочивший на передачу Костя из вратарской пустил мяч над перекладиной.

Витька застыл, уставившись на ворота, словно надеясь всетаки увидеть мяч трепыхающимся в сетке: он должен быть там! — но встряхнулся и, мимо приходящих в себя белых, побежал разнимать Фому и Костю.

— Тебе ж как на блюдечке преподнесли, а ты?! . Да я б с закрытыми глазами...

Фома был коротконог и обычно, чтобы поспевать за краями, играл чуть впереди, почти в офсайде; оттянувшись же по указанию Игоря, он безнадежно опаздывал и вынужден был бороться за мяч в самой толчее. Тем более это было обидно, что у ворот он играл на редкость хладнокровно и, замкни Витькину передачу он, гол был бы наверняка.

— Остынь! — крикнул Витька, пробегая, и потянул Фому за рукав. — Оттянулись!

У центра они остановились, но мяч все еще был за полем. Сквозь кустарник виднелись белые футболки, толпившиеся вокруг одного из посаженных вдоль дорожек деревьев и швырявшие вверх палки и камни. Мяч застрял у самой макушки и издали был хорошо виден, но точному броску снизу, очевидно, мешали ветки.

Воспользовавшись передышкой, подбежал Прыщ.

— Рыжий, скажи ты хоть ему! Стоит столбом и ни с места. На меня двое выходят, ему ору: «Арбуз, Арбуз! ..»

— Потом, — отмахнулся Витька, — в перерыве. Давай на место, сейчас выбьют.

А Фома крикнул в спину убегавшему Прыщу:

— Чего ж ты его так невежливо — Арбуз?! Помнишь, что Чир велел? Ты его Мишенькой покличь — враз отзовется.

Прыщ будто запнулся и в изумлении повернул голову:

— Так то ж Чир! А мне-то чего — свой же парень...

...«Не нужен, не нужен!» — жужжала над ухом оса. Пока еще нужен, пока не вернется тот и не займет своего места. А до тех пор его будут таскать за собой, затыкая самими же проделанную дыру, и срывать на нем злость, взваливая на него свой же грех. Может быть, лучше уйти, не дожидаясь? Это будет чувствительный удар. Но только представив, как он в кругу ре-

бят сообщает о своем решении, Мишка почувствовал, что покрывается мерзким, липким потом. Можно и просто уехать, никому не сказав, но ведь когда-то придется вернуться.

Справа что-то творилось, истошно орал Леха, приплясывая у штанги, а Мишка стоял неподвижно, не замечая ни сместившейся к их воротам игры, ни людей у поля, показывающих на него пальцем...

— 8 —

Свистка Витька не слышал. Его как раз прижали в углу, и, стоя спиной к полю, оттесняя защитников выпяченным задом, он извивался угрем, пытаясь найти щелочку, чтобы вырваться или прострелить. Почувствовав, что напор сзади ослабел, он, извернувшись, проскочил назад и навесил в штрафную; но обе команды уже уходили с поля, и мяч подобрал судья.

Он все-таки убегался за эти полчаса и, трудно переставляя отяжелевшие вдруг ноги, направился к ближайшей скамейке, но Игорь, избегая непрошеных советчиков, уже спешивших обступить игроков, повел их дальше, за кусты, высаженные в три линии параллельно дорожке. Продравшись сквозь гибкие, переплетшиеся ветки, они тут же повалились на траву. Фома неодобрительно покосился на Витьку: «Зазеленишь», и сам ложиться не стал, вытащил из заднего кармана мятую четвертушку газеты, расправил по траве и аккуратно примостился на одно бедро. Витька выждал, пока Фома окончательно устроится, перекатился ему за спину и взвалил ноги тому на плечи.

— Погоди, — протянул он, когда Фома дернулся сбросить, — потом поменяемся.

Игорь, открыв сумку, раздавал желающим полиэтиленовые фляжки.

— Только прополоскать! Слышишь, Валет?

Фома, не оборачиваясь, поднял фляжку над головой, но Витька не шелохнулся, и он передал воду дальше.

— Ну что же, парни, — переступая через ноги, Игорь вошел в центр и заговорил, окидывая взглядом раскинувшихся на траве ребят, — пока все ничего. К нападению особенных претензий у меня нет. Рыжий вообще выше всяких похвал (Витька досадливо поморщился), оттянул на себя двоих и тех делает. Алик... Алик тоже нормально, только голову чаще поднимай, особенно с мячом. В центре похуже. Опаздываешь, Фома. А ты, Костя, поаккуратней — половина передач чужим. А так, повторяю, ничего. Конечно, должны были по крайней мере два им вкатить, ну да замнем для ясности. Будем считать, что примерялись. Они,

кстати, тоже лопухи. Могли и не два засадить, а дважды два. С защитой разговор особый, а первым делом о тебе, вратарь. Чудом же не забили. За каким чертом тебя в толпу понесло?! Ворота бросил и в поле побежал. Хорош, полкоманды...

«Ох, зря это он, — подумал Витька, — не так бы надо».

Он приподнялся, но было уже поздно. Леха вскинулся и понес. Игорь попытался остановить, но тот уже зашелся. Не признавая за собой вины, он честил полевых, не щадя и собственного брата. Те огрызались. Молчали только двое — Рыжий и Арбуз.

У Мишки, пристроившегося за спиной Алика, было одно желание — чтобы его не поминали вовсе. Только бы тихо и спокойно дотянуть до приезда Шпендика, уйти безболезненно и забыть двор как дурной сон. Все, что говорилось и делалось вокруг, его больше не касалось. Там речь могла идти лишь о каком-то Арбузе, глупом, видимо, парне, неизвестно зачем затесавшемся в эту компанию. Возможно, что когда-то он и имел к нему какое-то отношение, но с сегодняшнего дня с этим покончено.

— ...стал столбом и не сдвинешь...

«Кому ты хотел быть своим, дуралей?! Да им наплевать на тебя, какое им дело, кто ты такой, о чем думаешь, кем хочешь стать; им наплевать, что ты уже прочел столько книг, что им вместе взятым хватит на всю жизнь; для них важно одно — достанет ли у тебя сил пнуть тяжелый кожаный шар и бежать следом, когда воздух уже не проходит в легкие, а только жжет горло сухим огнем».

Мишка не осуждал их и не превозносил себя. Они просто были другие. И он был для них другой, такой же странный и чужой. Он ошибся, спустившись во двор, решив, что может переделать себя, стать таким, как другие. А почему — он?! Это же отец привел его к беседке. Нет, он не нуждался в поблажках! Кто мог его заставить? Отец приказал, но он мог упереться. Он знал, что влип сам и сам должен был теперь выпутываться. А кстати, три недели назад могло ли ему прийти в голову ослушаться отца? Ладно, не в этом дело. Надо уйти, и, по возможности, безболезненно, не обращая внимания на придирки, подколки. Надо сдерживать себя, надо быть разумнее...

Витька слишком выдохся, чтобы кричать, но напряженно вслушивался, выбирая момент, чтобы оборвать затянувшуюся свару. Игорь опередил его. Леха смолк на полуслове и ошарашенно уставился на грозно нависающего над ним тренера.

— ...и заткнись! — рявкнув один раз, Игорь тут же понизил голос до нормальной громкости: — Теперь обожди — я дого-

ворю. Выиграть, парни, вы можете и должны. Только играйте дружнее и не передерживайте мяч. Пока вы доберетесь до ворот, они все уже в штрафной. А попробуйте вот как...

Витька слушал и, сам того не замечая, согласно кивал головой. Да, надо оттянуться, встречать их на своей половине, вблизи штрафной, чтобы не провалиться, закрывать подходы к воротам; пусть они теперь потолкаются. А его с Алькой оставить впереди и при первой же возможности отдавать им мяч. Тогда в той штрафной будет еще свободно.

— А Фома с Костей немедленно следом. Придется вам, ребята, побегать, ничего не сделаешь.

Костя закончил прополаскивать горло, качнувшись вперед, выплюнул воду и медленно обтер лицо подолом футболки. А Фома завозмущался: что же это получается — он... они будут ломаться, а этим двум ни за что ни про что курорт устроить, и потом еще шарик в ножки выложить; да так и он хоть сотню поднакидает. Коли играть — так всем вместе.

— Чушь же городишь! — не выдержал Витька.

— Чушь?! — Фома попытался оглянуться и, уткнувшись щекой в грязную подошву, сообразил, что все еще держит Виткины ноги на плечах. — А ну, убери! Ишь барин нашелся! Черная работа ему не по нраву!

Игорь попытался одернуть Фому, но в спор вступило еще несколько человек: он капитан, имеет право. Витька встревожился:

— Да будет вам! Еще не хватало поругаться в игре! Хорошо, я тоже отойду, но кого-то надо оставить. Пусть Алька там торчит.

— Лучше я отойду, а Рыжего в отрыв. Он быстрее.

— Нет уж, — Фома вошел во вкус капитанства, — у тебя сзади надежно, а у Рыжего дыра.

Витька поймал взгляд Игоря и покачал головой. Фома порет чушь, да ему и нет никакого дела, кто где стоит, лишь бы самому давали шарик почаще, и завелся он оттого, что Рыжему достался пряник, а ему кнут. Но нажимать нельзя. Ребята нервничают — они переигрывали и должны были забить, им просто не везло — и только ищут повод повздорить. Плохо еще, что дело сошлось на нем да на Арбузе: тут уж они своего не упустят. Главное сейчас — вывести команду, а там поглядим — игра покажет. И скорей бы на поле. Там все ясно и понятно; пусть Фома пока поизгиляется, а на поле капитан он, и они это видят и обращаются к нему, и все идет по-прежнему, будто и не было никакого Арбуза. Если бы только можно было играть вечно...

Судья позвал на поле. Поначалу поднимались неохотно, подолгу отряхивая и оправляя одежду, потом заторопились.

Белых заметно накачали в перерыве, их тренер и после свистка оставался у бровки, докрикивая последние наставления, пока его не отогнал судья. Они сразу насели на ворота, даже защитники подошли почти вплотную к центральной линии, потянув за собой Алика. Но им слишком не терпелось: после одной-двух передач мяч верхом влетал в штрафную, а там свои, также без разбору, выбивали куда бы подальше. Алька пытался бороться, но караулить одного вчетвером несложно, — ему едва давали коснуться мяча. Витька очутился в дурацком положении: уйдя далеко на свою половину, он не успевал помочь Алику; правым краем «Смена» по-прежнему почти не играла, и торчать здесь столбом мог один Арбуз; в центре же и без него хватало народу. Все они там, и белые, и красные, носились, толкались и лупили по мячу без всякого толку. Белые били штрафной. От «стенки» мяч отскочил Косте, и тот в первый раз поднял голову, прежде чем ударить. С мячом Витька не успел бы оторваться и, не останавливая, с лету перевел его по диагонали, направо, а сам, выстрелив с места, помчался что было духу. Алик ушел от защитников, но, вместо того чтобы срезать напрямую к воротам, по привычке повел мяч вдоль бровки, опять забиваясь в угол. До лицевой он все-таки дотянул и прострелил, да Витька опоздал, прыгнул, когда мяч уже пролетел вторую штангу, и ударить не сумел — промахнулся; неудачно выброшенная при приземлении рука подвернулась, и он вслед за мячом выкатился с поля...

Рыжий не успел вернуться, Прыщ видел, как он встает и отряхивается у тех ворот, а белые были рядом. Валет провалился, и на него вышли сразу двое. Он кинулся к шедшему с мячом, но тот, подпустив его вплотную, отдал мяч влево, а сам проскочил вперед и, загородив собой дорогу, завопил: «Жми! Держу!» Прыщ отпихнул блокировавшего и пустился догонять. Белый, услышав погоню, заспешил и пробил метров с двенадцати. Леха кинулся под удар, но бивший зарыл носок в землю, и мяч, не торопясь, поскакал в угол. В тот самый момент, когда Прыщ догнал его, Леха, вытянувшись по земле, уцепился за мяч. Пробеги он мимо, Леха забрал бы мяч; не успей Леха, он выбил бы мяч в поле; а так — шарик вяло выскользнул из Лехиных рук и аккуратно опустился на ногу набежавшей «десятке»...

Мишка смотрел, как Леха, размахивая руками, наскакивает на Прыща, и втихомолку радовался своей непричастности. У него был порыв кинуться на помощь, когда он увидел Валета, стоявшего на колене с вытянутой в сторону ногой и испуганно огля-

дывавшегося на обошедших его белых, но промедлил, и теперь был этим доволен. Успеть бы он не успел, а только впутался бы понапрасну, и его сейчас костерили бы вместе с Прыщом, а может, и только его — тот все-таки свой.

Второй гол тоже забили не по его вине. Он подобрал мяч после неточной передачи белых и, опасаясь неудачно пробить — упустить мяч за боковую или, того хуже, попасть в нападающих, отдал мяч Прыщу, считая, что тот сумеет распорядиться, а Прыщ зачем-то пытался с ходу переправить еще дальше, Валету, но отдал неточно, и белые, перехватив мяч, расстреляли ворота в упор. На этот раз Леха промолчал. Злобно выбил мяч к центру и, натянув кепочку на глаза, опять стал под перекладину.

— Слушай, — спросил Валет, — а с чего он вдруг тебе отдал? Ты же спиной к полю был, да и прикрывали тебя.

— Спроси у него!

— Нет, правда. Что он — совсем чокнутый?

— А пошел он! — выдавил Прыщ сквозь зубы.

Поставив мяч на центр, Фома оглянулся на Витьку:

— Все, доигрались!

— Подожди ты, — белые стояли рядом, и Витька говорил по возможности спокойнее, — подожди, не паникуй. Бегать надо быстрее — и вкатим. Еще не вечер!

— Чего уж там? Продули — и точка! — Фома небрежно пихнул мяч и, развернувшись, пошел к своим воротам.

Команда разваливалась. Белые, выйдя вперед, откровенно тянули время, неспешно разыгрывая мяч в середине, и атаковали больше правым краем, найдя, наконец, дыру и давая отдохнуть набегавшейся «десятке», а красные и не пытались им препятствовать. Они все сгрудились у ворот и довольствовались тем, что выбивали мяч из штрафной, уже совершенно не заботясь — кому он достанется. Алика Витька потерял из виду, тот преспокойно торчал на месте, заслоненный белыми футболками, а Фома с Костей, которым полагалось связать оба края, засели с остальными в штрафной. Витька пытался уговаривать, но от него отругивались, и каждый кивал на Арбуза — сначала, мол, его уговори, а потом и с нас спрашивай. В конце концов он и сам застрял у середины, изредка срываясь, когда мяч пролетал уж совсем близко.

Игорь встал со скамейки и подошел к бровке.

— Сколько осталось? — крикнул Фома, не услышал ответа и побежал переспрашивать.

Игорь отмахнулся, как от докучливой мухи, и позвал Витьку.

— Что стал, Витя?

— Все стоят. Уж просил, просил...

— И черт с ними! Не уговаривай, не девочки. Сам бегай!

— Надо же командой, а что я один могу?

— Ну, нет у тебя команды! Не было и нет! Но ты-то есть! И на поле стоишь! Значит — играй! Может, и потянутся за тобой. Гол нужен, Рыжий, гол!

Витька пытался возражать, но Игорь, заметив подбегавшего судью, уже отходил и только еще раз крикнул через плечо:

— Никого не жди! Делай все сам!

Во втором тайме Мишке жилось значительно легче. Хотя белые и чаще появлялись в его полосе, но каждый раз из-за спин выныривал Рыжий, встречая нападающих, а Мишке оставалось только подстраховывать; он подбирал мяч и, не медля ни секунды, отдавал уже бежавшему навстречу Прыщу. Тому виднее, что делать дальше. Вот и сейчас Рыжий достал «семерку», и, хотя и не смог обогнать, успел вытолкнуть мяч за боковую. Кто-то из белых пытался остановить и упустил. Рыжий сам решил вбросить и, заведя мяч за голову, стал искать партнеров. Но все были закрыты. Мишка безразлично наблюдал, как Рыжий крутит мяч, уверенный, что он-то его не получит. Прыщ пытался открыться, но его перехватили. Отчаявшись, Рыжий бросил мяч Мишке. Он был бы и рад помочь, но белые находились метрах в пяти, а один уже качнулся в его сторону. Мишка заторопился, намереваясь тотчас же вернуть мяч, встретил его в воздухе и летящим довольно высоко. От подставленного колена мяч снова ушел в аут. Зрители веселились от души. Белые поспешили вбрасывать, а Рыжий подошел к Мишке.

— Слушай, Арбуз! — Не хватило дыхания, и он медленно, прерывисто втянул воздух. — Уходи с поля. Слышишь? Уходи. Ничего тебе не будет, не бойся. Только уйди.

Рыжий, не оглядываясь, сначала не торопясь, шел, волоча ноги по шуршащему гравию, но ударился рядом мяч, и он рванулся к нему, достал и скрылся за белыми футболками.

Мишка не двигался с места. Он был свободен, мог уйти и не дожидаясь конца, сам Рыжий разрешил ему, освободил его от пут, от обязательств, которые он взвалил на себя по неразумию своему. «Ну что же ты, чего ждешь?» — шептал ему тот, изнутри, с которым он уже почти час вел трудный разговор и с кем как будто пришел к согласию. «Не медли, уходи!» Мишка стоял. Он все еще видел Рыжего перед собой — узкая спина, обтянутая побуревшей футболкой, непривычно ссутуленная, длинные, почти черные от грязи ноги, с трудом подхватывавшие тело при каждом шаге... «Уходи...» Он представил, что выходит с поля, протискивается, прижимая локти, меж зрителей, дальше

по траве, обходя скамейки, за ворота белых, оттуда начинается дорожка, мимо туалетов, мимо кортов и через два поворота упрется в серую стену, за углом две ступеньки вниз, дверь и прохладная тишина раздевалки; он быстро переоденется, поднявшись наверх, обогнет здание, поставив его между собой и полем, выйдет к автобусу и, усевшись к окошку, достанет книгу из сумки... «Ну же!» Мишка переступил на месте, проверяя, может ли он двигаться. Что-то было неладно, не так, как должно быть... «Уходи, уходи, пожалуйста! Подумай — ты уйдешь с поля, от этой пылищи на траву, протиснешься сквозь толпу и уже не увидишь, как скалятся лица при каждом твоем движении, там будут только спины...»

И на этот раз Витьке не удалось прорваться. Слишком рано он начинал, и белые чуть ли не всей командой, оставив и Алика, и центр, выстраивались на дороге. Он не торопился подниматься, не потому, что надеялся разжалобить судью: был чистый подкат, он сам виноват — не успел перепрыгнуть, цепляясь за уже потерянный мяч, а просто слишком хорошо было так лежать — навзничь, уставившись в серое, с голубыми проплешинами небо. Зашаркал, притормаживая, судья, и Витька, закашлявшись, сел, разгоняя ладонями пыль.

— Все в порядке? — Чтобы заглянуть ему в лицо, судье пришлось сложиться пополам.

— Нормально, — он медленно поднялся. Все красные футболки сгрудились на дальней половине, и Алик подтянулся поближе к своим, а отсюда до чужих ворот, казалось, рукой подать. Белые, наконец, разобрались, кому вбрасывать, и Витька задвигался, надеясь угадать и перехватить передачу...

Опять было суматошно в штрафной. Мишка растерянно крутил головой, не успевая разобраться в полетах мяча и перемещениях игроков. Он не ушел, напротив — подвинулся в штрафную, залез на самый пятачок перед воротами. Он еще не решился вступить в игру, боясь помешать, но общее движение уже увлекало его.

Обыграв Прыща, нападающий выскочил на свободное место, а Мишка не сообразил вовремя подстраховать и теперь уже надо было идти не на мяч, а на игрока, и Леха тут же бросался в ноги — можно было задеть... Мишка промедлил. Белый убрал мяч под себя, обогнул шлепнувшегося впустую вратаря и следующим шагом уже вкатывался в ворота. Внезапно появившийся Рыжий снял мяч у него с ноги. Мишка облегченно вздохнул.

— Что, видал?! — торжествующе бросил он в спину «десятки», влетевшего по инерции в сетку. Тот развернулся.

— Повтори! — Он был в ярости, упустив верный гол, и мог затеять драку тут же на поле.

Мишка смолк и опасливо отодвинулся. Из своих рядом был только Леха, но и он старательно глядел в сторону. Решив не связываться, Мишка побежал на место...

На Валета выходили сразу двое, и Мишка, как учили, побежал по краю и хлопнул в ладоши, предлагаясь. Валет видел и слышал, но продолжал идти сам. Мяч у него выбили, Мишка успел первым, но остановился, не зная, кому же отдать. Впереди был только Рыжий, но тот убегал, оглядываясь и маня за собой. «Сам!» — проорали сзади. На Мишку никто не выходил, и он вел свободно, торопясь к Рыжему, уже забравшемуся за спины белых. Подойдя достаточно близко, Мишка попытался перебросить мяч через головы, но защитники перехватили пас и повели в поле.

— Ах ты! — Мишка огорченно всплеснул руками.

— Ничего! Получится! — Рыжий показал ему возвращаться, а сам остался.

«Смена» атаковала. Мишку обошли, но он не сдавался, бежал рядом, отжимая белого к краю и не давая ударить. Улучив момент, ткнул носком и выбил мяч в аут...

Витька почувствовал себя свободнее. Арбуз начал двигаться и, хотя он больше суетился, чем делал, все же стало полегче. Остальные были безнадежны. Забить хотя бы один гол, только один, чтобы встряхнулись, поверили, что можно еще играть и забивать. Сколько оставалось до конца, Витька не знал и знать не желал. Арбуз перешел середину поля, отдал мяч; Витька прорвался мимо «шестерки», дальше еще двое, а из своих — никого. Нет, Арбуз не ушел и смещался к центру, выдвигаясь на свободное место. Витька перекинул ему мяч и кинулся в штрафную. Арбуз отдал точно под ногу, и Витька ударил, но попал во вратаря. Тот не удержал, мяч отлетел — и хоть бы один пришел добить!

— Ну, что же ты?! — Мишка не уходил, не веря своим глазам.

— Извини, замарал. Следующий войдет.

Они добежали до середины и остановились. Белые, не спеша, поперечными передачами, уводили игру вправо, и можно было пока отдышаться. Витька с любопытством разглядывал соседа. Он и сам с трудом заглатывал воздух, но Арбуз — тот весь ходил ходуном. А все же бегает!

— А что ж ты не ушел? Ведь, ей-богу, ничего бы не было. И так продуваем, и так...

Мишка смущенно передернул плечами.

— Да, знаешь... тебя пожалел...

— Меня? Ты?! — Рыжие брови полезли вверх.

— Не то чтобы пожалел, — пустился выкручиваться Мишка, — а как-то неудобно стало. Ты вот усталый, а бегаешь. А я что — рыжий?

Витька уже высматривал мяч и только слабо усмехнулся шутке.

— Ну, спасибо. Только смотри — вломят тебе после игры. Ушел бы — так и черт с тобой, а коли остался...

Нет, было что-то в этом Арбузе, не совсем уж он водянистый...

Сейчас ему удалось обойти защиту, и Витька, короткими толчками пробрасывая мяч вперед, яростно лупил землю, торопясь в штрафную. Там было лишь двое белых, и он, обыграв одного, примеривался уже ко второму, как вдруг заметил справа красное пятно. Это был Фома, подкравшийся незаметно и совершенно свободно стоявший против ворот. Витька мог ударить и сам, он имел на это полное право, протащив мяч через полполя, он заслужил этот гол, но, сворачивая влево, уводя за собой и защитника, и вратаря, он неожиданно для белых, как, впрочем, и для самого себя, отдал мяч вправо. Фому никто не прикрывал, всех оттянул на себя Рыжий, и он, спокойно обработав мяч, пробил в нижний угол. И, не обернувшись на ворота, Витька бросился к другу.

— А?! Говорил же я! Играть — и сделаем!

— Ладно, чего там, — бурчал Фома, высвобождаясь из Витькиных рук, — глянь-ка лучше, как закатил. Впритирочку.

— Молоток! — Витька пихнул Фому в плечо и мельком оглянулся. Белые шеренгой стояли на линии ворот, а вратарь, присев на корточки, копошился в углу.

— Точно, неберучка!

Рядом суетился сияющий Арбуз, но сейчас было не до него. Мотнув головой, Витька послал его на место, а сам, обхватив Фому за плечи, побежал к центру, навстречу остальным...

Игорь опять был у бровки и, сложив ладони рупором, пытался докричаться до игроков.

— Чего он? — крикнул Костя.

Фома согнул ухо и прислушался. Перекликались на поле, кричали, подбадривая, зрители, да и ветер дул к Игорю. Подбежал Рыжий.

— Семь минут осталось. Надо нажать.

— Чичас! — дурашливо вытянулся Фома. — Нажмем и дожмем. Один жмых оставим.

Витька счастливо улыбнулся. Все шло отлично. Теперь уже

белые сидели у своих ворот и редко вдвоем-втроем контратаковали. Он сомневался — удастся ли им сравнять счет, слишком уж мощный заслон строила «Смена» в штрафной, но не это было для него главным, а то, что они снова атаковали всей командой, и его слушали, и верили ему, как месяц назад, и сам он, отбросив все счеты, рвался вперед из последних сил, ведя за собой друзей, а чей верх — узнаем после свистка...

«Десятый» был много быстрее, но Мишка настойчиво тянулся следом. Прыщ вышел встретить, и тут же бросился Леха. Столкнувшись, они упали втроем, а отлетевший мяч тихонько катился в ворота. Мишка видел, что не успеет, но все-таки наддал, отчаянно топоча, пронесся мимо кучи-малы, мелкие камешки вылетали из-под кед, как из рогатки, но все равно опоздал. Он едва смог дотянуться до мяча, и тот, вместо того чтобы вкатиться по центру, забился в угол.

— Эх, миллиметра не хватило! — видя расстроенное лицо Лехи, Мишка счел приличным сокрушаться.

— Миллиметра?! Трогать не надо было, вот что!

— Ты не прав! — Мишка вскинул голову, он знал, что сделал даже больше того, что был должен...

Витька стал на центр и оглянулся. Фома подходил нога за ногу, остальные еще только разбредались из штрафной.

— Давай шевелись!

— Чего тебе не терпится? Трех мало?!

Витька, не отвечая, катнул мяч по земле, и Фома все же пошел вперед. Он удачно обыграл первого, сделал рывок, но подбежавший сбоку белый, не успев к мячу, зацепил его за ногу. Фома перекувырнулся и уселся на земле, мотая головой. Сбивший его парень подбежал с извинениями. Фома принял руку, подтянулся на ноги, покосился и... крутанувшись на носке, дал тому пинка в зад. Мгновенно рядом оказался судья: «С поля!» Витька бросился упрашивать, но бесполезно. Фома, нагнув голову и затравленно озираясь, уходил за ворота под одобрительные возгласы зрителей...

— 9 —

Они одевались, стараясь не глядеть друг на друга, неприятно вздрагивая, если случалось коснуться соседа; рядом возбужденно галдели белые, а они молча и скоро срывали с себя влажные, в черных разводах футболки, запихивали в сумки трусы вперемешку с обувью, как самые уже ненужные вещи. Один Фома болтал непрестанно, ругал судью и соперников, шуршал газетами, тщательно упаковывал форму. Мишка, хотя и молчавший вместе со всеми, не торопился переодеваться. Он

сидел, развалившись, широко раздвинув вытянутые ноги, и без конца переживал кончившуюся игру. Он не стыдился вспоминать первый тайм и начало второго, напротив, это придавало больший вес тому, что следовало дальше. Он имел полное право быть довольным собой и время от времени поглядывал на Витьку, приглашая порадоваться вместе, но тот низко согнулся, почти положил голову на колени, отдыхая, перед тем как перейти ко второму кеду.

Пришла уборщица, заругалась, поторапливая, и Мишка с сожалением потащил футболку через голову.

Выскакивая из раздевалки по одному, они все же не расходились, ждали Игоря, разговаривавшего с судьей и еще одним неизвестно откуда взявшимся мужчиной в пиджаке и при галстуке. Он был невысок, одного роста с Игорем и, видимо, чтобы лучше слышать, судья изгибался вопросительным знаком. Разговор затянулся, но вот неизвестный что-то резко сказал Игорю и пошел прочь. Игорь сунулся было за ним, но передумал и подошел к ребятам.

— Все! — сказал он, жадно затягиваясь выпрошенной сигаретой.— Все, доигрались! Тебя дисквалифицировали на две игры, Фома, а запасных у вас нет, пижоны. И вдесятером вас на поле никто не выпустит, хотя бы вы и понесли всех, кроме «Смены». А полным составом и тех бы сделали, если бы себя не так жалели. Все! Бывайте здоровы, занимайтесь физкультурой! А ты, Рыжий, приходи к нам. Мы хотим на город все команды выставить, будешь за детскую играть. Я с отцом твоим договорюсь, он тебя приведет. Придешь?

Ребята смотрели кто куда, но Витька чувствовал, как они ждут его ответа. Только-только налаженные отношения, те ниточки, протянувшиеся от него к ребятам за игру, опять рвались и на этот раз...

— Нет, не приду. Не приду! — заорал он, напрягаясь так, что жилы вздулись на шее. — На хрен мне все это нужно! Пошли!

Все тотчас же тронулись за ним.

— Правильно! — Фома догнал его и пошел рядом. — И не жалей. Завтра в «сетке» постукаем, а потом — за яблоками.

Он на ходу вытащил баранку, разломил надвое и большую часть протянул Витьке. Тот взял машинально и стал часто-часто откусывать, словно спешил уничтожить вынужденно принятый дар. Он не замечал, куда идет, сворачивал на первую попавшуюся дорожку, а ребята, ни о чем не спрашивая, послушно следовали за ним. Он снова был вожаком. Правда, оставалось еще одно...

Мишка шел за Рыжим, терпеливо дожидаясь, пока на него обратят внимание. Он еще не устал смаковать собственную победу, и так его распирало, что, и не пытаясь подделаться под общий тон, он улыбался во весь рот, размахивал сумкой и даже попытался насвистывать.

— Заткнись! — обернулся Фома. — И без тебя тошно! И чо лыбишься, чо лыбишься-то?! — Он только и дожидался удобного случая придраться. — И чо ты таскаешься за нами?! Прилипнул как смола и не отдерешь!

Все остановились и следили за стычкой, пока еще молча.

— Все из-за тебя, жирный! Играть не тянешь, так еще и по своим воротам лупишь! А ну, уматывай, пока цел!

Мишка не уходил, неотрывно смотрел мимо замахивающегося уже Фомы на Витьку. Но тот стоял, отвернувшись, никого не видя, ничего не желая слышать.

— Пшел! — кулак Фомы пришелся Мишке по скуле.

Удар был не сильный, скорее лишь вызов на драку, но Мишка взвизгнул и отскочил, как пришибленная собачонка, вместо хвоста он прижимал к себе расстегнувшуюся сумку. Фома, оскалившись, ждал, но у Мишки и в мыслях не было давать сдачи. Не решаясь идти назад, мимо выжидающих ребят, он, дав круг, обежал Фому по газону и заторопился вперед. Кто-то засвистел, а Прыщ подобрал голыш и кинул вслед, не сильно и не целясь, желая только попугать, но попал в спину. Мишка снова взвизгнул и пошел боком, пытаясь прикрыться сумкой. Еще несколько камней стукнулось рядом.

— Э, мазилы! — Фома сошел с дорожки и, ухватившись за траву, выдрал здоровенный кусок дерна. — Счас я как вмажу!

Витька очнулся.

— Брось, Фома, не трогай его. Пусть уйдет спокойно.

— Фига с два!

— Слышишь, что говорю?!

— Опять за него заступаешься? Забыл, из-за кого тебя?

— Брось! — Витька попытался дотянуться и выбить дерн из рук, но Фома не дался, отступил на шаг и отмахнулся. Он попал тыльной стороной запястья по губам, и Витька в ярости ткнул Фому кулаком в жующий рот. Он рассек ему кожу, и кровь закапала на подбородок, замарывая кусочки баранки, размазанные ударом.

— Гад! — удивленно сказал Фома. — Гад! Друга... из-за кого?!

Он кинулся на Витьку, тот ударил его в поддыхало и, когда Фома согнулся, уже совершенно не владея собой, схватил за волосы, несколько раз ударил снизу и толчком опрокинул на спину.

Подняться Фома не решился и заголосил лежа:

— Сволочь! Своих! Бей его!

Витька успел развернуться и заработал кулаками, больше стараясь не ударить, а не подпустить к себе. Кто-то прыгнул ему на спину, он свалился, но и лежа продолжал отбиваться, хватая за штаны, размахивая наобум ногами, в то время как его усердно пинали и молотили. Ему удалось перевернуться на живот и даже приподняться, но тут уши заложило от пронзительного визга и что-то тяжелое шлепнулось на голову, вдавив лицо в траву. Он почти отключился и смутно, сквозь звон в ушах, слышал затухающий многоногий топот. Его тронули за плечо, и, вывернув голову, Витька увидел склонившегося к нему незнакомого мужчину.

— Оклемался? Ну и лады. А эти смылись. Хотел хоть одного задержать, да куда там. Ничего, пацан, ты их поодиночке подлови и выдай. А лучше дружка с собой прихвати, вдвоем оно вернее.

Витька сел и обалдело уставился на уходившего мужика. Какого еще дружка?! Он обернулся и увидел... Арбуза.

Тот ползал на карачках, шаря руками в траве; ему разодрали рубашку до пояса и изрядно разделали физиономию. То и дело втягивая воздух, он постанывал от боли. Чтобы лучше видеть, Витька привстал на колени, вытянулся и как завороженный следил за его движениями — рехнулся он, что ли? Но тут Арбуз что-то схватил с земли и уселся, прилаживая на нос найденные очки. Они оба молча смотрели друг на друга, медленно приходя в себя после случившегося. Арбузу явно было не по себе. Он морщился и мигал, наконец снял очки, осмотрев, ткнул пальцем в одно стекло, в другое... Сквозь правое палец прошел, не встретив препятствия. Вид оправы, беспомощно болтающейся вокруг пальца, и задумчиво уставившегося на нее Арбуза был настолько уморителен, что Витька неожиданно рассмеялся — сначала беззвучно, затем все громче и громче, едва удерживаясь на коленях. Глядя на него, захихикал и Мишка. Ему было больно раскрывать рот, и он старался складывать губы дудочкой, выпуская что-то вроде «хю-хю-хю», но, заразившись Витькиным искренним весельем, перестал сдерживаться и опрокинулся навзничь.

Они катались по траве, то фыркали, то визжали, и, обессилев, улеглись на спину, голова к голове, смахивая с глаз выступившие слезы, и долго лежали так, заслоняясь ладонью от солнца и втихомолку радуясь каждый своему.

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА

* * *

Как быстро женщины прощают,
себя, а не его виня,
ни от кого не защищаясь,
не зарекаясь, не кляня.
И я, предчувствуя потерю,
но не смиряя блеска глаз,
в последний раз в любовь поверю
и обманусь в последний раз.

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА

НА ПЯТОЙ РЫБТОЧКЕ

На рыбточке зимовали рыбаки и радист. У берега реки стояли домики, а в отдалении палатка. В одном домике помещалась рация и жили радист дядя Леша и Ефим, в другом — молодые парни из Игарки — Василий и Митька. В третьем была баня.

Хотя Василий с Митькой были одногодками, вместе учились, вместе за одной партой сидели, Митька уступал Василию во всем. Прожив почти год на рыбточке, Митька до сих пор не научился управляться с моторкой, стрелять дичь, даже печь он не мог растопить без солярки. Смешно, конечно, но не горела она у него. Хлеб не умел выпекать, материться не умел тоже. Играл он, правда, на аккордеоне, но аккордеон должен был прийти с баржей лишь в середине июля, ко Дню рыбака, а может, и позже. И рост у него был только что средний, а лицо ребяческое, круглое, и борода не росла, хоть тресни.

А Василий вышел всем: и фигурой, и лицом, медным и худым. Мотор у него заводился всегда и сразу, без связки гусей с охоты он не возвращался, сети ставил быстро и умело и не жаловался, что руки ломит, когда выбирал из сетей рыбу в ледяной воде по часу кряду. И девушки на него внимание обращали.

За Васильевой спиной Митьке было хорошо. Он мог всю работу делать вполсилы. Это получалось как-то само собой. И теперь, когда Ефим сломал руку, Василий работал за троих, работал с какой-то лихостью, без натуги. При этом он не только не презирал Митьку, но как будто даже каждая Митькина слабость

или проступок приближали Василия к нему. Наверно, и дружили они потому, что были слишком разными.

Полтора года назад, когда умер отец Василия, мать его затосковала, места себе не находила и собралась поварихой в далекий северный порт: десяток домов и маленький аэродром — сюда свозили с рыбточек рыбу и переправляли на материк. За матерью уехал и Василий, а за Василием — Митька. Не то что Митьке очень хотелось этого, скорее нет, у него и сил на рыбацкую работу не было, но Митька лишними вопросами не задавался. Раз едет Василий — значит, и он. Что ему делать в Игарке без Василия?

Порт лежал в сорока километрах от точки. Зимой сюда добирались на собаках, летом — по реке. Василий часто ездил в порт к матери и за почтой, а в основном чтобы посмотреть на красавицу почтальоншу с открытыми до локтя смета́нными руками.

А почтальонша была замужняя, лет на десять старше Василия и, несмотря на то что беспрерывно болтала и смеялась с приходящими на почту мужчинами, превыше всего ставила свою незапятнанную репутацию. Поэтому Василий, постояв, повздыхав и побалагурив у ее стола, отправлялся к матери пить чай с вареньем. Из порта он привозил рыбакам почту, а вечером читал Митьке вслух неизменное письмо от Тамарки, семнадцатилетней игарской соседки, которую всерьез, конечно, не принимал, но аккуратно отвечал на каждое ее второе письмо. Митьку эти письма очень трогали, как и Тамаркина детская влюбленность, верность и глупость, тем более что сам он писем от девушек никогда не получал.

Накануне выдался удивительно яркий и теплый день. Побежали ручьи в снежных берегах, а тундра покрылась ярко-синими лужами и озерцами. Небо менялось поминутно. То солнечные лучи пробивали легчайшую рябь и дробно рассыпались, то накатывали облака, будто снежные горы, потом вдруг все снималось с места, мрачнело и плыло.

Далекие горы и река были многоцветны: от густо-синего до нежно-желтого. А цвета лежали такими странными напластованиями, что казалось — вдали, на том берегу, стоят леса, а по кромке тянется железная дорога, и что угодно представлялось в такие вот дни, чего нет и за много километров к югу. И вызывало это не тоску, а хорошую печаль по родным местам. Ведь недаром в очистившейся от снега, коричневой покатой тундре виделись дяде Леше вспаханные поля Орловщины.

Рыбаки ждали начала ледохода и уже два дня не ходили на сети. Середину реки все еще сковывал лед, но забереги стали очень широки, и по ним плыли оторвавшиеся льдины. Какая-

нибудь шальная, если не увернешься, и помнет, и опрокинет. В ожидании ледохода всегда очень тревожно. Вот-вот покатит ровный, неутихающий шум, попрет лед, выворачивая на берег глыбы по нескольку метров.

Проснувшись в то утро, Митька немного полежал, прислушиваясь, не началось ли. Стояла тишина. Сквозь сон он слышал, как Ефим с Василием говорили, что ночью была подвижка и лед скоро тронется. Митька приоткрыл глаз, увидел пустую кровать Василия и вспомнил, что тот с утра собирался на охоту. Стрелки будильника показывали десять.

Митька почти никогда не просыпался сам, а мог он спать по двенадцать — четырнадцать часов в сутки. Он бы душу прозакладывал за этот утренний сон, детски сладостный, безмятежный и в то же время напоенный какими-то отзвуками греховности, которые он не мог, пробудившись, ясно и полно воссоздать.

Там, в полусне, будто бы ходили рядом женщины, их платья шелестели, как листья, и иногда ему даже удавалось приблизиться к ним, дотянуться, обнять за талию и уловить дыхание мягкого тела под одеждой, вздрагивающую спину, иногда он приникал к их груди своей круглой пылающей щекой и замирал. Когда же Митька просыпался и переводил взгляд с одного окошка на другое, его неотступно преследовала мысль, что ему изо дня в день показывают одну и ту же черно-белую ленту — река, небо, яры, тундра, домики и палатка. И все в нем восставало.

Он и кинофильмы любил, в основном, цветные, и скисал, если фильм не был цветным. А здесь, после полярной зимы, когда круглые сутки стояла темень, наступили белые дни и белые ночи. А весна совсем не спешила порадовать красками. Хотя иногда блеснет день, или половина дня, или ночь — такая, как вчера.

Митька не знал, чего он хотел. Может быть, даже пальм, которых никогда не видел... Пальмы, яркие цветы и женщины в платьях с пестрым рисунком.

Он еще полежал, потянулся, пытаясь вернуть обрывки растаявшего сна, а когда понял, что дремота ушла окончательно, оделся и приоткрыл дверь.

На улице снова холодно и ветрено. Вчерашние краски слиняли. Митька сел на пороге и закурил. Отсыревшая беломорина совсем не тянулась и поминутно затухала. Он попробовал закурить вторую, глядя на грязную вспухшую реку и радуясь, что еще с недельку для него будет лафа. Потом в животе что-то потянуло и отпустило, и еще раз потянуло. И Митька тотчас вспомнил вчерашний Ефимов пирог с рыбой и скосил глаз на соседнюю крышу. Дымок над ней не шел. Печка не топилась. Он снова перевел было взгляд на реку, но тут что-то привлекло его внима-

ние к Ефимову дому. Митька повернулся и увидел, как радист в домашних тапочках сломя голову бежит от дома к бане. «Что-то дядя Леша какой спорый стал, — подумал Митька, сплюнул и прибавил свое любимое ругательство: — Ангидрид твою дивизию!»

Потом из бани выскочил Ефим с забинтованной рукой на перевязи и побежал к дому, а оттуда опять зачем-то в баню. Почти сразу же они появились, уже вдвоем, и поплелись обратно.

У Митьки выпала из рук папироса. Он поднялся и тоже пошел к дому, обессиленный тревогой и странной уверенностью — что-то произошло. Когда же открыл дверь, то почувствовал беду сразу, хотя, казалось, ничто не выдавало ее.

Дядя Леша сидел напротив окна, Ефим на кровати, и оба молчали.

— Что случилось? — спросил Митька и не узнал своего голоса.

Ему не ответили. Дядя Леша смотрел в окно, словно и не слышал. А Митька не мог найти в себе силы спросить еще раз. Тогда Ефим сказал:

— Ружье заряжал Василий, патрон разорвало. Вот и все. — Потом, помолчав, добавил: — Поди еще случай такой поищи, руку бы разнесло, живот, но чтобы так...

«Как же это?» — хотел было спросить Митька, но слова не получились, губы некрасиво шлепнули и обвисли.

— Капсюль в гильзу молотком забивал, капсюль! Ты бы не стал забивать молотком капсюль? А, ты вообще...

Он лег на кровать, лицом к стене, положив перед собой больную руку. Дядя Леша продолжал сидеть у окна, смотрел на вылезший из-под снега лысый грязный косогор и будто не видел его, потом сказал:

— Чего стал. Сходи к нему. В бане он.

Митька повернулся и вышел. У бани постоял. Потянул ручку двери и замер на пороге. Он все еще не верил. Он верил и не верил и про себя, как заклинание, повторял: «Неправда, неправда, не может быть, твою дивизию, не может быть...»

Василий лежал в сенях на лавке, сапогами к выходу. С порога не было видно его лица, и Митька прошел вглубь, оставив за собой настежь открытую дверь. Видно, патрон разорвался у Василия в руке, и головка гильзы попала в живот. Рука свисала со скамейки, как кровавый лоскут, но лицо было совершенно чисто, может быть слишком желто, но совсем как при жизни.

И Митька сморщился, щеки его запрыгали, и он заплакал, а так как плакал в жизни своей считанные разы и плакать приучен не был, получилось это так страшно, что он сам себя напу-

гался. Дернулся, споткнулся об ящик с углем и сел на него. Потом он начал стонать, и стон его был жалок и похож на нытье.

Митька плакал над Василием, и над собой, и над матерью Василия — Акимовной, и над Тамаркой, и Ефимом, и дядей Лешей, и почтальоншей из порта.

Наконец он вышел и прикрыл за собой дверь. Добрел до дома, сел на табурет посреди комнаты. До сих пор у Василия все всегда получалось, и что же это, однажды не получилось, и такая расплата?

Ему казалось, что в бедной его голове, ломая перья, бьется какая-то большая птица вроде канюка, и вся она — одна его мысль: «А как же я? А как же я?» Потом он подумал, что рыбакам было бы, наверно, легче, если бы несчастье случилось с ним, а не с Василием, тем более теперь, когда у Ефима сломана рука и вот-вот пойдет работа. Его внезапно кольнуло что-то похожее на вину и потонуло в смятении.

Дядя Леша достал ему папиросу, Митька взял ее и долго крутил в пальцах, потом сказал:

— Я в порт поеду, за Акимовной.

— Сопляк, — зло отозвался Ефим с кровати. — Сейчас нельзя, лед может тронуться. — Он перебросил ноги через край кровати и сел, держа перед собой руку, как грудного младенца. — Леша радиограмму дал. Надо ждать врача и милицию. Раньше недели не будут, а может, и через две.

— Я поеду.

— Не поедешь. Второго трупа нам не хватало?

— Я поеду! — закричал Митька и завыл.

— Дерьмо собачье, — сказал Ефим.

— Мне нужно ехать, для себя нужно. А на тебя я плюю, понял? Моторку не дашь, пешком по тундре пойду и где-нибудь завалюсь в ручье, а уж в Оленьем-то завалюсь точно. Гад ты!

— Ладно, — неожиданно согласился Ефим. — Я бы сам поехал, если бы не рука. Мы уж тут с Лешей говорили. «Вихрь» не бери, опрокинет на такой волне.

Позже он вышел, помог Митьке завести мотор и принес брезентовый плащ для Акимовны.

— Папиросы дать? Курить, наверно, хочешь?

— Не хочу.

— Папиросы возьми.

Он долго смотрел вслед удаляющейся лодке. Моторку кидало из стороны в сторону, и волны размеренно окатывали Митьку со спины. Мотор шумел, ветер выл, и в этом буйстве Митьке стало полегче. Он шел по берегу и слышал легкий звон, когда волна накатывала на подточенный по краям лед. Дальний берег был

полог, а ближний выстраивался коричневыми рядами яров, покрытых сползающими снежниками.

Митька совсем не думал, что мотор может заглохнуть, не ощущал времени и не мог бы сказать, сколько проехал. Он даже не заметил, как проскочил Олений ручей, верный указатель половины пути от точки до порта, хотя сосредоточенно разглядывал уходящие берега. А берега пошли совсем другие, разрушенные, повисшие мягкими лоскутьями и ломтями дерновины. Они были похожи на доисторических ящеров всех мастей, поросших шерстью прошлогодней травы. Потом склоны стали более пологи, а потом совсем пологи и песчаны. Впереди показался порт.

Митька причалил, вылез на берег и, качаясь, побрел к домам. На дверях столовой висела киноафиша «Акваланги на дне» и «Золотой теленок». Акимовны в столовой не оказалось, и Митька отправился к ней в дом.

Вошел не стучась и стал на пороге. Акимовна в длинной юбке и серо-желтой майке мыла пол. На сильной шее у нее болтался алюминиевый крестик, который мешал ей, поэтому она все время пыталась поймать тесемку ртом и остановить качание. Акимовна не сразу заметила Митьку, а когда заметила, распрямилась и сказала:

— Один, что ли? Ну, погуляй пока, сейчас освобожусь.

Митька вышел и прислонился к стене в коридоре. Акимовна, не торопясь, продолжала сильными, размеренными движениями сгонять воду к дверям. Митька слышал энергичное бульканье в ведре и всхлипы тряпки. В горле у него перехватило.

— Что это тебя занесло? — подала голос Акимовна. После продолжительного молчания она снова спросила: — Я говорю, время для поездки не мог получше найти?

— Я за почтой, — ответил Митька.

— Все не по-людски, — услышал он из-за двери. — Ну и сходи покамест за почтой, раз за почтой.

Митька послушно пошел на почту. Почтальонша читала роман, разложив на столе голые до локтя сметанные руки.

— А что же Василий не приехал? — спросила она, увидев Митьку.

— Не может он.

— Ну а что у вас слышно? — Она нагнулась, чтобы открыть ящик стола и посмотреть почту.

— Да ничего, так, — сказал Митька.

Он видел сзади ее шею с ложбинкой посередине, а за оттопырившимся воротником — теплую покатость спины. Рука его потянулась и дотронулась до шелковой ложбинки у самого затылка. Почтальонша резко подняла голову и встала.

— Ты что же это? — спросила она грозно.
— Я? Ничего... Я ничего не хотел...
— Бери и выкатывайся!
Не смея взглянуть на нее, он взял письмо и вышел.
А почтальонша смеялась. Сначала тихо, потом громче, до изнеможения. И так это развеселило ее, так позабавило, что она посмеивалась даже вечером, дома, и настроение у нее было отличное.
А Митька пришел к Акимовне и встал в дверях, не раздеваясь, с письмом в руках. Акимовна уже успела одеться в байковую лыжную куртку. Пол был вымыт. На столе стояли кружки, а на плитке закипал чай.
— Кому письмо?
Митька посмотрел.
— Василию. От Тамарки.
Он опустил письмо за ворот рубашки, оно скользнуло по груди, успокоилось на животе, возле ремня, и там пригрелось.
— Ну, как вы там? — спросила Акимовна.
— Ничего, так.
Акимовна налила чай и стала резать хлеб. Потом она полезла в буфет за вареньем и уронила жестяную коробочку, из которой высыпались булавки, кнопки, пуговицы. Тогда они вдвоем стали ползать по полу и собирать их. Кровь у Митьки прилила к голове, ему стало жарко и нехорошо.
— Ну, садись, Митька, — наконец сказала Акимовна. — И тулуп сними, не в распивочную пришел. Смотреть противно.
Митька опустился на стул, потом встал и выдавил из себя:
— Акимовна, я зачем приехал-то... Васька убился...
И вышел. И не видел уже, как Акимовна села, будто переломилась сразу в двух местах, под грудью и под животом.
Он шел по песчаной территории порта, обдуваемой со всех сторон ветром, выметенной и высушенной, обесснеженной и неуютной. Потом сел в лодку и стал ждать. Минут через двадцать увидел, как по берегу движется грузное тело Акимовны в длиннополом пальто и коричневом платке, вылез на берег, подождал, пока она забралась, и оттолкнул лодку. Передал ей плащ.
Обратно шли по течению. И вначале Митьку одолевали страхи, что заглохнет мотор или лодка наскочит на берег, тем более что упал туман. Потом его сморило окончательно и он уже ни о чем не думал. Акимовна, молча, не шевелясь, сидела на носу лодки. Иногда в шуме мотора, ветра, волн ему слышался плач или стон какой-то. Лицо Акимовны в тумане висело широким белым блином, то надвигающимся, то удаляющимся от него. И каждый раз, как оно приближалось, Митька старался взгля-

деться в него, понимал, что ошибается — не плачет Акимовна, не стонет, и снова сомневался.

Ефим и дядя Леша вышли на звук мотора и увели Акимовну в дом. А Митька остался на берегу один. Детская бессильная обида окатила его. Он постоял, словно бы ожидая, что из домика выйдут и заберут его. Потом пошел к себе и лег на кровать. Скоро появился Ефим и сказал:

— Акимовна тут ляжет, а ты иди в палатку.

Митька забрал свою постель и пошел в палатку, где казалось холоднее, чем на улице. В палатке были две кровати, стол и печурка. Митька стоял посреди палатки. Он был ко всему глух. Но даже сквозь эту глухоту пробивались горчайшее одиночество и затерянность его в этом мире, в этой дикой нескончаемой тундре, оторванность от тех троих, что сидели сейчас в домике, и от того, лежащего в бане на лавке. Конечно, он мог бы пойти в дом, но не пошел, а взял перочинный нож и привычными движениями настрогал лучин, положил в печку и попробовал поджечь. Лучинки загорались и затухали. Тогда он плеснул в печку солярки и поджег, потом заложил уголь. Палатка сразу нагрелась. Он начал раздеваться, машинально прислушиваясь, не пошел ли лед. Из-под рубашки выпало письмо. Митька поднял его и надорвал конверт.

Тамарка, как всегда, писала глупо, но гладко. Сначала приветы от знакомых и ему привет, Мите.

«А теперь я хочу сказать, — писала Тамарка, — о Наде Никоновой, про которую ты спрашиваешь в последнем письме. Надя вышла замуж за Сеньку Гусакова в январе месяце, двенадцатого числа. На свадьбе я, конечно, не гуляла. Может быть, мне и не стоит лезть со своими советами, только мне кажется по собственному опыту, что ее нужно просто забыть. Может, тебе это и больно, но лучше сделать это сейчас, потом будет еще тяжелее. А время все сотрет, все неприятности, все удары, время — лучший излечитель. Я недавно прочла книгу «Тропою грома». О! Какая там любовь! Но хороша она, когда взаимна. Мне очень понравилось там выражение: «Почему люди только в одном невольны — в своей любви?» Но я думаю, что можно все свои чувства побороть и потушить. Ужасно будет неприятно, но это только сначала. В жизни ведь немало делаешь ошибок. На то она и жизнь. . .» А дальше опять шли приветы.

Митька сел на кровать и стал писать Тамарке письмо.

«Тамара», — написал он и перечеркнул, очень сухо получилось. «Дорогая Тамара!» Впрочем, какая же она ему дорогая, а уж он ей, во всяком случае, совсем не дорогой. «Тамарочка!» — написал он, но она не Тамарочка и не Тамара даже, она Тамарка

Березина. «Уважаемая Тамарка! — снова начал он. — Пишет тебе Дмитрий Афанасьев. Василию больше не пиши. Он умер».

Тут Митька понял, что все равно ему не написать, как надо, и сунул оба письма, Тамаркино и свое, неоконченное, в печку. Через некоторое время по тенту над палаткой закрапал дождь. «Уеду, — решил Митька. — К осени уеду домой. Куплю аккордеон. Женюсь. Обязательно уеду. Здесь не выдержу».

Проснулся Митька от лая собак и какого-то шума и в первую минуту не вспомнил вчерашнего, пока не окликнул Ефим:

— Вставай, Митька, вертолет пришел с Диксона. Иди попрощайся с Василием.

Митька выполз. День солнечный и яркий, лед стоит. Невдалеке от домов, у красного пузатого вертолета, разговаривают дядя Леша и трое чужих. У доктора из-под пальто торчит кромка белого халата, он в очках и шляпе с полями, совсем не по сезону.

Митька идет в баню и видит закрытый гроб на лавке. Акимовна в своем долгополом пальто стоит, как каменная, положив руку на крышку, не плачет. Она кажется большой и высокой, выше и плотнее Ефима и дяди Леши. И Митька застывает рядом, впервые осознав себя как отдельного от Василия человека, который движется, говорит и делает что-то без подсказки. И от этого сознания у Митьки холодеет тело.

Входит Ефим, за ним дядя Леша и те трое.

— Ну что? — спрашивает Ефим. — Трогаться пора. Гроб открыть?

Акимовна мотнула головой.

— Не надо, — говорит и Митька и садится на корточки, спиной к стене, потому что дрожат ноги.

Гроб поднимают и несут. Когда Митька выходит из бани, подсаживают Акимовну, и она, совсем было скрывшись в вертолете, опять появляется в дверном проеме и рукой зовет Митьку.

— Ты меня не забывай, приезжай ко мне.

— Приеду, — говорит Митька.

Акимовна нагнулась к нему, чуть не вываливщись, и поцеловала. Из-за ее руки Митька смотрел на деревянную боковину гроба.

Заработал винт, пахнуло ветром, и оставшиеся на рыбточке побежали от вертолета, от поднятого им урагана из сухих трав и пыли. И вот уже вертолет стал размером с муху.

— Идем, Митька, — позвал Ефим. — Вдвоем теперь рыбачить до лета.

И Митька, почуяв ласку, которая была не в лице, не в голосе,

а где-то глубже, потянулся вслед за Ефимом. Он ощутил к нему внезапную горячую симпатию и робкое зарождающееся чувство дружбы — не такой, как с Василием, от которого только что отделился, а настоящей, взрослой. Он шел в дом, шатаясь от странной слабости и чувства ответственности за себя — перед собой же, перед Ефимом и дядей Лешей. И перед памятью о Василии.

БАНДЕРОЛЬ

Пошел дождь. На улицах, как цветы, распустились зонтики. У кого их не было, спрятались в подворотни, облепили двери домов и магазинов, пристроились под деревьями и карнизами.

Я заскочила в кафе и успела занять столик у окна. Рама чуть приоткрыта, на подоконнике гора сумочек и портфелей. Очередь к продавщице громко обсуждает значение пузырей на лужах — признак ли это затяжного дождя или быстропроходящего.

Мой столик в углу, и помещается здесь только два стула. Рядом сидит молодая женщина. Должно быть, зашла сюда до дождя. Чем дольше я на нее гляжу, тем больше убеждаюсь, что мы где-то встречались.

Она задумалась, смотрит в окно. А дождь вприпрыжку. Тротуары пусты, только по улицам мчатся машины. Пробежали девушка и парень, держа над головой плащ.

Где же я видела эту женщину? Может, она на артистку какую-нибудь похожа? Попросила меня сказать, что место за столиком занято, и пошла за кофе. Стройная. Во внешности и одежде все ладно. Выглядит немного усталой, наверно, давно не была в отпуске.

Проглянуло солнышко, а дождь все льет. Моя соседка вернулась с новой чашкой.

Чистый, открытый, может быть, чуть великоватый лоб, широко поставленные глаза — и вдруг я вспомнила. И сама себе не поверила. Ведь прошло лет семь, а может, восемь.

Женщина заметила, что я на нее смотрю, прищурилась и отвернулась к окну. И тогда я спросила:

— Вы купили тот дом с мансардой, где должно было быть много детей, книг и пластинок?

Она непонимающе взглянула на меня, и я на миг усомнилась — не обозналась ли?

— Тот дом на хуторе, о котором вы мечтали с вашим женихом?

— Я живу здесь, в Ленинграде, — настороженно сказала она. — А откуда вы знаете про дом?

— Вы мне сами рассказывали. Я была в вашем городе в командировке, вы поили меня чаем с вареньем.

— Ах да, — сказала она вроде бы с досадой. — Я вас помню. У вас был огромный портфель. Я вас хорошо помню, но в лицо не узнаю.

Она снова повернулась к окну. Дождь немного поутих. Как бабочки, запорхали зонтики, напротив — мокрый зеленый сквер. Разговор наш, как я поняла, был окончен. Я тоже сходила за второй чашкой кофе и приготовилась пересидеть дождь.

В тот город я приехала в командировку и в самом деле таскалась с огромным тяжелым портфелем, набитым служебными бумагами.

Свободного времени почти не было. В день отъезда выдалось несколько утренних часов, и я пошла не в кремль, не в краеведческий музей, а просто по улицам — наугад. Асфальт скоро кончился; дома одноэтажные, с деревянными навесами над крыльцом, и заборы. Окна глухо, в несколько рядов, заставлены нежно цветущей фуксией, бальзамином, геранью. На улице почти никого, негородской покой.

Я остановилась перед деревянным двухэтажным особняком с колоннами. За домом был виден старый разросшийся сад. Я еще подумала тогда — кто живет в этом красивом романтическом доме? Как вдруг распахнулось окно на втором этаже и высунулась девушка. В лице ли было необъяснимое очарование или в свободном движении тонких незагорелых рук, которые так легко раскинули обе створки окна, а может, солнце освещало ее ярко и прямо, что показалась она мне такой светлой. А может, просто ее восемнадцать лет — вот и вся разгадка?

— Вам нравится наш дом? — оживленно спросила девушка. — Погодите минуту, я сейчас.

И она появилась в дверях, так же стремительно и легко их распахнув, как окно.

— Это общежитие пединститута, — сообщила она. — Я здесь живу. Идемте, я проведу вас по дому. Только сначала обратите внимание на его внешний вид. Особняк построен в ампирном стиле, украшен шестиколонным портиком и треугольным фронтоном. И еще посмотрите на окна. Над наличниками изогнутые бровки. Прелесть, правда?

Я подхватила свой портфель и послушно пошла за девушкой на второй этаж. Видно, ей очень нравилась роль экскурсовода,

так любовно, забавно и старательно она выговаривала слова «ампирный стиль», «шестиколонный портик», наверно, недавно узнала их. На площадке она сказала мне:

— Я вам покажу что-то замечательное. Смотрите, какие широкие окна, скромная белая дверь. Здесь могла бы бегать Наташа Ростова. Вот по этому коридору — распахнуть эту дверь, влететь в зал и замереть... Да, именно здесь это и могло быть. А теперь мы находимся в бывшем зале. Вот остатки колонн и лепных украшений на потолке. Они обрублены перегородками. Наша комната тоже в бывшем зале, и у нас есть такие украшения. Но сначала мы осмотрим кафельную печь с металлической заслонкой.

Мы пришли в ее комнату. После уличной жары мне показалось здесь прохладно. Я даже не поняла, сколько человек в ней жили, так комната эта была заставлена шкафами. Именно шкафы и этажерки, а не кровати прежде всего бросались в глаза. Посреди стоял большой квадратный стол, покрытый клеенкой. На подставке чайник.

— Сейчас я буду вас поить чаем с крыжовниковым вареньем, — сказала девушка.

Потом она сидела, поджав под себя ноги, поставив на стол локти и подперев лицо ладонями.

— Неужели у вас совсем не было времени, чтобы осмотреть город? Я бы сделала так, чтобы для всех командированных устраивали экскурсии. Ах, какой у нас замечательный город!

— Вы здесь родились? — спросила я, не зная, как мне ее называть — на «вы» или на «ты».

— Я, вообще-то, сама из деревни, — смущенно заметила она, — недалеко здесь деревня, сто двадцать километров. Но город знаю хорошо. Лучше нашего города нет. Ну разве только Ленинград или Москва. Я там не бывала.

Она расспрашивала меня про Ленинград, про мою жизнь, работу с такой серьезностью и интересом, будто приехала я, по крайней мере, из Парижа.

— А этот костюм на вас, он ведь считается сейчас модным? Очень модным или средне? Вы его в ателье шили или купили в магазине?..

...А в филармонии вы часто бываете? Вам нравится классическая музыка? А вы видели когда-нибудь Рихтера?

Девушка была похожа на дом, в котором жила, так же бесхитростна, простодушна и мила. У нее даже брови были похожи на те самые изогнутые «бровки» над наличниками. Они то и дело удивленно взлетали. Все ее интересовало, волновало, поражало,

пустяк вызывал истинный восторг или негодование. Неужели такое еще бывает на свете? По сравнению с ней я показалась себе безразличной ко всему и старой.

Мне в то время было всего тридцать. Хотя, наверно, разница между поколениями больше всего чувствуется у двадцатилетних и тридцатилетних. Потом нет такого разрыва. А в тридцать человек еще молод, но уже ушел от своей юности и ее надежд, испытал удачи или неудачи, познал болезнь, родил детей, сделал или не сделал со своей жизнью что-то важное — определил ее.

Я определила свою жизнь и уже успела забыть, что есть такая юность, как эта — тонкорукая, светлоглазая, в детском ситцевом сарафанчике с крылышками. Не хотела бы я переиграть свою жизнь, не хотела бы вернуться к наивному и беспечному двадцатилетию. Но почему же мне стало так грустно? Это был другой мир, наверно, лучший, чем мой. И этим миром девушка хотела щедро и искренне поделиться со мной. Только ходу мне в тот мир все равно не было.

— У нас есть музыкальная школа, она каждый год дает показательные концерты. Я вам найду газету, там моя заметка про такой концерт. — Она стала рыться на этажерке среди учебников и тетрадей.

...Вы видели наши решетки? Я собираю материал по решеткам. Фотографирую их. У меня свой фотоаппарат — простенький, «Смена». Снимки, конечно, не профессиональные, но неплохие. Вы заметили странную особенность решеток? В подвальных помещениях они другие, чем в мансардах, а на кладбище не похожи на садовые...

...А вы увлекаетесь Смоктуновским?..

...А как вы относитесь к центру жизни? Вы не знаете, что такое центр жизни? Вот, смотрите. — Она берет овальную картофелину и режет ее пополам. — Вот ее середина. К ней можно подойти по самому короткому пути — вот здесь, а можно по этому, а этот — самый длинный. Какой избрать? Это важный вопрос...

...А как вы относитесь к девушкам, которые не замужем, а родили ребенка? У нас в соседней комнате девушка родила ребенка. Только ей пришлось бросить институт, она уехала к матери...

...У меня, вообще-то, есть жених, — сказала она серьезно. — Мы вместе учимся: он на четвертом, а я на втором. Он сейчас на практике. Он физик, а я филолог. Когда кончу институт, мы поженимся, будем жить в деревне и работать в школе. Это моя родная деревня. Но с родителями жить не будем. Там хутор

в двух километрах: восемь домов — три заколочены. Один мы купим. Его родители дадут половину денег и мои половину. В доме есть мансарда. Я хочу, чтобы было много книг и пластинок и чтобы он был рядом. У нас будет пять детей. Видите, свечка, — сказала она совсем тихо, будто доверяя тайное, — у него такая же. Когда мы думаем друг о друге, то зажигаем свечу. А потом сверяем, у кого больше сгорело. Он каждую неделю ко мне приезжает.

Поздним вечером со своим огромным портфелем я села в поезд. И только мы выехали из города, как перед самыми окнами, будто во сне, проплыли подсиненные стены с круглыми башнями. Они светились в темноте.

— Спасо-Прилуцкий монастырь, — сказал какой-то пассажир.

Я думала про не узнанный мною старинный город, где жила чудесная девочка, чистая и светлая, как утренняя птичка.

Да, конечно, она очень изменилась. Она превратилась в женщину. Ни во внешности ее, ни в одежде ничего не выдавало девичьей простоты, наивности. Лицо ее, когда-то мягкое, круглое, меняющееся от непрестанных улыбок и летающих бровей, осунулось, приобрело четкие черты, даже будто огранилось. Взгляд уверенный, губы и брови лежат красивым рисунком, строго очерченным и застывшим. Как она оказалась в Ленинграде, где ее жених, я не узнаю, потому что задать вопрос женщине с таким лицом просто невозможно.

Дождь почти прошел, и кафе стало пустеть. Я собралась уходить, взяла сумку, а женщина говорит:

— Я была глупая, восторженная девчонка. Наверно, я тогда утомила вас своей болтовней? Фантазировала, воображала невесть что. Но мне было ужасно интересно поговорить с вами. Вы были взрослой, уверенной в себе женщиной. Да вы были для меня необыкновенной уже потому, что жили в прекрасном городе.

— Теперь и вы живете в этом городе. Ведь вы учительница литературы?

— Я работаю в интернате воспитателем. Там мне комнату дали. — Ее застывшее лицо стало растерянным. — Не получилось у меня ничего. Нет у меня ни мужа, ни дома с мансардой, ни детей.

Она доверчиво посмотрела на меня, и брови красивого четкого рисунка вдруг поломались, как те «бровки» над наличниками старого особняка.

— Я не тороплюсь, — сказала я. — Давайте возьмем еще по чашечке кофе.

Потом мы переместились в скверик напротив кафе. Он отряхивался, как собака после купания. На лицо и руки мягко плюхались последние капли с листвы. А она все говорила — наверно, ей некому было рассказать свою историю, принималась плакать, сморкалась в крошечный носовой платочек, прерывисто вздыхая.

— У нас появился новый преподаватель — аспирант, ленинградец. Мне он казался богом. Умен, говорит как по писаному, без всяких бумажек — сплошные сложноподчиненные предложения. Девчонки все в него влюблены. А город у нас небольшой, вечерами деться некуда, вся жизнь в институте и общежитии. Мой Славик уехал в деревню, а я влюбилась. Чтó Славик — мальчишка, а Олег мужчина. О Славике мне тогда думать не хотелось. Я чувствовала свою вину, а чем сильнее ее чувствовала, тем хуже к нему относилась, как будто был виноват он.

На каникулы поехали в Ленинград, к матери Олега. Она меня видеть не хочет — вывез невесту из деревни.

Я уже тогда знала, что Олег любит выпить, но я искала этому оправдания. Во-первых, жена бросила, он скучал по дочери. Во-вторых, мать поставила вопрос ребром — либо она, либо я. Он выбрал меня.

А потом мы поженились.

На свадьбу его мать не пришла. Своих родителей я тоже не приглашала — они деревенские, а на свадьбе были друзья Олега, он не мог ударить лицом в грязь. Самое ужасное, что он меня и не просил их не звать — я сама поняла, что их не нужно. Расписались тайком. Домой к Олегу путь был заказан. Справляли в чужой однокомнатной квартире, там мы и прожили первые полгода.

Поздней ночью я сидела в белом платье за столом с объедками, ревела белугой и утиралась фатой. Мой муж, мертвецки пьяный, спал тут же, на диване, в костюме и ботинках. Правда, мужем и женой мы стали до свадьбы.

Я так и просидела всю ночь, и всю ночь вспоминала Славика.

Вот и свершилось все, что должно было. Вроде бы мой грех — не грех, а естественное состояние. Я — мужняя жена. Все-таки я дочь своих деревенских родителей, не без предрассудков, что тут и говорить. И вдруг я подумала, что со мной произошло что-то ужасно печальное, а что — и объяснить не могу. Я впервые пожалела, что не будет со мной такого человека, как Славик, с его ребячеством, шутками и умением принимать жизнь честно, просто и весело. Он ведь очень веселый, песни поет, на гитаре играет, что-то все время придумывает. С ним можно прожить

сто лет, а он таким и останется. Со мной уж точно таким и остался бы. Мы бы постарели, а все бы за руку ходили. С Олегом я ходила под руку, а когда он злился, то шел впереди, а я плелась сзади. А со Славиком и поссориться нельзя, такой он человек. Он просто не поймет, что с ним хотят поссориться. Теперь-то мне кажется, что он притворялся, будто не понимает, — такая у него манера, такой характер. Просто человек он отличный. Кстати сказать, детей очень любит.

На столе недопитые рюмки, тарелки с недоеденным салатом, откуда торчком окурки, — все тошнотворно пахло. А я и убирать не стала, сидела обессиленная и все думала о Славике: «Милый, милый, милый...» Не будет со мной Славика. Будет другой, взрослый, без школьных выходок и увлечений. И все будет не так. А что под взрослостью Олега кроется, я тоже не знала.

Ну, а утром солнышко взошло, я будничное платье надела, мужа разбудила, завтраком накормила, мы смеялись и обнимались.

Его мать почти год меня не прописывала. Этот год я не работала. Я очень старалась, чтобы у нас все было хорошо. Я, наверно, его все еще любила.

Потом стало совсем худо. Его друзья не стали моими друзьями, а своих я не могла завести. Мы все время ссорились. Я пыталась, как Славик, обходить ссоры, но с Олегом это не получалось. Я делала все, как ему может понравиться, говорила только то, что не должно бы вызвать его раздражения, а он делал вид, что не слышит, или спрашивал:« Что ты там хрюкаешь?» Оскорбления выдумывал какие-то уж очень обидные, нет бы просто ругался, а то наизнанку все выворачивал. А на другой день после ссоры кается, плачет, говорит, что я его спасение, что без меня он пропадет, что, кроме меня, он никому не нужен. Я знала, все это так.

Кандидатскую он все-таки защитил и читал лекции в институте. Мы снимали уже третью комнату после однокомнатной квартиры. Выбили мне прописку, и я пошла работать в школу.

Потом он сказал, что детей ему не нужно, и я сделала аборт. Потом еще аборт. Потом лечилась, чтобы были дети. И вдруг поняла, что мне не надо детей, мне их не от кого родить. Из больницы ушла со скандалом, не долечившись.

А в доме у нас появилась некая Аля, он называл ее Аленький Цветочек. Говорил, подруга. Аля у нас полужила, вела себя раскованно. Я проверяю тетради, она бродит по комнате, включает телевизор, шарит в холодильнике. Обращение свободное. У них так принято — обнять, поцеловать, вроде как выказать дружеское расположение. Смотрю и не знаю — любовница? Слушаю,

как говорят друг с другом, — ничего не пойму. Спросить у него гордость не позволяет, потом, может, и в самом деле подруга. Да я и боялась спросить.

Уж как эта Аля мне надоела. Ненавижу. С трудом сдерживаюсь. Раз пришла она без Олега и за свои штучки: сбросила туфли и улеглась на диван с книгой. Я и говорю: «Ну-ка встань, гадина, и чтобы я тебя больше не видела никогда».

На другой день Олег меня избил, пьяный очень был. Но раньше пальцем не трогал. У меня перелом ключицы, еще что-то. Увезли в больницу. Он испугался, что от врачей причины не скрыть. А врачи говорят — подавай в суд. Олег бегал каждый день. Я просила его не пускать.

Палата была большая. Все с травмами, кто где получил. Времени в больнице много, все друг другу про свои болячки рассказывают. Меня спрашивают, а я молчу, будто глухая. Подробности не хочу говорить, а в общем-то, все про меня известно.

Читать не могла. Потом Галя, она со мной в школе работала, наушники принесла, и я целыми днями радио слушала, этим жила. Слушаю — и смеюсь, и плачу. Ждала все симфоническую музыку. Меня уж там стали считать ненормальной. И верно — было что-то такое.

Потом выписалась, а идти некуда. Дело зимой — холодно. Грелась в пирожковых, ходила по городу. Забрела в церковь, постояла — вроде ни к чему мне это. Ночевала я на вокзале, а утром сходила в школу да уехала домой. Работу жалко было бросать, у меня только-только получаться стало.

Дома приняли без радости: отец строже, мать — мягче. Мать все время плакала. Один позор им со мной. Я думала, что в Ленинград уже не вернусь, но с родителями очень тяжело было жить. Те заколоченные дома на хуторе все так же пустовали. И мой дом с мансардой. Я ходила на него посмотреть.

В деревне я прожила полтора месяца и не прижилась. Перед отъездом мать сказала мне, что Славик в городе, работает в школе, не женился. Родители у него в соседней деревне, проездом он был два раза у моих. В городе я очень боялась его встретить, но не встретила. Вернулась в Ленинград, устроилась в интернат, там комнату дали.

Олега полгода не видела, а недавно столкнулась в автобусе. Он что-то говорит, а я будто и не слышу — как в телевизоре с выключенным звуком — одни губы двигаются. Только заметила, что в разговоре рот кривит. Раньше никогда не замечала. А может, он раньше и не кривил?

Такая история. Скучная.

Мы шли по широкой аллее к Никольскому собору, застывшему в голубином рокоте.

— Это не все, — сказала женщина. — Неделю назад я получила маленькую бандероль. От Славика. В бандероли узкая коробочка, в ней обычная стеариновая свеча. Плакала я очень, я все время плачу, это у меня после больницы до сих пор. Но это пустяки, пройдет. А свечка — вот она. — Женщина открыла сумочку и вытащила крохотный огарок. — Я пошлю ему. А? Как вы думаете? Я ведь еще молодая, я рожу детей. И еще я знаю, что могу быть очень счастливой, ничего во мне не умерло, не поломалось. Я про все то со временем забуду, это я тоже знаю. Может, будет у меня все-таки свой дом с мансардой...

Впереди на аллее долговязый парень собрал огромную стаю голубей, он сыпал зерно, а голуби продолжали слетаться. Потом он разом поднял их с места и отскочил на газон, а другой парень, с фотоаппаратом, приседая и изгибаясь, ловил объективом распластанных в полете птиц. Он хотел снять летящих голубей, а за ними размытые очертания собора. Мы шли прямо за фотографом, и голуби стремительно полетели на нас. Кисло запахло голубиным пометом. Я заслонила лицо руками, а молодая женщина рядом со мной засмеялась. Птицы налетали на нас, задевали крыльями волосы, плечи, и долговязый на газоне тоже стал громко хохотать.

МИХАИЛ МАТРЕНИН

* * *

Как рассказать тебе про ночь и снег,
про то, что капли падают на снег,
про то, что снова оттепель настала,
тяжелой влагой пропитался снег.

Как рассказать, что ночь меня найдет,
так далеко за городом найдет,
промозглый ветер в форточку ворвется;
я сплю, да ночь и спящего найдет.

И мокрые снега войдут в меня,
озябшие, бездомные поля,
и долгий, горький голос электрички,
и вся ночная спящая земля.

Тогда мне снова можно будет спать,
и все они со мною будут спать,
пойми, им нужно в ком-то поселиться,
иначе им не перезимовать.

ИРИНА МОИСЕЕВА

* * *

Филологи и мужняя жена
мне говорят, что я — обнажена.
Что, голою натурою сверкая,
я похоти и льщу и потакаю.
И молодой талантливый артист
мне говорит, что у меня стриптиз.

Я верю всем и строчки помечаю,
но пошлости никак не замечаю.

Слезы ль в глазах спасительная пленка...

Что нагота для куклы и ребенка?..

* * *

Конечно, не ямб, не хорей,
не дактиль, не дольник...
А просто сидит соловей
и свищет, разбойник.

* * *

Ах, нету берета
кофейного цвета
и юбки бордо.

Зато в это лето,
наверное, в это,
наверно — за то —

все будут в отъезде,
и на переезде
среди перебранки

куплю я по случаю
пару созвездий
у грязной цыганки.

* * *

О, чего бы я не совершила
ради серебра и крепдешина,
ради (и кивком не удосужив)
черных роз и ради белых кружев!

Думала, пока белье сушила:
«О, чего бы я не совершила».

* * *

Не пугай меня: «Как мы ответим?!»
Ведь и грех-то и грех-то всего:
только ветер от моря. Да ветер
к морю. Больше и нет ничего.

* * *

Одно могу сказать наверняка:
я с жадностью к щеке его прижалась.

И сколько б эта жизнь ни продолжалась —
все будет коротка.

* * *

Как я любила, чтоб мне не мешали...

Тихие игры
и теплые шали.
Солнце,
когда оно лечит и нежит.
Травы,
когда они ног не порежут.
Теплые камни под голой спиной.
И ни одной,
                    ни одной,
                                    ни одной

горькой детали...
Сильные сосны над синей волной.
Ясные дали.

ВЛАДИМИР ЛЫСОВ

СЧАСТЛИВЫЙ БУКСИР

В Ленинграде ему понравились тренажеры, которыми были оснащены учебные классы пароходства, и пивные бары, в которых подавали соленую соломку, брынзу, а иногда и вяленого леща. Он с большим удовольствием учился на курсах повышения квалификации, а по вечерам пил пиво. Домой не торопился. Но однажды получил письмо от приятеля, в котором тот сообщал, что гидрологи-волхвы наврали насчет того, будто ледовая обстановка в этом году будет тяжелой: пилоты говорят как раз обратное — прибрежная чистая полоса воды быстро расширяется, лед уходит на север. Тогда, сославшись на необходимость присутствовать при подготовке судна к навигации, он прервал учебу, не дослушав и половины курса, отбыл восвояси.

Домой Николай Сергеевич прилетел утром. Жена и дочка уже ушли в детский сад (жена его работала в саду воспитателем). Не застав их, он пошел в порт.

Он впервые вступал на борт своего парохода капитаном (потому и послали учиться на курсы). Но с командой плавал уже несколько лет, старпомом. Так что проблем внутреннего, психологического порядка — как себя поставить в экипаже, на каком уровне взаимоотношений — для него не существовало. Он знал людей, и они его знали, и его приказы даже в шутливой форме все равно оставались для них приказами.

Вахтенному штурману, встретившему его у трапа, он отдал распоряжение собрать экипаж в столовой команды. Выждав

у себя в каюте несколько минут, сколько считал достаточным для выполнения распоряжения, он спустился вниз, к экипажу. Без обиняков обратился к нему со следующими словами:

— Судну, товарищи, за зиму сделан хороший ремонт. Стало быть, поплывем быстро, не так ли?

— Поплывем, а чего ж? — отвечали ему. — Плавали и еще поплывем под вашим мудрым руководством!

На этом собрание членов судового экипажа закончилось. Начались приготовления к работе, ожидание гидрографов.

Они прибыли в этом году поздновато: тоже не рассчитывали на хорошую ледовую обстановку. Прибыв, разместившись на судне, они несколько дней ударными темпами проверяли свое имущество, технику, строгали на берегу вехи, лили бетонные якоря. А когда управились со всеми делами, был назначен день выхода в море.

Погода благоприятствовала. Шли на север и днем и ночью, покрывая промером плановые километры. Вахты сменялись своим чередом. Механики, мотористы несли службу исправно, выполняли команды без промедления, четко. Правда, выяснилось, что в машине есть чудак-моторист, совсем еще пацан, который болеет при пустяковом, в три-четыре балла, волнении. Но, кушая квашеную капусту, запивая ее клюквенным соком, и он пока что держался. А штурманам Николай Сергеевич доверял полностью. Тем более боцману: старый хрыч знал свое дело насквозь.

В свободное время Николай Сергеевич играл с гидрографами в карты, читал дневник Джеймса Кука. Раз, когда бросили якорь вблизи острова, он взял у боцмана ружьишко, сходил на берег, подстрелил двух уток — поразмялся.

В общем, все шло, как надо. Во льдах, на участках с малыми глубинами, он сам вел судно. В остальное время старался не обижать штурманов недоверием, не дышать им в затылок.

На подходе к одному из попавших на планшет островков он поднялся на мостик, сам встал за тумбу машинного телеграфа. Шли малым ходом, галсом, которым обрывались исследованные глубины. Приближались к точке поворота. Из рубки гидрографов ему кричали: «Пятнадцать, тринадцать, двенадцать!» — эхолот показывал уменьшение глубины под килем. И тут — плотный глухой удар в штевень. Не удержавшись на ногах, Николай Сергеевич упал грудью на рукоять телеграфа, от боли на какое-то мгновенье потерял сознание.

Очнувшись, чертыхнулся: происшествие было вдвойне неприятно, поскольку перечеркивало работу гидрографов — им теперь предстояло переделывать этот галс.

Он принялся раскачивать судно взад-вперед. В результате

как будто плотнее сел на мель. Что оставалось делать? Звать на выручку ближайшее судно? Но он в первый раз вышел в море капитаном, он надеялся на себя, очень хотел что-нибудь придумать...

В кают-компании отпускали шуточки по адресу знакомого почти всем присутствующим гидрографа, именем которого был назван этот — разумеется, им пройденный — галс. Однако веселились недолго: в скором времени поднялся ветерок, море смешалось, зарябило, ожило.

Барометр падал. Ветер сменился на порывистый. Горизонт затягивало дымом. Вот, как огромным, туго набитым мешком, с маху ударило в борт. И еще, еще...

Перегнувшись через поручень мостика, Николай Сергеевич увидел, как из-под днища всплыла доска обшивки: должно быть, судно сидело во впадине, седловине меж двух песчаных холмов.

Он, наконец, набрался духу просить помощи. На ледоколе, работавшем неподалеку, не сразу разобрали, кто их зовет: в волнении радист «гидрографа», предваряя аварийное сообщение, один раз отстукал свои позывные, не трижды, как полагается по инструкции.

Пока на ледоколе уразумели, откуда беспокойство, да приняли решение идти на выручку, прошло время, в течение которого судно Николая Сергеевича получило пробоину.

Главный двигатель вышел из строя. В машину поступала вода, мотопомпы не успевали ее откачивать. Пароход кренился. Волны уже гуляли по нижней палубе, а чуть погодя стали захлестывать и на верхнюю. Все перешли на мостик.

О спуске на воду спасательных катеров нечего было и думать: один из них, с подветренного борта, уже затонул — его сорвало со шлюпбалок, — другой, чуть только его спустили бы, тотчас разбило бы в щепки о борт. Тогда Николай Сергеевич приказал бросить за борт надувной резиновый плотик.

Конечно, можно было решить в приказном порядке, кому прыгать на плотик. Но Николай Сергеевич чувствовал, что в эту минуту он должен рассчитывать на добровольцев.

Первыми предложили свои услуги практиканты, курсанты морского училища, работавшие на судне техниками-гидрографами. Сиганули за борт, на плотик вскарабкались благополучно. Им кинули конец — линь, наращенный на трос, — они его приняли и поплыли.

Отгребли от борта на десяток метров, и один, не удержавшись, свалился в воду. Позже выяснилось, что плавать он не умел: родился и прожил до отрочества на острове посреди Ле-

довитого океана, но кто же купается в полярном море по собственному желанию?

Друзья кое-как выловили его за шкирку. Поплыли дальше.

Николай Сергеевич с замирающим сердцем следил, как они входили в полосу прибоя. Их в два счета могло расплющить о береговые камни. Или таскало бы взад-вперед, пока они не обессилели бы. Но они попали между камней. Один, изловчась, ухватился за выступ и, когда волна схлынула, выбрался на берег, а потом помог остальным.

Несколько раз обмотав вокруг валуна трос, они закрепили его. Но он тут же лопнул: судно раскачивало, стальной конец не амортизировал.

С борта судна бросили на воду второй надувной плотик. Трое матросов быстро добрались на нем до берега. Этим уже было легче: на берегу их подстраховывали.

— Слава богу! — громко, так, чтобы слышали все, сказал Николай Сергеевич. — Очень за них боялся. Теперь все в порядке.

Теперь, наученные опытом, островитяне взяли трос на плечи. По нему на блоках прямо в их объятия скатились несколько человек. Таким же образом переправили палатки, карабины, продукты. А там радист принял сообщение: к ним спецрейсом вылетел вертолет, — и Николай Сергеевич распорядился прекратить транспортные операции.

...А вертолета все не было. Трещали переборки рубки. У всех одно было на уме: а если ее снесет?

Исчез, нырнув в сходной люк, доктор. Его окликнули вслед, он успокоил: «Сейчас!» Чуть погодя Николай Сергеевич позвал его по спикеру. Доктор явился. Поднялся на мостик, бледен и строг, в белой сорочке, парадном костюме.

Николай Сергеевич вначале опешил. Поняв, в чем дело, выждав, когда палуба выровняется под ногами, сделал шаг вперед и влепил доктору такую оплеуху, что тот кубарем скатился вниз по трапу, туда, откуда пришел помирать по всем правилам морской традиции.

После этого люди воспрянули духом.

Прилетел к ним сам командир отряда, знаменитый на Севере пилот. В записке, сброшенной в портсигаре, он предлагал перебираться на остров на якоре.

Якорь рабочего катера через трос закрепили на борту вертолета и по одному верхом на его лапах поехали на берег...

...Конечно, Николай Сергеевич тяжело переживал случившееся. Но не предполагал всех его последствий.

Когда он по возвращении в порт явился в управление, ему

сказали, что капитаном он оставаться не может... Хотя банка, на которую он сел, на карте не была отмечена, хотя, спасая людей, он действовал смело, находчиво...

Его перевели старпомом на однотипный «гидрограф». С новым своим положением он скоро смирился: ему обещали, что через год-другой, когда происшествие подзабудется, его восстановят в прежней должности.

И стал он исправно служить на новом судне. Моряк он был грамотный, службу знал, команда любила его за добродушие, веселый нрав, и потому он не делал трагедии из того, что случилось.

Старпомом закончил навигацию и получил долгожданный отпуск. Решил ехать на Юг.

Прилетев в Сочи, он снял комнату у самого моря и в первый же день пошел на него смотреть.

Осеннее Черное море ему понравилось. С ревом, ропотом рушились его глянцевитые острогорбые волны на бетонный мол, кипела в береговой черной гальке пена, а он, устроившись под навесом, где летом отдыхающие спасаются от солнца, неторопливо размышлял о разных разностях, больше о хорошем, приятном, и чувствовал себя тихо, умиротворенно.

Так он и зажил: спокойно, размеренно. Нагулявшись с утра, шел к морю, усаживался на то место, которое облюбовал в первый день, смотрел и слушал море.

Никто ему не мешал. Лишь изредка мимо проходил с обходом по берегу старик сторож, высокий, сутулый, завернутый в черную железнодорожную шинель. Николая Сергеевича он не замечал. Да и весь белый свет, казалось, существовал для него то ли в мыслях, то ли в воспоминаниях, которые отражались на сухом лице пророческой суровостью, отрешенностью.

Но недели через три Николаю Сергеевичу стало скучно, беспокойно. Точно так же было и в прошлом отпуске, но, долго дожидаясь очередного, он успел об этом забыть.

Полагая, что беспокойство от одиночества, безлюдья, он купил билет в Москву.

В Москве ему удалось снять номер в гостинице. Но шумная столица пришлась ему не по нутру. «Чистый Вавилон! — удивлялся он. — Так и прут из всех щелей! И все опаздывают!»

Достать билет в театр не было никакой возможности, кино ему осточертело на судне... Он бы, может, вернулся домой, но опасался стать в поселке всеобщим посмешищем: извольте видеть — герой труда, перекрыли ему кислород, разлучили с любимым делом!

Перед отъездом на родину, в Смоленск, его немного развлек визит журналистки. Черт ее знает, как она напала на его след. Явилась в номер без звонка, без предупреждения.

Полная маленькая блондинка с челкой на круглом лбу, глаза живые, подвижные... Николай Сергеевич сразу, как только ее увидел, засмущался.

Убедившись, что он — это он, Николай Сергеевич Руднев, она без промедления приступила к делу.

— Я по поводу истории, приключившейся с вами в Восточно-Сибирском море, — объяснила она. — Как это было?

Готовясь слушать, ерзнула на стуле, закинула ногу на ногу, так что при этом мелькнул краешек чулка. Он почувствовал сильный жар и отвернулся к окну. А когда опять взглянул на нее, с удивлением обнаружил, что лицо ее серьезно, сосредоточенно.

— Сели на мель, не могли сняться... — вяло рассказывал он.

— А по чьей вине? — осведомилась она доверчивым, снимающим настороженность тоном.

— По моей. По чьей же? — удивился он. — За это и переведен в старпомы.

— Вот как...

Видно, она в чем-то сомневалась, следующий вопрос задала несколько растерянно:

— Но вы же измеряли глубины?..

— Так, — согласился он.

— Следовательно, шли на ощупь, вслепую? Не так ли?

— Вообще-то, мы шли не наобум, а по следам предшественников, таких же гидрографов. Но рельеф дна, как вы знаете, может меняться. Тем более там грунт песчаный.

— Следовательно, вы ни при чем?

Он улыбнулся ее наивности. Ему даже стало весело: пароход разбит вдребезги, а виновных нет.

— А кто же при чем? — удивился он. — Судовая буфетчица?

— Ну-у... — она замялась.

Склонив голову набок, вздернула бровь, что-то прикидывая, обдумывая. А затем с живым любопытством спросила:

— И как вы спаслись?

Он рассказал, как ребята заводили на берег трос, как вертолетчики по одному перевозили их верхом на якоре.

В продолжение его рассказа она быстро писала в блокноте, часто прерывала его просьбами повторить, объяснить значение того или иного морского термина.

Он говорил, а сам думал: не стоит особенно распространяться: поскольку она записывает, значит, намерена чего-нибудь

сочинить, а ему этого ох как не хотелось! Но она, отрываясь от блокнота, улыбаясь, смотрела ему прямо в глаза... И Николай Сергеевич махнул рукой на свои опасения и выложил все, как было. А в конце разговора даже позволил себе пошутить: она попросила его уточнить, в каком состоянии было судно, когда он отдал команду оставить его, и он сказал, что крен достигал градусов... э-э-э... ну, в общем, в трубу было видно ребят на берегу.

...В Смоленске у Николая Сергеевича никого не осталось, кроме дяди, отцова брата: отец не вернулся с войны, мать умерла несколько лет назад. Старики родственники жили все так же тихо, мирно в беленом домике, к которому примыкал небольшой сад из яблонь и слив. С утра он пил с ними чай с вареньем, кислыми оладьями — тетка берегла муку к празднику, но по случаю его приезда нарушила зарок, потом шел гулять по заснеженным чистым улицам, грелся на лавочках на солнцепеке.

Все в городе было мило, дорого его сердцу.

Вот дом, с крыши которого он на спор прыгал в кучу песка, а потом убегал от мужика-строителя. Дом потемнел от дождей, обшарпался, врос в землю, а тогда он от страха перед собственной удалью едва чувств не лишился на крыше. Вот то самое дерево, под которым он похоронил своего кота...

Вечером возвращался с работы дядя — он все еще работал, хотя по возрасту давно мог выйти на пенсию, уверял, что при деле дольше проживет, — и они садились втроем ужинать. Николай Сергеевич ставил на стол бутылочку, и начинался разговор: об отношениях в дядином производственном коллективе, о материальных преимуществах жизни на Севере и о родственниках, многих из которых Николай Сергеевич давно потерял из виду.

Иногда, после лишней рюмки, дядя тенорком, на коротком дыхании затягивал «Утро красит нежным цветом» или «Три танкиста, три веселых друга». Тетка, смеясь, отмахиваясь, просила его уняться: соседи услышат, бог весть что подумают.

Так незаметно пролетел почти весь его отпуск. Оставшиеся полтора месяца он зарезервировал, с тем чтобы пройти хотя бы до Амдермы Северным морским путем, западный сектор которого был ему мало знаком.

Чтобы осуществить свое намерение, он приехал в Ленинград и подрядился в речное пароходство на сухогруз. У речников не хватало штурманов, и его оформили старпомом. Предстояло перегнать пароход в Архангельск, а там он надеялся пересесть на другое судно.

Снялись ночью, когда на Неве развели мосты. По фарватеру

реки прошли благополучно — капитан ни на минуту не покидал мостика. Вышли в Ладогу. Второй штурман, сдавая ему вахту, предупредил, что на курсе — встречное судно.

Взглянув на репитер гирокомпаса, Николай Сергеевич убедился, что рулевой держит курс довольно прилично. Прильнул к резиновому ободку окуляра локатора — яркое продолговатое пятно, о которое ломался вращающийся зеленый лучик, было пока у края экрана.

Мигнул и загорелся топовый огонь встречного. Из-за черты горизонта на тусклое предутреннее небо выползла черная верхушка его надстройки. По очертаниям ее, расположенной в корме, массивной, приземистой, он определил тип — самоходная баржа.

Баржа приближалась. На борту ее начали отмашку белыми флагами. Николай Сергеевич не сразу понял этот сигнал: на море им не пользуются, — замешкался. И тотчас же ударил в глаза, ослепил прожектор с борта баржи. Он крикнул: «Право на борт!» — но опоздал: нос судна, чуть откатившись в сторону, всеми тысячами тонн массы шарахнул в борт баржи.

Удар был чудовищно силен. Под ногами, по палубе прошли упругие жесткие волны. Падая, Николай Сергеевич успел двинуть рукоять телеграфа на «полный назад». Судно с натугой, трясясь, скрежеща, вытянуло свой форштевень из левого борта баржи, и в машине уже без команды сбросили ход. Судно встало, как неуклюжий, неловкий человек, которого подвела дурная сила.

Им столкновение особого вреда не причинило: немного помяли форштевень, получили дырку в скуле, которую тут же зацементировали. На барже дела обстояли значительно хуже.

В Архангельске Николай Сергеевич пересел на дальневосточный пароход. Ледовая обстановка в тот год в проливе Карские Ворота была хорошей, и они почти без хлопот дошли до Амдермы, откуда он самолетом отбыл домой. Вернулся не отдохнувший и посвежевший, а очень расстроенный.

Он на свой счет не обольщался, знал, что придется держать ответ. Когда он рассказал в управлении о своем подвиге на Ладоге, начальник схватился за голову.

— Мало тебе своих судов! — сказал он. — Еще и чужие гробишь!

Скоро его судебной повесткой вызвали в Ленинград.

Свое слово защитник начал с того, что пространно обрисовал профессиональный облик этого замечательного моряка.

— Нет и еще раз нет! — заявил адвокат самым категориче-

ским тоном. — Человек этот не случайно, не по недоразумению оказался на флоте! Он моряк по призванию!

И адвокат выхватил из папки газетную вырезку, торжествующе помахал ею в воздухе, а затем процитировал строчки, из коих явствовало, что Николай Сергеевич в безнадежной ситуации, возникшей в Восточно-Сибирском море отнюдь не по его вине, когда в трубу был виден берег острова, своей решительностью, хладнокровием спас экипаж до единого человека.

В зале судебного заседания, где было немало моряков, возникло мгновенное молчаливое замешательство, после которого раздался хохот. Тем не менее, не смутившись, адвокат перешел к конкретным доводам в оправдание Николая Сергеевича.

Кроме того, что он сделал дырку в борту баржи не по беспечности, в его пользу было и то, что экипаж самоходки в аварийной ситуации действовал крайне неумело: пробоину заделывали, заводя пластырь изнутри, его отталкивало, выдавливало напором воды, мешали загнувшиеся внутрь края металлической обшивки.

По-видимому, как справедливо заключил защитник, тренировками по борьбе за живучесть судна морякам баржи не особенно докучали.

Семь часов баржа держалась на плаву. Столкновение произошло меньше чем в миле от берега, в крайнем случае капитан, будь он решительней, мог бы выбросить баржу на берег. Но и этим очевидным вариантом спасения он не воспользовался, затопил судно.

— Нужно учесть и то, — бросил последний козырь защитник, — что правила предупреждения столкновения судов для Ладоги существенно отличаются от аналогичных, действующих на море, реке и озере. Они — особые, они — только для Ладоги. В данном случае мы являемся свидетелями вопиющей безответственности со стороны администрации пароходства: никто не устраивал Рудневу какого-либо экзамена перед выходом в рейс, никто его даже не проинструктировал...

Слушая своего благодетеля, Николай Сергеевич удивлялся: выходило, что администрация пароходства словно бы принудила его влезть со своим пароходом в борт баржи.

В общем, Николай Сергеевич отделался всего-навсего тремястами рублями штрафа, которые пошли на ремонт сухогруза. По поводу затонувшей баржи в решении суда было сказано: виноваты сами.

По возвращении домой он получил новое назначение — капитаном на портовый стотонный буксир...

— Ничего, Коля, крепись, — говорили ему в коридоре конторы управления. — Сам знаешь, моряки об этом не грустят. . .

Приятель, старый капитан, в беседе с глазу на глаз посоветовал ему сменить порт приписки.

— А в чем дело? — отвечал Николай Сергеевич. — Я опять капитан!

. . .Матросы, мотористы — команда буксира — в глубине души презирали его, считали одним из тех горемык, кому не хватает воли, характера даже на то, чтобы сменить профессию. Правда, кэп дело знал. Настолько, что, учинив им очередной разнос за то, что плохо принайтовлено барахлишко на палубе, или там за нерасторопность при подаче бросательного конца, он мог показать и показывал, как это делается. И все же они судили о нем в первую очередь по количеству понижений по службе. Им, с их мечтами об океанских лайнерах, иностранных портах, валюте, кэп, не умеющий хоть мало-мальски подать себя, пустить пыль в глаза, казался олицетворением стопроцентного неудачника. Они были молоды и не умели прощать такое.

. . .К новой работе Руднев долго не мог привыкнуть. Помимо того, что она постоянно напоминала ему, какой он невезучий, она была еще и слишком спокойной.

Иногда все двадцать четыре часа дежурства они стояли у причала. Капитаны, идущие в порт, выходящие в море, редко вызывали буксир. С тех пор как они стали работать по новой системе материального стимулирования, они осмелели, научились обходиться без всяких там буксиров.

Не зная, куда девать свое время, без необходимости хлопотать, делать тысячу дел и помнить о многих других, Руднев будто потерял остойчивость, будто из-под ног его выбили упор. . .

Иногда он, возможно, бывал слишком придирчив, раздражителен, но, в общем-то, он справедливо полагал, что безделье деморализует команду. И поэтому заставлял ее вылизывать буксир, как пассажирский лайнер.

Команда роптала. Можно было, конечно, навалившись всей толпой, навести марафет даже в машине. Но что толку? Вызовут отпихнуть кого-нибудь от причала — и опять «шип» черный, как чугунок.

Случалось, после очередного внушения кому-либо из команды Николай Сергеевич впадал в состояние грустной задумчивости. «Почему я все еще здесь? — размышлял он. — Надежд подняться когда-нибудь на мостик приличного судна — никаких: люди с отличной трудовой биографией и те ждут своей очереди по десятку лет. А я что жду, чуда? . . Так. . . А какие же будут предло-

жения по устройству своей профессиональной судьбы? Да никаких, пожалуй...»

Ему достало бы решимости сняться с насиженного места, все начать заново, с нуля... Но вода в этом море была зеленая, а сопки голубые и фиолетовые, и большущее золотое солнце все лето гуляло над бухтой, не заходя в море, а там, где оно на закате касалось краешком горизонта, проливая на воду расплавленный металл, торчали, как большой морж с детенышем, Караульные Камни, мокрые и блестящие.

«Нет, ничего не выйдет, — думал он. — Затоскую, зачахну...»

И он работал. Требовал порядка на буксире.

Однажды ночью порт всполошили звонки громкого боя, удары рынды. Руднев выскочил на палубу. Сигналы пожарной тревоги подавал сухогруз, в одиночку стоящий на внешнем рейде, дымивший из всех щелей.

Буксир был под парами. Руднев тотчас отдал команду отваливать. Подошел к сухогрузу первым, даже раньше пожарного буксира.

Руднева с одним из его матросов послали на нижнюю палубу, в коридор жилых помещений. Здесь было темно — судовое электропитание вырубили, — как в печной трубе, гудел в пустотах между листами фанерной обшивки огонь. Вот стрельнул, вырвавшись наружу, в зазор переборки, желтый язычок пламени, лизнул лак фанеры.

Оба держали наизготовку огнетушители. Тут же пустили их в дело.

Задыхались. Рудневу казалось, что кожа на голове трескается, по лицу течет жир.

Матрос бросил пустой огнетушитель и выскочил наверх глотнуть воздуха. В это время оттуда в проем люка крикнули:

— Эй там, краснофлотцы! Держи кишку!

В дыму, в темноте он почти ничего не видел. Бронзовый наконечник пожарного шланга угодил ему прямо в голову. Он потерял сознание.

Очнулся уже на причале, на свежем воздухе. Щуплый парнишка в белом халате под локоток помогал ему влезть в карету «скорой помощи».

...Долго потом в порту вспоминали это происшествие. Уже у него и волосы отросли, а все при встречах знакомые участливо спрашивали:

— Как черепок, не болит?

Вдруг его вызывают в контору и вручают командировку в Москву. Он, естественно, недоумевает, но начальник управления ни-

чего не объясняет; неопределенно улыбаясь, он говорит, что по приезде ему необходимо явиться к заместителю министра...

Заместитель министра, крупный мужчина с тяжелым лицом, вручая ему грамоту и золотые именные часы, мрачновато пробасил:

— Молодец. Действовал, как полагается.

Большие, бледные губы его чуть раздвинулись в подобие улыбки, а брови оставались насупленными.

Совершив церемонию награждения, заместитель предложил ему сесть. Сам, словно не зная, что делать дальше, медленно, в раздумье ходил вокруг своего огромного, размерами с теннисный, полированного стола красного дерева. Наконец, вроде бы равнодушно, рассеянно обронил:

— Что-то неважная пришла на тебя аттестация из управления. Тем не менее решили тебя поощрить. Что у тебя там за истории одна за другой?

Николай Сергеевич коротко, чуть подробнее, чем это было зафиксировано в трудовой книжке, доложил о своих злоключениях и перемещениях по службе.

— Теперь командую портовым буксиром, — закончил он и умолк.

Заместителю лаконичность его понравилась. Он подумал: делал все, что мог, поэтому нет охоты оправдываться. И попросил повторить все сначала. И теперь уже задавал наводящие вопросы.

— Разберусь, — заключил он. И добавил уверенно, веско: — На будущий год получите новый «гэээс», финской постройки — будет твой.

О разговоре его с заместителем скоро узнали в конторе: из министерства начальнику был звонок. Николаю Сергеевичу откровенно завидовали: надо же, каким оказался проворным, ходким! Каждый в конторе считал своим долгом поздравить его.

А он, принимая поздравления, говорил:

— Спасибо тому молодцу, который треснул меня пипкой от шланга.

АНАТОЛИЙ ИВАНЕН

ЧЕЛОВЕК КОВАЛ ЖЕЛЕЗО

Человек ковал железо,
мать к нему пришла:
— Сын, ты руки не порезал,
как твои дела?

Человек ковал железо,
вдруг пришла жена:
— Муж, дай денег на отрезы
ситца и сукна!

Человек ковал — и жаром
полыхал металл...
Сын пришел: «Отец, ты старым
и горбатым стал...

Нужен меч твоей закалки,
кованный тобой...
Враг стоит на речке Калке,
принимаю бой!»

Пусть мой труд песком заносит
всех земных пустынь...
Взглянет мать. Жена попросит.
А похвалит — сын...

* * *

А мама раньше так не пела...
Молчала больше, вся в делах.
А тут вдруг сердце отболело,
вся жизнь в единый миг всплыла.

Поет легко и голосисто,
и песня за душу берет...
Так могут петь весною птицы,
свершив далекий перелет.

ЗИМА — КАК ПРАЗДНИК

Зима — как праздник. Клен, красуясь,
стоит, сосульками звеня.
Я лыжной палкою рисую
лихого белого коня.

И вот, когда рисунок кончен
и я совсем закоченел, —
сметая снег с крутых обочин,
цыган промчался на коне.

Изобразил я коромысло
и два ведра, как два узла, —
и вмиг, прочтя чужие мысли,
с водою женщина прошла.

Тогда, постигнув суть закона,
нарисовал на полотне
твой профиль, и с крутого склона
мой сын спустился по лыжне...

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

* * *

Вот снимок — застолье. Военный встает
со стопкой, наполненной водкой.
Он сорок девятый приветствует год.
С улыбкой. Они — одногодки.

Графины. Фужеры. Какая-то снедь
и скатерть. А что за наряды
и плечи! Ах, лучше б совсем не иметь
таких фотографий. Снаряды

уже отсвистели. А нас еще нет.
Но те же все стулья и кресла,
часы, этажерка и пачка газет,
с трюмо лакировка облезла.

И если б из комнаты той, через дверь,
которой уж нет, мы прошли бы
в прихожую, ставшую шире теперь, —
увидеть шинели могли бы,

с погонами и без погон, и, надев
любую, почувствовать ворот,
спуститься, дверные цепочки задев,
в нетопленый призрачный город.

НОЧЬ

Шепот ночной, задыханья, безумства какие!
Мокрый ли сад в приоткрытую форточку дышит?
Что же лежим-то мы к этим стенаньям глухие,
не наглядимся, как воздух вискозу колышет?

На подоконнике — чашка, в руке — сигарета.
Дым, расплетаясь, потянется зыбким узором
к двери, сквозящей в потемках полоскою света,
и, уносимый, туманным пройдет коридором

в сад, где и знать не хотят о любви и объятьях,
о полудреме, где все шелестят и слетают
листья, столетья проводят в подобных занятьях —
штопают что-то, кроят они что-то, латают.

ВЕРА МИРОПОЛЬСКАЯ

СЛЕД ЛУНЫ

Разворачиваются послушные буксиру тяжело нагруженные баржи. Неожиданно тонким серебристым звоном отзываются воздушные бортовые отсеки на прикосновение взъерошенных волн, будто не стальная махина погладила пенистые гребешки против течения, а крохотные колокольчики зазвенели в потревоженной глубине озера.

Мы покидаем Култук — поселок у подножия гор, расположенный как раз в том месте, где упирается в Саяны южный рог Байкала. Все дальше отступает от нас грузовой причал транспортно-перевалочной базы — точка, от которой фактически начинается ЛенБАМстрой.

День клонится к вечеру. Плаксиво-хриплые крики чаек оглашают воздух. Сливаются, отдаляясь, в единое красное пятно поддоны с кирпичом и контейнеры, ожидающие своей очереди на погрузку. Превращаются в суетливых букашек снующие по пирсу автомобили. И вот уже кажется, что высоченные башенные краны стоят прямо в воде, словно гигантские сторожевые птицы с печально опущенными длинными клювами.

Мы идем к мысу Курлы в северный рог Байкала. Несколько чаек, видимо решивших собрать с нас отходную дань, кружатся над кормой, провожая нас в путь. Одна, пенисто-белая, пролетает прямо над моей головой, и я хорошо вижу ее лапки, прижатые к пушистому брюшку. Взметнувшись ввысь, чайка издает резкий печальный крик и летит прочь.

— Интересно, о чем она кричит? — спрашиваю я, рассматривая красивую птицу.

— Плачет. Любимого зовет. Никак не может его найти, — откликается Николай Федорович.

Я радостно настораживаюсь, улавливая, что за словами старика бурята стоит какая-то тайна. Но я не решаюсь спрашивать. Таинственное всегда лучше воспринимается к вечеру, когда всюду начинают скользить неясные тени и все вокруг наполняется трепетом беззвучной борьбы тьмы и света. И я недовольно поглядываю на еще яркое к закату солнце, которое в спокойном бесстрастии взирает на величие гор и царственную ширь озера.

— Тихо сегодня, — говорю я. — Даже не верится, что здесь когда-нибудь штормы бывают.

— Бывают, — снова откликается Николай Федорович. — Если сорвется култук — держись... По прошлому году баржу перевернуло. Людей спасли, а груз весь на дно ушел, как не было. Вот до чего култук разыгрался.

Я вспоминаю, что на берегу крановщик Леша тоже рассказывал, как груз ветром заносит, стропы рвет, работать нельзя. И тоже говорил: «Когда сорвется култук...» Здесь никто не скажет: веет култук или дует. Култук почему-то всегда срывается. И я спрашиваю Николая Федоровича:

— Что значит «култук»?

— Дух злой. Высоко прячется в ущельях. А как сорвется вниз в горный распадок, где поселок стоит, так будто в трубу воет. Вырвется на простор и ну лютовать по Байкалу. Что на пути попадет — в клоки рвет, переворачивает. Злой очень.

— Отчего ж он такой злой?

— А кто знает? Разные про то слухи ходят. Ученые свои причины ищут, старые люди другое говорят, свое.

— Что ж старые люди говорят?

— Да разное... Кто что... — нехотя отвечает Николай Федорович и надолго замолкает.

Шкипер Олег Григорьевич, молодой широколицый парень с добрыми голубыми глазами, приказывает матросу наколоть дров, намекая таким образом, что пора позаботиться и об ужине. Помимо экипажа баржи — шкипера, моториста и матроса — в рейсе оказалось довольно много сопровождающих грузы, в основном личные автомашины, которые установлены поверх железобетонных плит и поддонов с кирпичом, предназначенных для строителей Северобайкальска.

Вскоре мы все тесно усаживаемся на корме вокруг длинного деревянного стола. Вспоротые консервные банки с рыбой, пересоленная гороховая каша, оставшаяся от обеда и теперь наскоро

разогретая, ломти нарезанного по-мужски хлеба — все это быстро исчезает под натиском девяти проголодавшихся человек. Чай пьем по очереди за нехваткой посуды.

На Байкал осторожно спускаются серые сумерки. Мужчины один за другим натягивают теплые свитера, куртки. Моторист вытащил откуда-то тяжеленный бараний тулуп, застелил скамейку. Сидеть стало теплее, уютней.

— Может, у вас и валенки есть? — подшучивает Иннокентьич, бульдозерист из Нового Уояна. — Я с удовольствием кости бы погрел.

Всячески стараясь услужить Николаю Федоровичу, я наливаю ему покрепче чай, предлагаю сгущенку, сахар и, наконец, как бы невзначай, спрашиваю:

— Интересно, а что все же старые люди про култук говорят?

— Всякое болтают. Кто во что горазд... А вот в Старом Уояне тунгуска одна жила. Вернее, не тунгуска она, а замуж за тунгуса вышла. Он ее из наших, из бурятских, взял, хотя у тунгусов это не полагается. Я-то ее уж старухой видел, а, говорят, красивая была очень. Потому и взял ее тунгус против обычая. Да... Красота любой закон сломать может... Так вот она рассказывала — заслушаешься.

— Николай Федорович, голубчик, расскажите, пожалуйста...

— Да я не сумею так... Тунгуска больно хорошо говорила. Только не упомнить все, где же...

— Ну хоть что помните, а? Ведь интересно как!

Николай Федорович отхлебывает очередной глоток чая, потом долго смотрит на звезды.

— Что за история? О чем? — интересуются остальные.

И Николай Федорович, будто читая в небе или вспоминая, медленно начинает рассказывать:

— Не было еще людей на земле, а Добро и Зло уже столкнулись друг с другом.

Я догадываюсь, что это уже начало легенды, ловлю каждое слово и уже заранее жалею, что позже, когда я буду по памяти записывать услышанное, я не смогу передать ни той мелодичности рассказа, ни своеобразной прелести бурятского акцента, который не изменяет ударений и слов, а только делает их мягче, и от этого мягкого произношения сами слова кажутся добрей и душевней.

— Жили в наших краях бог Зла красавец Бурэ и богиня Добра Яты. В том месте, где теперь поселок Култук, стоял раньше утес. Тоже Култук назывался. Был он выше и старше всех горных утесов, и оттого на верхнем его уступе собирались раз в году все боги, все добрые и злые духи этого края. Устраивали здесь

свое веселье, танцы. Вот тут-то и увидала впервые красавца Бурэ богиня Добра Яты.

Яты была доверчивой и хрупкой, а Бурэ — надменный и сильный. Его большие черные глаза слишком бесцеремонно разглядывали стройную Яты и зажигались огненным блеском. Этот блеск ослепил юную Яты, а жар его проник в ее сердце. И сердце Яты затрепетало.

Довольная усмешка играла на красивых губах злого Бурэ, а добрая наивная Яты приняла ее за улыбку. И обрадовалась, что эта улыбка обращена к ней, и, смутившись, закрыла свое лицо золотистыми нежными кудрями. Но вот, только-только запели струны и затрубили рога, извещая начало игрищ и песен, подхватил Бурэ смущенную Яты, закружил огненным танцем, и покорно опустились ее веки под властным блеском его жаркого взгляда.

Когда кончился танец, на глазах у всех увел злой Бурэ добрую Яты в ущелье. И все были удивлены, но никто не сказал ни слова, потому что сама Яты не оттолкнула Бурэ, а послушно шла с ним рядом.

Целый месяц скрывались Бурэ и Яты в ущелье, и никого им было не надо. Но вот однажды, гонимая жаждой, забрела в то ущелье волчица и стала пить из горного ручья воду. Яты, увидав с обрыва волчицу, показала на нее Бурэ и приложила к губам палец, чтобы ее друг молчал и не спугнул зверя. Но одним прыжком Бурэ — а он был молодой и сильный — спрыгнул с обрыва и свернул шею волчице, а потом с хохотом швырнул ее о камни.

Страшно вскрикнула бедная Яты, впервые распознав злую душу коварного красавца. Со слезами бросилась Яты к телу волчицы, но та уже умирала. Смеясь, Бурэ пытался утешить Яты и поймал для нее летевшую мимо птицу. Но Яты стала умолять Бурэ, чтобы он отпустил птицу. И в мольбах Яты была еще прекрасней, чем прежде, и Бурэ это заметил и запомнил.

Напрасно придумывала потом Яты разные способы смягчить злое сердце Бурэ и сделать его добрым. Когда порой ей казалось, что она добилась уже в этом успеха, Бурэ внезапно скидывал с себя притворную добрую маску и с дикой яростью учинял на глазах у Яты новую жестокость. У Яты опускались руки, ее доброе сердце сжималось от боли. Тогда она решила покинуть Бурэ, чтобы не видеть зла, которое он творил. Но Бурэ не хотел расставаться с доброй доверчивой Яты, всюду преследовал ее и мучил. Не было для него большего счастья, как увидеть на глазах ее слезы, не было для него лучшего наслаждения, как услышать ее мольбы о пощаде. Ведь в такие минуты Яты стано-

вилась дивно прекрасной! А когда Яты от Бурэ убегала, он догонял ее и уверял, что исправится и станет добрым. А сам потом вновь принимался за свои злобные свирепые шутки.

Отчаявшись, Яты прибежала к утесу, на котором впервые увидала Бурэ.

Бросилась она к утесу, стала кричать и плакать и стучать в его каменную грудь:

— Ты, огромный страшный Култук, виноват, что познала я зло и коварство жестокого бога Бурэ, ты и спаси теперь меня от его ужасных объятий!

Хоть и каменное было у Култука сердце, но и оно не устояло при виде прекрасной богини. Поднял старый Култук несчастную Яты и укрыл на своей груди в глубокой каменной пещере. А чтобы Яты не скучала и не вспоминала красавца Бурэ, Култук собрал в эту пещеру много драгоценных камней, которые светились цветными лучами и издавали приятные мелодичные звуки.

Яты очень нравилось играть разноцветными камнями и вслушиваться в их перезвоны. Но вскоре она почувствовала в своем сердце тоску. Она уже поняла, что доброта ее не может существовать сама по себе. Доброта существует, когда борется со злом, когда у нее есть надежда исправить зло или смягчить его злую силу. А в этой пещере, наполненной драгоценными камнями, некого было исправлять, не с кем было бороться. И Яты начала тосковать все больше и больше.

Старый Култук, заметив ее невеселье, испугался, что Яты покинет его. Чтобы развлечь Яты, Култук показал ей новую игрушку — большое круглое зеркало. Зеркало из чистого серебра светилось мягким голубоватым светом. Ах, как понравилось это зеркало красавице Яты! Она протянула к нему руки, но Култук сказал:

— Я отдам тебе зеркало, если ты полюбишь меня!

Удивилась добрая Яты.

— Разве можно полюбить камень? — спросила она тихонько и, смеясь, ушла из пещеры.

Злобно взвыл Култук и стал швырять вслед Яты драгоценные камни. Но она даже не оглянулась. И тогда разбил Култук серебряное зеркало о свою каменную голову. Оно разлетелось на множество мелких кусочков. Только один большой двурогий осколок упал к ногам горного великана. А Култук все дрожал от ярости и плевался огнем. В конце концов треснула его каменная грудь, разорвалось его каменное сердце, полыхнув целым столбом пламени. Рухнул Култук на землю, рассыпался мелкими камнями, а злой дух его унесся к вершинам соседних гор и, свернувшись клубком, спрятался там в ущелье.

На весь этот грохот и шум прилетел любопытный бог Зла красавец Бурэ. Он очень скучал. Почернел, похудел и был грустный, потому что долго не видел своей любимой жертвы, нежной и доброй Яты. Какое удовольствие вершить зло, если добро этому не ужасается и если никто от этого зла не пытается удержать?

И тут заметил Бурэ свою ненаглядную Яты, которая сидела, склонившись над двурогим осколком зеркала. Когда услыхала она его призывный насмешливый голос, вновь вспыхнула в ее сердце надежда, что сила добра победит зло терпением и лаской.

С радостью бросились они друг другу в объятья и долго кружились в вихре надежд и желаний, хотя они у них были и несхожи. От этой безумной страсти родилось их первое детище — златоглазая огненная Ночь с черными длинными кудрями.

День за днем Ночь становилась прекрасней. Она носилась по горным откосам и вершинам, воспламеняя все вокруг жарким дыханьем, опутывая всех черным шелком кудрей, очаровывая светом золотых глаз. Все боги и духи признали Ночь богиней богинь и поклонялись ее красоте. Только злой дух Култук, притаившийся высоко в горном ущелье, ждал часа, чтобы погубить красавицу Ночь и тем отомстить ее матери Яты, которая отвергла его прежде, когда имел он не только свою душу, но и могучее каменное тело.

Добрая Яты вовремя уловила злое дыхание Култука, подстерегавшего ее дочь. Яты закутала огненное тело дочери черными кудрями с головы до ног и велела ей покинуть родные края. Прощаясь, Яты подняла у подножия гор двурогий осколок серебряного зеркала, от которого по-прежнему разливался мягкий голубоватый свет.

— Лети, милая Ночь, к небу и держись лучше от земли подальше. Ты, дочь Добра и Зла, не можешь жить с нами, потому что сами живем мы в вечном раздоре. Но чтобы чаще вспоминала ты о Добре, возьми на память этот осколок. По его свету узнаю я, где ты пролетаешь.

С тех пор летает Ночь по небу, закутавшись в черные кудри, и смотрит сквозь них на землю золотыми глазами. Иногда надевает она двурогую серебряную корону, от которой идет к земле ласковый голубоватый свет. Эта корона — осколок серебряного зеркала. А в том месте, где лежал этот осколок у подножия гор, остался вытянутый двурогий след.

Злой Култук, упустивший с земли красавицу Ночь, ненавидит все, что ему о ней напоминает. Он сдувает с гор снег и старается засыпать след зеркала. Но снег тает, наполняя след прозрачной

водой, и на его месте образовалось красивое двурогое озеро, которое тоже светится мягким голубоватым светом и напоминает злому духу о разбитом зеркале, о богине Добра Яты, о злом боге Бурэ и об их огненной беглянке дочери.

Добро и Зло с тех пор неразлучны и вечно стараются пересилить друг друга. А с гор к двурогому озеру спустились люди. Были они смуглы и черноволосы, и разрез их глаз напоминал луну, хотя глаза были темны как ночь и сверкали затаенным огнем. Говорят, что это дети Бурэ и Яты. Возможно.

Озеро, которое заполнило в горах след от осколка серебряного зеркала, огромно, как море, но нигде больше нет такой вкусной свежей воды.

Злой дух Култук по-прежнему прячется в горных ущельях, но, когда голубое двурогое озеро напомнит ему вдруг блеск разбитого зеркала, срывается Култук с гор и набрасывается на озеро с лютой злобой, словно хочет задуть, загасить нестерпимый блеск, расплескать ненавистную голубую воду Байкала.

Но больше всего ненавидит Култук женщин. Темноволосых считает он родными сестрами убежавшей от него огненной Ночи. Златокудрые напоминают ему хрупкую, нежную Яты, не пожелавшую разделить его каменной любви. Может быть, поэтому капитаны и шкиперы не любят брать в рейсы по Байкалу женщин — не хотят лишний раз дразнить злого духа.

Николай Федорович умолкает. Под впечатлением услышанной легенды никто из нас не решается прервать наступившую тишину. А ночь, разметав над Байкалом свои черные кудри, утопила в них прибрежные скалы, спутала в один темный клубок верхушки кедров и сосен. Но не может она победить стальной блеск ночного Байкала, который спорит с сиянием голубой двурогой короны, плывущей высоко в небе. Может, и правда — это осколок серебряного зеркала, который лежал когда-то здесь, на дне озера?

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИКОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЛЬИНКУ

Шурка знал и умел многое.

Умел разводить аквариумных рыб, фотографировать, стрелять из рогатки, ходить на руках и выше всех запускать бумажного змея. Знал флаги всех стран, устройство подводной лодки, знал, как варят мыло и выращивают кроликов.

Шурка белобрысый и вертлявый, как обезьянка. Лицо у него в мелких рыжих конопушках, будто высыпали пригоршню пшена и оно прилипло. Он непрерывно что-то придумывал и впутывался в неприятные истории.

У Ивана не было таких способностей, но это не мешало ему дружить с Шуркой. Иван не такой начитанный, соображает медленно и туго, зато силы у него — на четверых. Грудь Ивана, как у штангиста, квадратная. Лучшего помощника в бесчисленных проделках, которые изобретал Шурка, вряд ли можно придумать. Под пытками не выдаст. Кремень, а не человек.

Учатся друзья в шестом классе.

Недавно Шурка пришел к Ивану и говорит:

— Пойдем летом в путешествие!

— В турпоход? — не понял Иван.

— В настоящее путешествие. Смотри.

Шурка достал из кармана мятую бумажку, развернул и принялся объяснять. На бумажке чернильным карандашом был изображен маршрут будущего путешествия. Его контуры напоминали морду носорога.

— Покупаем лодку, удочки, палатку — и плывем. Из Донца в Дон, из Дона в Таганрогский залив, дальше Азовское море. Идем вдоль побережья, пересекаем Керченский пролив — и мы в Черном море!

Объясняя, Шурка даже покраснел от возбуждения, потом вскочил на табуретку и, размахивая руками, стал орать:

— Право руля! Так держать! Тридцать тысяч чертей!

— А где мы возьмем лодку? — спросил недоверчиво Иван. Он всегда соображал туго.

— Я же говорю — купим. Сколько тебе мать дает в школу?

— Тридцать копеек.

— И мне тридцать. За два месяца наберется тридцать шесть рублей. Заведем копилку и будем собирать. Кроме того, продадим на базаре мой фотоаппарат.

— Ты что, спятил? Тебе родители голову оторвут, если узнают.

— Не оторвут. Фотоаппарат мой — что хочу, то и делаю.

— А кто нас одних отпустит? — упорствовал Иван. Но Шурка видел — идея приятелю понравилась и сопротивляется он по привычке.

В воскресенье пошли на базар. Народу — не протолкнуться. Чем только не торговали здесь! В длинных павильонах с треугольными крышами продавали мясо, желтых общипанных кур, пласты белого сала. Друзья двинулись дальше — на толкучку. На толкучке торговали одеждой, обувью, продавали мотоциклы, бочки, полосатые тюфяки, голубей, аквариумных рыбок, живых поросят, которые визжали и бултыхались в завязанных мешках. На брезенте старик-инвалид разложил топорища и грубо раскрашенные деревянные ложки.

— Кто будет кричать? — спросил Шурка.

— Что кричать? — вылупил глаза Иван.

— Ты что, с луны свалился? Кто же у тебя товар возьмет, если кричать не будешь? Кричи: «А вот фотоаппарат, кому фотоаппарат, зверь, а не фотоаппарат, навались, не ленись. . .»

Кричать Иван решительно отказался, и Шурка понял — уговаривать бесполезно. Так и стояли они молча, держа в руках старенький «ФЭД».

Стояли долго. Они уже совсем потеряли надежду, но тут подошел высокий толстый дядька и спросил:

— Неворованный?

Долго вертел в руках, клацал затвором. Шурка махнул рукой и отчаянно сказал:

— Берите за двадцать! — Помолчал и неуверенно добавил: — Себе в убыток. . .

Дядька расхохотался и отсчитал серые морщинистые рублевки.

Здесь же подвыпивший мужичок продавал гипсовые копилки. Копилки разные — коты, свинья, белые медведи, лежащие на ярко-зеленой траве.

— А почему белый медведь лежит на траве? — строго спросил Шурка.

Мужичок долго соображал, раздумывал и наконец неуверенно ответил:

— А он это. . . зелень любит.

Медведя Шурка забраковал, и они купили кота с глупой и удивленной физиономией. Бумажки разменяли в ларьке с газированной водой и мелочь загрузили в копилку. Копилка сразу отяжелела.

Шурка путем каких-то сложных обмеров и расчетов установил, что в копилку, если ее наполнить доверху, влезет ровно двести рублей, копейка в копейку.

Они перестали завтракать в школе. Деньги, которые родители выдавали в воскресенье на кино, тоже сыпались в гипсового кота.

Будущее путешествие содержалось в строжайшей тайне, и, чем больше сыпалось в копилку гривенников, тем сильнее эта идея захватывала приятелей. Шурка не жалел красок, расписывая соблазнительные картины их летней жизни.

Полная свобода! Захотел искупаться — пожалуйста! Раздевайся догола и прямо с лодки — бултых! Лодку покрасить в ярко-зеленый цвет, по борту пустить белую полоску, на ней название — «Вихрь» или «Романтик».

Иван, как обычно, заупрямился. Он хотел назвать лодку «Водолаз».

В их воображении уже виделись берега, поросшие лесом, билась и трепетала пойманная рыба, струился желтый дым от костра, в котелке аппетитно булькала уха. Днем они будут плыть, а вечером приставать к берегу, разбивать палатку и ночевать. Утром будут купаться в прозрачной, как стекло, воде.

Копилка наполнялась медленно. Друзья слонялись по лодочным станциям и спрашивали — не продается ли лодка? Лодки не продавались. В спортивном магазине стояли большие металлические катера, но стоили они так дорого, что об этом нечего было и думать. . .

После тщательных раздумий выяснилось, что поездка по двум рекам и морю займет не меньше тридцати дней. Все это время нужно есть и пить. На одну провизию уйдет около шестидесяти рублей. Да еще палатка, удочки, охотничий топорик, подводное

ружье, не говоря уж о главном — лодке. Кастрюли и ложки можно взять из дому.

Гипсовый кот мяукнул и развалился под мощным ударом молотка. В копилке оказалось всего сорок рублей.

В конце концов они плюнули на все и купили подводное ружье. Потом приобрели спиннинг, охотничий топорик и ласты.

Ружье красивое — малиновый ствол и ручка из нержавеющей стали. Тяжелое, остроконечное копье.

Пробовали ружье в саду у Ивана. К великому их огорчению, копье пролетало не больше десяти метров, и то как-то нехотя. На суше оно оказалось совсем бесполезной штукой, и друзья приуныли. Топорик и спиннинг тоже негде было применить.

Но белобрысая Шуркина голова работала безотказно.

— Лодку угоним, — заявил он. — То есть, конечно, не насовсем. Пригоним ее обратно и поставим потихоньку на место. Никто и не узнает.

— А ты знаешь, что за такие штуки бывает? — насупился Иван. — И посадить могут. В трудовую колонию, как малолетних преступников.

— Я тебе говорю: это будет не воровство, просто возьмем на время, а потом вернем, понимаешь? Лодочную станцию в Ильинке помнишь?

— Помню.

— Ну вот. Лодок там — видимо-невидимо. Вечером садимся на автобус и едем в Ильинку. Дождемся темноты и, когда никого вокруг не будет, столкнем лодку в воду — и айда. За ночь сделаем по течению километров тридцать, вытащим лодку на берег, замаскируем в лесу и будем ждать. Когда придет время ехать — не хотите ли прокатиться? — Шурка поклонился и развел руками, и получилось это так уморительно, что Иван не выдержал и покатился со смеху.

— А как мы на ночь из дому уйдем? Кто нас одних отпустит?

— Ты скажешь своим, что будешь ночевать у меня, а я — у тебя. Никто и не подумает проверять.

Нашли в Ивановом саду две легкие, сухие доски, смастерили весла — грести. Зимой на лодочной станции весла прячут в сарай и закрывают на замок, чтобы не украли лодку. Весла получились легкими и удобными, и, если обернуть их газетой, никто не догадается, что у них в руках.

Как-то счастливо получилось, что их ни в чем не заподозрили и отпустили друг к другу ночевать. Это была удача.

И вот они уже стояли на автовокзале, втянув шеи в поднятые воротники. Конец марта, снега почти нет. А тот, что еще остался,

лежал на земле синими ноздреватыми лепешками и медленно умирал. В воздухе висели чернильные сумерки.

На остановке ждали автобуса несколько пожилых женщин с мешками, сетками, зелеными ведрами. Стояли дед и два молодых парня.

Шурка отвел Ивана в сторону и шепотом предупредил:

— Про лодку — ни слова. Не исключена слежка.

— Кто следит? — изумился Иван. — Что ты выдумываешь?

— А я тебе говорю, могут следить, — настаивал Шурка. — Если кто спросит, куда едем, имей в виду — к родственникам. Понял?

Поехали. Маленький автобус тарахтел и подпрыгивал, как телега. Скоро кончились огни города, дорога пошла через поля, окрестные рощицы, только мелькали огоньки заправочных станций да иногда маленьких деревенек.

— Тетя Валя, наверно, уже дома, — вызывающе говорил Шурка, чтобы все слышали.

— Наверно, и дядя Сережа пришел, — уныло поддакивал Иван.

А Шурка незаметно толкал локтем друга — правильно, так держать!

Шурка представлял, что они разведчики и по приказу советского командования едут на ответственное задание — взорвать мост. Мост усиленно охраняется. Они должны ликвидировать часового. Ползком пробираются к мосту. Резкий взмах, и нож, брошенный безотказной Шуркиной рукой, вонзается часовому в спину. Часовой беззвучно опускается в снег. Укрепить мину, завести часовой механизм — дело техники. Задание выполнено блестяще. Шурку и Ивана награждают. Выступая на митинге в их честь, Шурка скажет:

«Дорогие товарищи, мы сумели выполнить это ответственное задание только потому, что его поручила нам наша Советская родина. Мое участие в этой операции не было главным. Если бы не мой друг Иван, я не справился бы с этой задачей. . .»

Иван скажет:

«Мой товарищ скромничает. Это он обезвредил часового. Это он установил часовой механизм и сумел. . .»

Две знаменитости — Шурка и Иван.

Шурка мечтал так яростно, что даже потел. Представляя подробности будущей «операции», он сжимал в кармане рукоятку игрушечного пистолета, который захватил на всякий случай и скрывал от Ивана.

Автобус остановился.

— Кажется, приехали, — сказал Шурка.

Слово «приехали» получилось неожиданно тонким и писклявым. Будто во рту у Шурки провели наждачной бумагой — так пересохло.

Они вышли из автобуса и поплелись в конец села — к реке. Совсем стемнело. Днем было тепло, снег таял на глазах, а сейчас резко и неожиданно похолодало, лужицы затянуло тонким ледком, и он коварно лопался под ногами.

Они шли, прижимаясь к заборам, чтобы никто не заметил. Улица убегала вниз, извиваясь и петляя. В деревянных избах уютно светились окна, где-то по-домашнему брехала собака, ветерок носил по воздуху вкусные запахи.

Прошли метров двести и остановились. Услышали, как затарахтел мотор, зафыркал, лязгая железяками, и звук этот делался постепенно все тише и тише, пока совсем не растаял. Автобус укатил в город. Последний. Вокруг чужое село, холод, а впереди — ночь.

Они побрели, вздрагивая от треска льда под ногами, прижимая к себе завернутые в бумагу весла.

На берегу — ни души. Тихо плещется черная вода. Стало еще холоднее. Пошел мелкий снег, тонко засвистел ветер, задул, закрутил белую крупу, швыряя в лицо.

Лодок и в самом деле — видимо-невидимо. Пузатые баркасы, перевернутые вверх дном, шлюпки и плоскодонки. Лодки деревянные, металлические, пластиковые. Узкие, как щучки, челноки — суденышки легкомысленные и неустойчивые. Метрах в тридцати от берега светился внимательный глаз сторожки. Избушка на курьих ножках.

— Лодки привязаны, — прошептал Шурка. — Давай искать непривязанную. Только тихо. И на сторожку поглядывай.

— А ты говорил, что сторожа ночью спят, — зло прошипел Иван. — Не будет он спать, это я тебе точно говорю.

Мальчишки осторожно, на корточках переползали от одной лодки к другой, но все они были намертво прикованы толстыми цепями.

— Ложись! — вдруг испуганно сказал Шурка. — Кажется, сторож!

Они упали и животами вдавились в снег.

Иван слышал, как гулко бухает у него сердце, колотится о ребра и со страху хочет выскочить наружу. И, пока они лежали, десятки мрачных мыслей и жутких картин пронеслись в голове Ивана, с быстротой молнии сменяя одна другую.

«Поймают!» — с ужасом думал он. Ему впервые стало по-настоящему страшно. Он уже проклинал себя за то, что согласился на эту поездку, ему хотелось домой. Напился бы чаю, посмотрел

телевизор — и спать в привычную теплую постель. А сейчас ночь, темень, холод, и самое главное еще впереди. Но пугал его больше всего страх попасться. Все узнают, что Иван — вор. Посадят в милицию, а может, и в тюрьму. И все — в школе и на улице — будут кричать: «Иван вор! Иван вор!» А какой он вор, он ведь просто так, да и лодку они собирались вернуть, а не присвоить насовсем. Ведь никому этого не объяснишь, так и скажут — вор и негодяй!

Иван думал: «Нужно сейчас сказать Шурке, что он, Иван, не согласен и не нужно воровать никакой лодки, а подумать хорошенько и добыть как-нибудь по-другому. Он у дядьки в крайнем случае попросит денег, да если все как следует объяснить родителям, они тоже поймут и помогут. И все будет хорошо. А если Шурка откажется, так прямо и сказать ему: «Я не хочу воровать никакой лодки, не хочу попадать в трудовую колонию, и пошел ты к черту со своей лодкой и со своим путешествием. А если будешь смеяться надо мной и издеваться, я тебе морду набью. Вот так».

Но Шурка ошибся — сторожа не было.

Ветер уже не посвистывал тихонько, а выл, как затравленный волк. Он буйно гулял по улицам, злобно стучался в окна домов, где было тепло. Закрытые двери хранили это тепло и не пускали ветер, и он бессильно и обреченно летел дальше, гнул деревья, ухал в печках, как домовой, на мгновение затихал, притаившись, и с новой силой обрушивался на село. Повалили крупные хлопья снега, закружились в воздухе. Они снижались и снова взмывали и, наконец, обессилев, плавно ложились на землю.

Все стало мертвенно-белым, и эта белизна, и ветер нагнали такого страху на приятелей, что они почти забыли, зачем их принесло сюда. Они перебирались от лодки к лодке уже просто так, без всякой видимой цели. Окоченевшими руками равнодушно дергали цепи, проверяя — привязана лодка или нет.

У Шурки в голове крутилась одна-единственная фраза: «Хоть бы не найти, хоть бы не найти. . .»

Он даже не мог себе представить, что будет, если они найдут лодку. Плыть? А куда? Неизвестно куда, по этой черной холодной воде, много километров. Да и доплывут ли они? А вдруг лодка перевернется? Что тогда? Никто не услышит — кричи не кричи. Сколько километров до ближайшей деревни? Пятьдесят? Сто? А вдруг родители обнаружили, что их нет, и кинулись искать?

И Шурке стало так жалко себя, что, если бы не друг, заревел бы сейчас в голос. Он знал — если они найдут лодку, придется

плыть. Отказаться невозможно — это значит раз и навсегда опозориться в глазах Ивана, показать себя трусом.

Они уже потеряли счет времени. Сколько прошло — час? Или два? С трудом перебирали закоченевшими ногами и непрерывно дышали в ладони — пытались согреться.

— Я не могу больше, — сказал Иван. — Замерз.

— Ничего, найдем, обязательно должны найти, — бормотал Шурка. А про себя думал: «Не найти бы, не найти бы. . .»

Осталась последняя лодка. Шурка дернул цепь, и она спокойно подалась, выползла из-под снега, извиваясь, как гадюка. Шурка покосился на Ивана — заметил или нет? Если не заметил, можно сказать, что лодка привязана, и делу конец. Но Иван заметил.

— Отвязана, — обреченно выдавил Шурка. Он уже не чувствовал ног, они были деревянными. Наверно, отморозил.

Сели у этой злополучной лодки, прижались друг к другу и замолчали. Никто не решался заговорить первым. Шурка потому, что сказать мог только единственное — «Ну что, поплыли?» Иван молчал, потому что боялся: если он откажется плыть, Шурка его засмеет или обругает. Или еще хуже — поплывет один.

Сидеть и молчать становилось уже стыдно, но оба как в рот воды набрали.

«Утонем! — в ужасе думал Иван. — И утром найдут где-нибудь на берегу два синих, замерзших трупа».

И тут впервые в жизни, несмотря на то что он всегда медленно и туго соображал, ему пришла в голову спасительная мысль.

— Шурка, — тихо сказал Иван, — мы не доплывем сейчас, замерзнем. Давай зайдем в сторожку и скажем, что опоздали на последний автобус, а ночевать нам негде. Согреемся, а ночью, когда сторож заснет, выйдем и поплывем.

И подумал: «Только бы в сторожку зайти, а там видно будет. Ляжем спать, а если Шурка захочет снова идти, я его не пущу».

— Пожалуй, ты прав, — сказал Шурка. В душе он страшно обрадовался. Ему захотелось обнять Ивана и расцеловать. Они были спасены!

Сторож, которого они недавно так панически испугались, казался сейчас милым и добродушным старичком. Шурка представлял его так: длинная седая борода, прокуренные усы и двустволка за плечами. Мохнатые, как у деда-мороза, брови. Тулуп и рыжие, необъятные валенки.

В избушке горел свет. Иван робко постучал.

— Стучи сильнее, — приказал Шурка. — Не слышит.

Им не открывали.

Шурка заколотил в дверь ногой. Неожиданно свет в избушке

погас. В сенях что-то зашуршало, как будто возились крысы, и послышались звуки, похожие на всхлипы.

— Откройте! — громко крикнул Шурка. — Мы опоздали на последний автобус!

— Нам негде ночевать, — добавил Иван. — Мы замерзли.

Возня за дверью прекратилась.

— А вы не воры? — спросил тоненький плачущий голос.

— Девчонка! — изумился Шурка. — И кажется, маленькая.

— Мы не воры, — доказывал Иван, — мы школьники.

— Мне мамка не велела открывать, — пропищало за дверью.

— А где твоя мамка? — обозлился Шурка. — Пусть она сама подойдет, люди ведь замерзают.

— Я за нее. Мамка заболела, дома лежит.

Они упрашивали, умоляли, требовали, канючили, грозили замерзнуть.

— Поклянитесь, что вы не воры! — потребовала дверь.

— Клянемся!! — заорали похитители.

— Скажите — кто неправдой живет, того бог убьет!

— Кто неправдой живет, того бог убьет!!

Дверь открылась. В темноте кто-то цепко схватил Шурку за руку и потащил за собой. В избушке на курьих ножках было две комнаты. Первая, небольшая, завалена веслами, кучами серых пенопластовых поплавков, на стенах — рыбацкие снасти. Стояли бочки с варом, валялись обрезки досок и серо-зеленые плиты жмыха — прессованные отходы от семечек. Сети не растеряли за зиму сильный, острый запах рыбы. Свет проникал сюда из соседней комнаты, и все предметы выглядели таинственно и заманчиво. Обстановка настоящей рыбацкой хижины — такие вполне могут быть на неведомых островах Тихого океана.

В сторожке стояла тропическая жара. Во второй комнате крякали поленья. Здесь были только беленая известью печка, широкий деревянный топчан с наваленными фуфайками и хромой, некрашеный столик. На печке шипел и плевался алюминиевый чайник.

Хозяйке избушки было лет семь. Обвисшая, не по росту кофта и малиновые байковые штаны делали ее смешной и неуклюжей. Бесцветные волосы были взъерошены и воинственно торчали по сторонам, как солома.

Шурка вежливо поздоровался. Иван в знак приветствия шмыгнул носом.

— Здравствуйте, — ответила хозяйка и представилась: — Меня зовут Анька.

Она пригладила волосы, подтянула штаны и засмеялась. Потом смахнула с топчана фуфайки и поманила друзей пальцем.

— Садитесь, гостями будете.

От печки тянуло жаром.

— Сейчас сушиться будем, — деловито сказала Анька и посмотрела на мокрые башмаки приятелей.

Она забегала по комнате, как уточка переваливаясь и поминутно подтягивая плохо державшиеся штаны. Притащила табуретку, положила на приступок печи несколько поленьев. Аккуратно сложила на печке носки.

— Воров я боюсь, ужас. Как вы застучали, чуть не померла со страху. Запрошлым летом один баркас сперли — и сейчас ищут. Мы с мамкой до сих пор деньги платим. И куда денешься! — Анька всплеснула руками. — Сами виноваты — не углядели.

— И часто воруют? — спросил Иван. — Что же вы, за каждую украденную лодку деньги отдаете?

— Не-а. Лодки-то находят. Мужики из Сидоровки балуются. Отгонят километров на двадцать и бросят. Им-то ничего, а нам маета.

Анька заковыляла к печке, сняла чайник и поставила на стол две кружки и стакан. Проделав эту нехитрую операцию, она нагнула голову и протянула руки к столу.

— Пожалуйте ужинать, — пропела она.

На столе белел тетрадный листок в косую линейку, исчерченный крупными каракулями. Видно, Анька училась писать. Шурка взял листок. На нем плясали угловатые печатные буквы: «Васка дурак».

— Кто такой Васька и почему он дурак? — спросил Шурка.

— Он нашему Шарику глаз выбил, — насупилась Анька. — Из рогатки.

На столе появилась заварка, черствый хлеб и кусок коричневой колбасы. Пока путешественники яростно жевали колбасу, запивая чаем, Анька ходила от одного к другому, как старушка покачивала головой и приговаривала:

— А проголодались-то, проголодались...

Потом открыла печку и высыпала в горящую пасть совок угля. Уголь затрещал, и из заслонки вырвался тонкий ядовитый дымок. Анька вела себя как настоящая хозяйка. Подливала в стаканы чай, деловито ощупывала носки — высохли? Взяла веник и подмела пол. Она даже не спросила, зачем приехали сюда эти двое незнакомых людей и почему им негде ночевать. Она вела себя так, будто все ей было ясно с самого начала. И что же здесь непонятного — постучались люди, попросились переночевать.

Шурка старался не смотреть на Ивана. Иван смотрел в одну точку, шумно хлебал чай и о чем-то сосредоточенно размышлял.

Лоб у него собрался в гармошку, он шевелил толстыми губами.

— Ты что, одна с мамкой живешь? — наконец спросил Иван. — А где отец?

— Помер, — без выражения ответила Анька. — В речке утонул по пьяному делу.

— А если и в самом деле лодку украдут? Чего ты сидишь здесь?

— Боюсь, — Анька жалобно посмотрела на Ивана.

— Так у тебя вон ружье висит, — приставал Иван. — С ружьем ведь не страшно.

— Оно не стреляет. Веревочками связано.

— Отстань от нее, — сказал Шурка. — Я сейчас схожу проверю.

— И я с тобой, — сказал Иван.

— Не надо, сам справлюсь.

Шурка напялил фуфайку, немного подумал и снял со стены ружье.

— Оно не стреляет, — повторила Анька.

— На всякий случай, — решительно сказал Шурка. — Попугать можно.

Он вышел на улицу. Ветер утих, тишина. Днем слякоть, а сейчас — снег. Подумать только — снег в марте! Шурка решил обойти все лодочное хозяйство, из конца в конец, два раза. Увидел их весла, сиротливо лежащие на берегу, пинком сбросил в воду. Весла хлюпнули и уплыли вниз по течению. На берегу было пустынно. Какие тут могут быть воры! Какому дураку взбредет в голову ночью воровать лодку?

Шурка шел неторопливо, по-хозяйски поправлял на плече ружье, с сознанием собственной нужности и важности. В ушах Шурки еще звучали слова замурзанной Аньки: «Помер». Но главное — ее равнодушный и спокойный голос. Значит, они хотели украсть лодку, а за эту лодку Анькина мать выплачивала бы деньги. . .

— Дурацкие порядки, — вслух сказал Шурка. — Почему она должна платить деньги, если какие-то сволочи вздумают украсть лодку?

Ему сейчас захотелось встретиться с настоящими ворами, стрелять, бороться, отнимать нож и, истекая кровью, все-таки задержать преступников. Шурка был настроен решительно.

Но воров, как на грех, не было. Он дошел уже до конца и повернул обратно. И вдруг услышал шорох. Он доносился из-за огромного пузатого баркаса и был таким явственным, что сомнений быть не могло — там кто-то есть!

Шурка замер и стал прислушиваться. Шорох повторился, и

сейчас уже гораздо громче. Шурка почувствовал, как ему стало жарко. У него затряслись руки. Воры!

Он так перепугался, что не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Первой его мыслью было — присесть и затаиться.

А за баркасом уже шуровали вовсю. Там что-то скребли, кто-то вздыхал, и Шурка отчетливо слышал чей-то шепот.

— Руки вверх! — заорал Шурка, пугаясь своего крика, и от испуга крикнул еще громче: — Руки вверх, говорю!

Шорох прекратился.

— Выходи, — прошептал Шурка, — стрелять буду...

Никто не выходил.

— В последний раз говорю, — плачущим голосом проныл Шурка, — выходи, позову милицию...

«Что я плету? — пришло ему в голову. — Откуда здесь милиция?»

Из-за баркаса выбежала собака. Обыкновенная черная дворняга с коротким обрубленным хвостом. В зубах она бережно несла обглоданную кость...

В избушке на курьих ножках было тепло. Иван сидел на топчане. Анька примостилась рядом и, мечтательно закрывая глаза, пискляво пела:

Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь...

Шурка повесил ружье на гвоздь, разделся и кратко сказал:

— Порядок. Воров пока не предвидится.

ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН

ПОХВАЛА ЧЕРЕПАХЕ

Среди зверья не стало страха —
хватают руку мягким ртом,
но, как спартанец, черепаха
не расстается со щитом.

Она с людьми умеет ладить,
но не умеет — угодить.
Ее сквозь панцирь не погладить,
а наступив — не раздавить.

К земле прикладывает брюхо,
полет под веками тая.
Невозмутимая старуха,
не ты ли бабушка моя?!

ПТЕНЕЦ

Хлеб не клевал,
водой не хлюпал,
куриной не гулял страной:
еще над ним скорлупный купол —
затянут белой пеленой.
Птенец!

Поторопись потрогать
мираж:
взошла твоя тропа!
И месяц — как звериный коготь!
И не спасает скорлупа!
Ты встанешь
голеньким и юным:
на пятках — шпоры,
клюв — у лба,
и гребень...
Главное — проклюнул!
Все остальное лишь судьба.

ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА

Уступаю старшему место под солнцем,
уступаю младшему место под луной,
потому что верю: мне звезда найдется,
новая планета будет надо мной.

ТЕННИСИСТ

Пересекаю парк по хорде.
Дождит. С деревьев сдернут лист.
Отважно мячик бьет на корте
промокший мальчик-теннисист.

Костюмчик узок и застиран,
но тренировано плечо!
Наедине с осенним миром
он дышит слишком горячо.

Как он без промаха... ракеткой!
Забыл, наверно, обо всем!
И, как зверек, железной сеткой
большого корта обнесен.

* * *

На горизонте парус — это март!
Февраль уже готовится к отходу.
Он двинется, подобно пароходу
без капитана, компаса и карт.

Горячая звезда ныряет вниз
и в облаке проделывает прорубь.
Проснулся перед смертью старый голубь
и воркованьем огласил карниз,

что означало — он готов к весне,
не сетует ничуть на скоротечность,
что кто-нибудь другой умрет во сне
и в дураках останется на вечность.

АННА СУХОРУКОВА

КРУГИ ПЕЧАЛИ

Катя еще утром дала себе слово ни за что не звонить Борису. Она только проснулась, еще не открыла глаз, не видела залепленных туманом окон, но на грани теплого сна и знобкого возвращения в бодрствование она поклялась себе, что звонить Борису не будет. Она открыла глаза, увидела серую муть за окном, и на сердце стало совсем тоскливо. Она встала, без охоты выпила стакан крепкого чаю и села работать.

Работы было много, и это радовало. На часа три-четыре она обеспечена делом. К понедельнику Катя обещала перевести большую статью. Давно обещала — два понедельника тому назад. Катя не любила технических переводов и обычно не брала их, а если брала, то мучилась, откладывала до последнего, а потом сидела не разгибая спины. Так и теперь. Она могла бы понемногу каждый день. А вот теперь будет сидеть целый день. Сегодня воскресенье, а тут сиди. «И хорошо, — подумала Катя. — Очень даже хорошо». Машинка бойко застрекотала. Катя знала лексику, и вообще статья не была трудной. И это было как хорошо, так и плохо. Работа не занимала всего Катиного внимания, и она нет-нет да и начинала думать о том, о чем бы ей вовсе думать было не надо.

Борис в пятницу сказал, что в субботу он занят. Приехал его редактор из Москвы всего на один день, и они должны посидеть. Должны так должны. А в воскресенье он с утра должен забежать к Голиковым. Там какое-то дело, и тоже срочное — и не Бориса,

а Севкино... Кате, в сущности, было все равно, какое дело и куда он должен забежать. Важно, что он не может прийти к ней, к Кате.

Машинка стучала: «Жди. Жди. До встречи, Малыш, жди!» Борис сказал, что у Голиковых пробудет часа два, ну три, а потом свободен. «До встречи, Малыш. Жди!» «Жду. Жду, — сказала Катя вполголоса. — Жду, милый», — и посмотрела на часы — пять минут двенадцатого.

Конечно, было бы лучше, если бы Катя знала настоящую причину того, что происходит. Катя впрямую задала Борису вопрос: «Может, ты влюблен? Скажи честно».

Борис расхохотался: «Влюблен. В тебя, Катюша, пять лет. И с тех пор пишу, дышу и ни шу-шу». Он обнял ее и поцеловал в висок, за ухо, в шею, расстегнул молнию на джемпере и поцеловал между лопатками.

«Может быть, разлюбил тогда?» — не отступила Катя.

«Никогда нет. Я люблю Вас и только Вас. И никого кроме Вас, Екатерина Андреевна».

«Тогда что? Должно же быть что-то», — упавшим голосом сказала Катя, нисколько не обманутая его фиглярством.

Глаза у Бориса сделались ярко-коричневыми, так что засветились все невидимые обычно крапинки, злыми и далекими. Катя смертельно боялась таких его глаз. Она прикусила язык и даже не посмела вздохнуть. Она сразу заговорила о чем-то другом, и слава богу, что он ничего больше не сказал.

«Кроме того, повышенная концентрация сверхтяжелых элементов...» — стучала машинка. Где-то за стенкой тремя «ту-туту» пискнуло радио, и сейчас же грохнула пушка. Катя встала, подошла к окну. Теперь за окном была взвесь дождя со снегом, она провисшим одеялом колыхалась над Невой, скрывая ее свинцовую, тяжелую воду. Петропавловская была чуть видна и казалась поблекшим, размазанным карандашным рисунком из старой затрепанной книги. И вообще не была похожа на Петропавловскую. И вообще все кругом было на себя не похоже. Все было не так за окном, все было не так у Кати в душе. Катя помаялась пять минут бездельем, раздираемая желанием зареветь или выпить чашечку крепкого кофе. Наконец она сказала себе: «Заткнись!» — решительно подошла к столу и села за машинку.

«...она может быть обнаружена на дне чистых озер, где скопления ила собираются крайне медленно».

«Все происходит крайне медленно, — с тоской подумала Катя. — Пять лет, что мы вместе, — и последние пять месяцев. Начало... Да, начало было — четкое, определенное. Вот они не были знакомы — и вот знакомы...» Кате захотелось закурить. Ей уже

давно так сильно не хотелось курить. Она поколебалась минутку, но все же встала, подошла к секретеру, открыла маленький ящичек и вытащила пачку «Кента». Ту, заветную, которую положила в ящичек два года назад и из которой не выкурила с тех пор и половины. Сходила на кухню за спичками. Села в кресло, подтянула колени к подбородку, чиркнула спичкой, поднесла колеблющееся пламя к кончику длинной тонкой сигаретки, затянулась и закашлялась. Ожидаемого удовольствия не ощутила... Она отвыкла курить, и дым едко и терпко защипал нёбо. Катя в нерешительности повертела сигарету. Было жаль потушить ее, смять, испортить и было неприятно ощутить вновь ее горький вкус. Катя осторожно сбила нагар и пошла на кухню ставить кофе. Дожидаясь, пока он закипит, она ругала себя дурой, глупой, идиоткой, малодушной. А в глазах собирались и закипали слезы.

Она все же проворонила кофе и теперь, сглатывая досадливые слезы, вытирала плиту мокрой и почему-то липкой тряпкой.

«Ну и что, ну и что... — твердила она себе. — Ну ничего же не происходит. Он всегда занят. Он всегда в себе. Он такой. Он же гениальный. Он же любит меня. Он терпеть не может выяснять отношения... Нет, нет! Надо пойти и немедленно сесть за работу».

«А что, собственно, происходило в эти пять месяцев? То же, что и все пять лет. Ходили в гости, в театр, в кино. Ездили за город. Сидели дома. Смотрели телевизор или играли в канасту. Любили друг друга. Не так? Да так. Чего-то не было... А чего?» Вот этого-то Катя и не знает, до этого-то и пытается доискаться.

Услужливое соседское радио снова пискнуло. «Час», — меланхолично отметила про себя Катя.

«Для синтеза сверхтяжелых элементов на ускорителях придется применять другой метод, нежели в случае 102—105-го элементов».

Машинка звякнула, заканчивая строчку, и этот тихий звоночек ударил болью и сладостью далекого воспоминания. То утро — и, кстати, тоже осеннее, — первое утро новой эры: утро, когда уже существовал Боб. Они бродили всю ночь по туманному, влажно-знобкому Ленинграду, кутаясь в объятиях друг друга. Целовались и говорили. Говорили и целовались. Молчали, стоя на Прачечном мостике, глядя, как медленно и призрачно летят листья с кленов, как вспыхивают на миг в нимбе фонарного света и тут же навечно и безнадежно гаснут.

Не успела Катя заснуть (ей казалось, что она только-только взлетела на качелях сна в зыбко качающуюся высь), а у нее над ухом что-то звякнуло — робко и тихо.

— Катюша, — скорее поняла, чем услышала она голос в трубке.

Катя посмотрела на часы — было семь без пяти, а она пришла в половине шестого.

— Катюша, я хочу тебя видеть. Вставай. Ну, вставай. Пойдем гулять. Такое утро!

И с тех пор... да! с тех пор. Конечно, бывало, Борис огорчал ее очень сильно. Он, впрочем, только и делал, что огорчал ее. Только не всегда очень сильно. Он такой нервный, такой неуравновешенный. У него все шиворот навыворот: когда другие спят, вот тут им овладевает бес работы. Когда веселое застолье, ему вдруг приходит на ум необыкновенная мысль, или поворот, или бог его знает что — они бегут из гостей или, наоборот, в тихий лирический вечер срываются и бегут в гости. Бывало, он уезжал, не предупреждая Катю, и только с дороги она получала телеграмму. А могла и не получить. Неделя, другая — и вдруг письмо нежное, ласковейшее, полное признаний и чего-то, чего-то, для чего у Кати и нет слов.

Зато бывало и так. Он уезжал и предупреждал — надолго, а через неделю — «Вот он, я! Весь. Соскучился, люблю... Катьку!»

Он делал Кате подарки, когда совсем сидел на мели. Брал в долг, а когда Катя ругала его и говорила, что спокойно обошлась бы без подарка, он смеялся и говорил, что, может быть, она бы и обошлась, но он ни в какую. И забывал на Восьмое марта принести букетик мимоз. Если приходил...

Он любил Катю. Катя это знала. Это знали друзья: его, и ее, и общие. И мать Бориса тоже знала. Она только иногда как-то странно смотрела на Катю, и в ее глазах — чудилось это Кате или действительно — полыхали странные пожарчики: то ли жалости, то ли презрения, то ли и то и другое вместе. А вообще она была очень приветлива с Катей и всегда старалась, как могла, оградить ее от слишком резких выходок сына. Они были с Катей чем-то похожи, может быть своей любовью к Борису — безоговорочной, без критики.

«В проблеме синтеза элементов все элементы до 105-го включительно были получены в ядерных реакциях слияния...»

Катя посмотрела на часы. Полтретьего. Потом будет три. И совсем скоро полчетвертого. Потом полпятого... Сколько набежит этих половинок? А Катя сидит и ждет звонка. Она стучит на машинке. Строчки ровненько ложатся на бумагу. Вон уже сколько строчек — черненьких, остреньких, ехидненьких — разлиновало белые листки бумаги — обман. Катя ждет звонка. И сердце уже давно стучит нервно, замирая, словно прислушиваясь к той далекой, невидимой руке, которая тянется сейчас к телефон-

ной трубке невидимого Катей телефона. Но нет... Тишина. Все та же. Все тот же ровный туман за окном.

Катя потянулась к пепельнице и взяла недокуренную сигарету. Чиркнула спичка, и ее неяркий огонек подчеркнул сгустившуюся, почти осязаемую серость ранних ноябрьских сумерек.

Катя откинулась на спинку стула, затянулась, и вкус дыма на сей раз показался ей приятным. Закружилась голова, вещи тихо сдвинулись с места и поплыли в плавном хороводе.

— Но нет! Нет! — сказала Катя громко, решительно останавливая круговорот вещей и мыслей. — Нет, нет и нет. Звонить тебе я не буду!

«...теперь физики используют реакцию деления, например, урана под действием ускоренного ксенона или урана же, когда сверхтяжелые элементы могут получаться, как осколки деления».

— Нет, — сказала Катя не очень твердо, — я звонить тебе не буду.

«Может быть, я выдумала эти последние пять месяцев. Они, в сущности, ничем не отличаются от последних (или первых?) пяти лет». Может быть, они ничем и не отличались, но все равно в них было что-то не то и не так. Для этого не нужно было никаких доказательств. Да Катя и не старалась что-то доказывать себе. Она знала, что из их любви утекает живая сила, как из раненого тела кровь. Она и теперь помыслить не могла себе остаться без Бориса. За этой чертой меркло ее воображение, обрывалась мысль... Но что творится в душе Бориса, она не знала. И теперь меньше, чем когда-либо.

Они и сейчас могут провести весь вечер в разговорах и даже ночь. Борис по-прежнему ей первой тащит свои рассказы, читает, смотрит на нее поверх очков въедливо, пристрастно, ехидно, с надеждой. Расцветает под ее улыбкой. Вскакивает, размахивает руками, объясняет... С этой минуты Катя замолкает. Ему и была-то нужна, в сущности, только ее улыбка, да она сама, слушающая, не перебивающая, восторженная. А Катя и не собирается ни критиковать его, ни высказывать ценных мыслей. Борис сам их выскажет, сам, прочитав вслух, поймет слабые места, сам безошибочно о них скажет.

Катя посмотрела на часы — четыре. Вытянула из твердой белой коробочки еще одну сигарету. Теперь она уже не смаковала сладкого дыма, курила, затягиваясь глубоко, задыхаясь дымом и жадно удерживая его в гортани. Пятнадцать минут пятого. Двадцать, двадцать пять.

— Семнадцать часов тридцать минут, — сообщила за стенкой диктор телевидения...

Катя протянула руку и сняла телефонную трубку. Ей было стыдно, но она упрямо набрала номер.

— Нина Анатольевна! Да, я. Здравствуйте. Нет. Мы точно не договаривались. Он сказал, что позвонит. Спасибо. До свидания.

Катя тяжело дышала. Горло сдавил спазм — о! какой был у Нины Анатольевны голос! Какой жалостливый, какой участливый!

«Ах, Борис! — Катя качала головой. — Что же ты думаешь? Ты ходишь где-то, или сидишь, или разговариваешь. Смеешься или нет, но ты помнишь и знаешь, что есть я. Я жду и мучаюсь. И ты знаешь, что я жду и мучаюсь. Какую же радость приносит тебе это жестокое знание?!»

Катя снова потянулась к трубке, но остановилась на полпути, не дотянув и не отдернув руки. Рука висела над трубкой и затекала.

— Я тебе не устраивала сцен, — сказала Катя трубке, — я ни о чем тебя не спрашивала. Тебе до ужаса хотелось свободы, и ты имел ее столько, сколько хотел. Но это правда!

И это была правда — Катя ни разу не спросила за все пять лет и пять месяцев, где он был вчера? С кем? Это он говорил, что писатель не имеет права жениться. Что он должен быть свободен. Знать, что от него никто не зависит. Уезжать, улетать, прилетать, приплывать, забираться в берлогу и выбираться из нее!

И Катя соглашалась с ним. Как всегда и во всем. Не хотела мешать ему...

Катя опустила руку на трубку и набрала номер Голиковых.

— Сева? Ага, я. У вас Борьки нет? И не приходил? Ну ладно. Да нет, он говорил, что должен зайти. Ждете? Ну, если придет, скажи, что я звонила. До свидания.

Катя повесила трубку, опустошенная и смятая. И в эту минуту раздался телефонный звонок.

— Катюха! Вот вбежал к Голиковым под твой звонок... Ну как ты?

И Катя вдруг до ужаса четко поняла и представила себе, что в тот момент, когда она позвонила, он был там и какие делал Севке знаки, что его нет, когда понял, что это она звонит. Катя прижала трубку к губам, закрывая их, замыкая черной решеткой мембраны, давя готовый вырваться из них дикий, бессильный вой.

— Малыш, ты меня слышишь?

— Боб, — сказала Катя спокойно, — у меня молоко на плите...

— Что? — не понял Борис.

— Молоко. Оно кипит, — и Катя повесила трубку.

Она положила ее бесшумно и осторожно, губами, попробовала наступившую тишину.

«Молоко, — подумала она вяло, — у меня должно кипеть молоко. — Катя улыбнулась. — Как хорошо читать много книжек. Вот и умная, вот и могу найтись».

Катя когда-то прочла рассказ, похожий на ее собственный сегодняшний день. Той девушке тоже было нечего сказать, и она сказала про кипящее молоко. «Какая банальная история», — усмехнулась Катя.

Зазвонил телефон.

— Катюня, ты не спятила? — спросил Борис сердито.

— А что — это выглядит очень нелепо, когда кипит молоко?

— Что ты делаешь?

— Работаю.

— А что ты собираешься делать?

— Работать. Или нет, — поспешно сказала Катя. — Уже ведь шесть. Я звонила Голиковым, чтобы они предупредили тебя, чтобы ты не звонил мне — меня не будет дома. — Катя повесила трубку.

И не успела она отнять руку, как снова раздался звонок.

— Катя, — тихо и без раздражения спрашивал голос Бориса. — Катюша, что-нибудь случилось?

— Да, — сказала Катя. — Я весь день ждала твоего звонка и, наверное, устала ждать. До свидания.

— Не вешай трубку. Я приду сейчас.

— Не приезжай, — сказала Катя.

— Я люблю тебя, — сказал Борис.

— И я люблю тебя, — сказала Катя. — Но, — Катя помедлила секунду, — я возвращаю тебе ту небольшую часть свободы, что брала у тебя.

— Я не хочу быть свободным, Катя!

— А я хочу быть свободной. Свобода нужна не только писателю, но и просто человеку, чтобы быть им. До свидания, — сказала Катя и повесила трубку.

МИХАИЛ ЯСНОВ

* * *

У прохожих на виду
маму за руку веду.
Мама маленькою стала,
мама сгорбилась, устала,
мама в крохотном платке,
как птенец в моей руке.

У соседей на виду
маму в комнату веду.
Подведу ее к порогу,
покормлю ее немного,
уложу поспать в кровать, —
будем зиму зимовать.

Ты расти, расти во сне —
станешь ласточкой к весне,
отдохнешь и отоспишься,
запоешь и оперишься,
и покинешь теплый дом,
и помашешь мне крылом.

У прохожих на виду
маму за руку веду.
Мама медленно идет,

ставит ноги наугад...
Осторожно, гололед!
Листопад...
Звездопад...

ЛЕС И ДИТЯ

Среди сквозных, как выдох, просек
и мхом затянутых воронок
лес разметался, листья сбросив, —
так ночью мечется ребенок,

и, уронив простынку на пол,
он, ослепленный мирозданьем,
сны, как пергамент инкунабул,
рассматривает с содроганьем.

Ребенок видит их, не зная,
что лес во сне — не озаренье,
что это чудо — прописная
явь, оттого что — повторенье.

Он ползал ящеркой шуршащей
средь этих просек и воронок,
не ведая, что он для чащи —
всего лишь прописной ребенок.

Такого — с голыми ногами,
с чуть оперенной головою —
запечатлел лесной пергамент
спрессованной листвы и хвои,

такого — звонкого, как утро,
бесплотного, как одуванчик...
Лес эти сны читает, будто
впервые мир открывший мальчик.

Покуда тот под тенью игол
ложился паутинкой наземь,
лес хохотал вокруг и прыгал
и был черникой перемазан...

Так, наконец, найдя друг друга
в мирах зрачков и перепонок,
спят, разметавшись, спят без звука
ребенок-лес и лес-ребенок.

* * *

В зеленых лужицах брусчатка,
пожух и съежился вьюнок.
Лист, пятипалый, как перчатка,
лежит, оброненный у ног.

Бредет рассеянная осень,
теряя этот лист и тот,
и в буйном ветре-листоносе
парит пропажа и плывет.

Царит хаос метеосводок,
во всем таинственный настрой,
и мой рабочий стол находок
завален пряною листвой.

Пойду пройдусь еще разочек
взглянуть на мокрый белый свет
средь этих дедовских и отчих
окраин, тропок и примет.

Здесь каждый лист прикрыл квадратик
земли и стал — культурный слой. . .
Мой желтый, маленький собратик,
и я такой! . . И я такой!

Я за тобой стою в затылок,
я изучаю, как профан,
весь долгий перечень прожилок,
изъянов, червоточин, ран. . .

Составив точный комментарий,
собрав былое по годам,
когда-нибудь я свой гербарий
в наследство сыну передам.

УТРО

Огородные запахи августа,
как плоды, паутины висят,
и, покрытый росой густо-нагусто,
просыпается зябнущий сад.

Лесопильня вдали заработала,
цепь гремит на морском берегу,
и коровье дремотное ботало
отзывается в мокром логу.

Перед тем как появишься на люди
со смородиной черной в горсти,
хорошо покопаться бы в памяти,
по сусекам ее поскрести.

С каждым днем все грустней от неясности,
от надежды с тоской пополам,
от отчаянной непричастности
к человечьим обычным делам.

Хлеб сожнется, спечется, сформуется,
дом взрастет из цементных корней,
ну а то, что все это срифмуется,
не прибавит зерна и камней.

Стук лопаты, машины гудение,
корабельный размеренный зов, —
всюду в мире царит единение
этих шумов, гудков, голосов.

Ты суму повытряхивал дочиста,
бросил в травы поломанный грош —
тишину и свое одиночество
в многолюдье и в гомон несешь.

И, повязанный зыбкими узами
с пробужденьем окрестных равнин,
ты свои отношения с музами
выясняешь один на один.

ТАТЬЯНА КРАСОВИЦКАЯ

* * *

Нехотя дождь задевает о крышу.
Март. Полуявь. Полусон.
В дреме предутренней нехотя слышу
бульканье, плеск, перезвон...

К мутному свету глаза не пробьются.
Сад в молоке? Что им сад!
Тычутся, словно котята, — из блюдца
пить молоко не хотят.

Баю-баю. Растечется по снегу
звездных коров молоко,
и заскрипит по дороге телега —
так далеко-далеко...

Теплым туманом налиты бидоны,
талой водой — колея...
Кто ты, куда и откуда так сонно
длится дорога твоя?

* * *

Да что стряслось с характером моим!
Смещаются углы его и грани,
душа смущается, и бунт ее сравним
с внезапным штормом на телеэкране.
Нет, нет и нет — настырному теплу,
я плавлюсь в линзе выпуклой июля!..

Нет, нет — назад, к январскому углу,
ночь напролет на жестком ерзать стуле,
бубня под нос: «Не спать, не спать, не спать...»
С дремотою сражаться, как с судьбою...

И ты не спи! Не спи, а то, как знать,
заснешь — и перестанешь быть собою.

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

* * *

В лесу вечернем сквозь туман —
пугающая поза.
И, как удачливый карман,
звенит во тьме береза.

От нашей дачной голытьбы —
стоглавой и всеядной —
в чернике по уши грибы
на глубине отрадной.

И шепот в воздухе пустом.
Листом потянет, прелью. . .
Кто караулит за кустом?
С какой такою целью?

Пенек, подножка и пинок
хихикнет, подсекая. . .
Лягушка брызнет из-под ног,
от ужаса сверкая.

* * *

Пора лесов и огорода.
Куда ни сунься — все полно.
Вкруг города встает природа,
к звену прилажено звено:

цветет пушица на болоте,
дурман раскрылся неживой,
комар, еще почти бесплотен,
как шприц шуршит над головой.
Везде бесплатные фиалки,
как будто так и будет впредь.
Исправно зеленеют палки.
И нету силы умереть.

ДОЛГИЙ СВЕТ

Красоты пугаемся, как сраму,
но, скупому возрасту назло,
сердце то в восторженную яму,
то в крутую гору понесло.

Вот сидишь — как чижик на свободе:
в перышках подрагивает страх,
а вокруг кустов жасмина ходит
запах на коротеньких ногах.

Дело к ночи. Думается горше.
Но — светло и вроде горя нет...
Только возле Нежина и Орши
Притупится этот долгий свет.

Тень сгустится там в тугое тело,
жадное до жизни без прикрас...
И, чего душа не захотела
разглядеть, несчастный видит глаз, —

глаз, он ничего не забывает,
он, покуда медлит темнота,
белый луч, как веер, разрывает
на косые резкие цвета.

* * *

Деревня — вид с холма.
Субботняя. Такая,
как десять лет назад.
Как десять лет назад...

Помыться после дел.
Дым по траве стекает.
И баньки сквозь туман
разнеженно глядят.

И раки — в кисть руки
под полусгнившей лодкой.
А что я поняла,
тому и дурень рад.
Ты осень гонишь в дверь,
но как пойдет короткий
в рябиновых углях
потрескивать закат!

* * *

Эй, кто-нибудь, подайте знак:
ведь ночь же, ночь! Довольно плакать!
Наплакана дорога так,
как вспухших век сырая мякоть.

Глаза — хоть лопни! — не глядят.
Вперед себя пускаю руки...
Глубоко муравьи сидят,
задраив маленькие люки.

На уровне высоких туч
гудит крапива басом ели.
Светила заперты на ключ,
как мы за шалости сидели.

Душа трепещет на ветру:
ужасным голосом кричали.
Коль здесь со страху не помру,
помру потом в тоске-печали...

Узлы на косах завяжу —
живи, ежовая завеса,
родная северная жуть
неровно смешанного леса.

АЛЕКСАНДР КОМАРОВ

* * *

Мне дороги с детства и пыльная эта дорога,
и небо, что смотрит по осени мрачно и строго,
и поле с цветами, не блещущими красотою,
и сад незатейливый с яблоней этой простою...

Когда бы я кистью владел, то листочек бумаги
вобрал бы в себя шелест листьев и запахи влаги
и запечатлелся бы этот пейзажик невзрачный
не маслом тяжелым, о нет — акварелью прозрачной.

* * *

А сельскому жителю наша беседа
о воздухе чистом,
прелестном пейзаже,
когда он нас слушает,
кажется бредом,
хоть вежливо он улыбается даже.

В поленнице молча поправив поленья,
он нашим речам оправданья не ищет.
Он занят.
Ему не до сопоставленья. . .
А в городе летнем — и шум, и пылища.
А здесь — тишина.
И раздолье для сына.
Красивы цветы на поляне для дочки. . .

. . .А он возле дома тугую лесину
неспешно обтесывает в холодочке.

АКМУРАТ ШИРОВ

ЦЫГАНКА

К нам пришли цыганки. Мы сидели с ними во дворе в тени карагача и ели плов, пили чай. Я играл у юбки тети-цыганки. Она была ласковая и лучше мамы. Вдруг я очутился под подолом ее платья. Там почему-то пахло нашей козой. Я сидел замерев, словно под шатром, сквозь который просвечивал разноцветный мир. Когда цыганки встали, я оказался в темной торбе, а потом долго болтался на чьей-то спине, как в паланкине.

Дома всполошились — ребенок как сквозь землю провалился! «Украли!» — догадался кто-то, и всех охватил ужас.

Догнали цыганок, которые шли по пустырю, опираясь на длинные палки, и стали умолять, чтобы они сжалились над горем матери и, не тая обиду, вернули дитя. Я смеялся из торбы. Мама плакала, но не смела броситься на цыганку и вырвать меня. Даже папа стоял и смотрел, не зная, как быть. Все знали: если цыганка, укравшая ребенка, сама добровольно не отдаст его, то ребенок умрет, в лучшем случае вырастет несчастным.

Цыганка потребовала выкуп, равный моему весу. Собрали все ценное, что имелось в доме, заняли еще у соседей и сгрузили серебряные украшения, кувшинчики из бронзы, платья из парчи и шелка на одну чашу весов, меня посадили на другую чашу. Я перевесил. Тогда цыганка взяла мамину руку, погладила ее, весело глядя ей в глаза, и сняла перстень.

Хорошо, что я был маленьким, а не таким, как сейчас.

Иначе не минул бы я цыганской жизни. Стал бы загорелым

дочерна цыганским мальчиком на холке осла, странствующим по белу свету под палящим солнцем, пропитавшимся дымом разных костров, грызущим черствые лепешки, собранные из разных домов, с разным вкусом, потому что испекли их разные хозяйки; цыганским парнем, влюбленным в цыганскую большеглазую девушку; наконец, цыганским мужем-бездельником, или, может быть, таким, как тот цыган с бородой, ювелир, который однажды остановился у нас с сыном Майданом (что значит — Поле, потому что в поле родился) и сделал маме красивые серебряные браслеты и золотые серьги. Они жили у нас под навесом у очага несмотря на весеннюю сырость. В очаге все время краснели угли. Там они работали и там же спали, укрывшись стегаными халатами. Я следил за ними, не вынимая руки из карманов. Они меня называли «барчуком». Майдан не играл со мной, он помогал папе. Папа Майдана трудился не щадя сил, потому что очень любил своих цыган и мечтал купить своему табору грузовую машину. Он мечтал о том, как здорово будет кочевать на грузовой машине. Он не хотел, чтобы цыгане отставали от других, не хотел, чтобы их называли грязными и презирали. Мой папа говорил, что по закону не разрешат купить грузовик. Папу Майдана это не огорчило. Он был уверен, что купит, когда соберет деньги. Интересно купил все же он?

Да, скорее всего, я стал бы таким цыганом, как папа Майдана.

Все думали, что цыганка ушла довольная. Но, видимо, в уголках ее черных глаз осталась неприметная тень. Если не так, то почему в моей душе оказался изъян и я покоя не могу найти — все мечусь, мечусь?

НА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ

Мимо нашего дома тянулся арык, обросший камышом, тальником, колючкой. Арык был пока сухим, после расчистки собирались пустить воду, весеннюю, свежую после зимы. Проснувшись, я услышал шум, смех, треск костра, возгласы и вышел. Из арыка летели наверх земля, корни, грязные, заполненные глиной бутылки. Сверкали острия лопат, виднелись женские платки и шапки с засаленными суконными верхами.

Я поднялся на вал. По дну арыка растянулись колхозники и колхозницы. Пестрота, красочность их одежды, веселость восхитили меня. Они жгли заросли вдоль арыка — где-то горел костер, где-то тлели угли, где-то лежали черные обгорелые лоскутки

земли. Скоро, как шумная орда цыган, бригада стала отдаляться от нашего дома. Очистив один участок, переходили на другой.

Я прибежал домой и сказал матери, что пойду работать. Мать не ответила. Она не одобряла. «Где лопата?» — спросил я. «Тебе надо учиться — работать еще успеешь». — «Ты же знаешь, все ребята класса работают, один я...» — «Вот и не занимаются, учатся плохо, вообще, это не твоя компания...»

Но меня тянуло к ним. Работяги ходили ватагой. У них были свои разговоры, свои темы. Хотя я терялся, слушая их разговоры, начиненные матерщиной, похабщиной, скучно было одному. Я понимал, что они живут «не так», как остальные ребята в нашем поселке. Как бы догадавшись о моих мыслях, Парша и Циклоп стали подшучивать надо мной, иногда задевая за живое. Я держал с ними дистанцию, да и то, что родители мои преподавали в школе и сам я слыл лучшим учеником, сдерживало их. Теперь же то, что я не работаю и сам это переживаю, привлекло ко мне их внимание. Как-то Парша пощупал мой воротник и сказал: «Чистый, мамочка стирает?» После этого пытались меня дразнить: «маменькин сынок», «книжный червь», «тунеядец» и т. д. Внешне я был невозмутим — они ведь нащупывали слабые места.

Схватив лопату, я побежал вдоль арыка. Бригадир был в начале вереницы, на участке моих одноклассников. Он ухмыльнулся, взглянув на мою лопату, купленную в магазине хозяйственных товаров, с короткой рукояткой, ржавую. Все держали лопаты сверкающие, острые, сделанные известным мастером Устой Кара.

— Этой лопатой вы дерьмо дома чистите? — спросил Парша.

Подняли на смех. Каждый старался пометче острить.

— Пришел работать? — спросил бригадир.

«Лясы точить!», «Любоваться!», «Дерьмо чистить!» — раздались голоса.

— Да.

— То есть как: да́ — лясы точить или да́ — работать?

— Да́ — работать.

— Хорошо, — бригадир отмерил пятнадцать шагов. — Копай поглубже, сорняки обрезай, берега шлифуй, чтобы как полированные были. Понял? Считай, что маслом будем обливать.

— Чтоб можно было облизать! — вставил Парша.

Я сгибался под тяжестью лопаты, но нарезать глину пластами, меньше, чем Парша, не позволяла гордость. Парша работал рядом и, поплевав на руки и потерев ладони, наблюдал за мной с ехидцей. Берега с тутовыми корнями были высокие, крутые, и

глина, которую я бросал наверх, обваливалась вниз. «Сизифов труд», — подумал я.

— Обрезай поменьше, бросай подальше, маменькин сынок! — крикнул Парша. — Это тебе не мамино сало!

Колхозники, закончив свои участки, переходили дальше. Скоро я остался в самом конце.

После того как расчистили большой арык, нас во главе с Циклопом послали чистить маленькие арычки — разветвления большого арыка. Старым колхозникам нашли другую работу. Теперь ребят ничего не сковывало. Бригадир показывался редко. Циклоп и Парша полностью наслаждались своей властью. Вообще, так называли их за глаза. Настоящие имена их были Мями и Джора. Стриженая, грязная голова Джоры была обезображена язвами. От язв сильно воняло, хотя он их прижигал одеколоном. В наших сказках паршивцы славились хитростью и грубостью. И верно, Парша это удивительно подтверждал. Минуты не проходило, чтобы он не цыкал сквозь зубы, будто хотел избавиться от привкуса тех гадостей, которые рассказывал. А Мями был на один глаз слеп, но жалости ни у кого не вызывал. Был рослый, сильный, жестокий. Грубо шутил, выкручивал руки, толкал, пинал, щипал любого, кто попадался ему под руки. Кроме Парши. Они с Паршой уважали друг друга. Больше и чаще всех доставалось двум-трем самым слабым. Так было до занятий, в перерывах и после занятий. На уроках они превращались в мумии, прятались за спинами слабых, учившихся хорошо, чтобы не вызвали отвечать урок, сладкословно умоляли, чтобы им подсказывали в случае чего, давали списать домашние задания. И слабые угождали им, напрасно надеясь на милость.

Парша и Циклоп поздно пошли в школу, несколько раз просидели повторно, бросали школу, но их заставляли окончить семилетку. Родителям их было приятнее видеть сыновей с охапкой дров, чем со стопкой книг. Я знал, что дома их ждет брань, тутовый прут и кислая сыворотка с ломтем черствого хлеба из джугары. Меня же ждали дома книги, пластинки, родительская забота, и я тяготился этим.

Весной, когда накрапывал ароматный дождь, я несколько раз видел Джору и Мями у края пустыни, где кончается оазис. Барашки паслись сами по себе, блея, на блестящей от дождя траве. Вдали зеленели барханы. Дождинки мягко уходили в песок. Весь горизонт был в легкой воздушной сетке дождя. Ребята в телогрейках, от которых шел пар, зажигали кусты сухих камышей и весело грелись у трескучих костров, выбрасывающих в небо искры с дымом. Я гулял просто так, а они жили в поле, занимаясь делом.

Циклоп и Парша выбрали себе лакеев, которые охотно угождали им, делали все, что они приказывали, — приносили воду попить или что-нибудь подавали, помогали убрать участок или чистили им сапоги. Не довольствуясь этим, заставляли их падать перед собой ничком и целовать руки. Если лакеи сопротивлялись, то их дергали за уши, заламывали им руки. И те подчинялись. Командовали: — Скажи «Джан-ага!» — Те повторяли — Джан-ага! Господин мой! Господин мой! — Остальные ребята смеялись над унижением товарищей. Одни гордясь тем, что их не осмеливаются унижать, другие радуясь, что не над ними проделывают эти штуки. Но старались не попадаться на глаза, хихикая скрыто, пряча лицо, — какое это было наслаждение видеть, как издеваются над другими!

Циклоп и Парша, добившись своего, плевали униженным в лицо: «Холоп!» И временно теряли к ним интерес. Холопы с вымученной пугливой улыбкой (защищаясь локтями от ложного удара) вытирали рукавом плевки.

Но Циклопу и Парше интереснее было покорить «гордеца». Я видел в их глазах блеск, фантазию. Я ненавидел их, мучился. Представлял подробные картины мести. По ночам не мог спать, думая об одном — о мести.

Во время перекура, сидя на сухой траве, играли в карты. Проигравшего щелкали по лбу. Циклоп и Парша не давали себя щелкать. «Подставьте лбы!» — приказывали они своим лакеям. И те подставляли. Я смотрел со стороны.

— Иди играть! — приказал Циклоп.

— Не хочу.

— Боишься?

— Чего бояться?

— Ну тогда иди!

— Сказал — не хочу.

— Трус! — процедил Рейим, лакей Циклопа.

— Замолчи, лакей!

— Рейим, ты что, боишься его? Дай ему! — сказал Циклоп.

— И дам.

— Дерни его за подбородок!

Рейим подошел и дернул. Я ударил его по руке.

— Врежь ему, Рейим! — подзадорил Парша.

Рейим врезал. В ушах у меня зазвенело. И я ударил. Завязалась драка. Рейим вцепился мне в ворот. Я пытался отцепиться. Лицо мое горело, руки и ноги дрожали. Я не хотел продолжать драку. Но Рейим не отпускал. Вокруг кричали, науськивали, хлопали в ладоши, подсказывали. Мне удалось уложить его в грязь, но я не сел ему на живот и не придержал на лопатках, как

было принято, пока не признают победителем, а наоборот, поднял его, чтобы не пачкался. Тогда Рейим схватил лопату и с плачем и ревом стал ее вертеть вокруг себя, чуть задевая меня.

— Рейим победил! — объявил Циклоп. — Молодчик Рейим!

— Ну и здорово дал ты этому чистоплюю! — поддержали его другие.

У меня гнев прошел. Рейим же подбадривал себя ревом, вдохновляясь всеобщей поддержкой, лез дальше драться. Меня очень обидела такая несправедливость.

После этого случая драки с Рейимом стали привычными и частыми.

— Кто сильнее? — спрашивал Парша.

— Я! — бил себя в грудь Рейим.

— Я! — не отставал я.

— Хрен ты сильнее! — бросал вызов Рейим.

— Ты боишься его! — утверждал Парша.

— Не боюсь!

— Тогда толкни так, чтобы он упал, — подсказывал Парша. Рейим толкал. А вокруг ликовали.

Меня тянуло в поле, к ребятам, мне хотелось работать. Мне хотелось дружить. Но никто ни с кем не дружил. Циклоп и Парша в понятие дружбы вкладывали свой смысл.

Потом всех ребят перевели на пашню, разравнивать мотыгой неровности поливного поля.

К нам прикрепили тракториста Хайдара Бисалама. Бисалам, его прозвище, означало «проглотивший приветствие». Это был странный, известный всем в колхозе мужчина лет тридцати с яйцеобразной, наголо обритой головой, успевший шесть раз жениться и развестись. После первой ночи, наутро, жены убегали Про это шли разные слухи.

Хайдар ни с кем не здоровался — ни со знакомыми, ни с незнакомыми, ни с отцом, ни с матерью. Проходил мимо, словно сук проглотил. Когда-то старики ругали его за это, осуждали, теперь и они подшучивали над ним. Наверное, Хайдар в детстве стеснялся здороваться, потом не мог начать, боялся, как бы не высмеяли: смотрите, бесприветливый стал приветливым!

Но он, оказывается, не был угрюмым: такие штучки бросал, что Циклоп и Парша сразу поджали хвосты. Он со смаком, хохоча как полоумный, рассказывал такие гадости, что во рту его пенилась слюна.

Меня уже не тянуло на работу, но все равно ходил. Не хотелось показаться слабаком, знал, какой смех это вызовет в классе.

И особняком держаться не мог или смеяться, как другие, скрывая неприязнь к Хайдару. Он заметил это, и начал с меня.

— Ух-х, я бы твою мамочку... — и показал руками, что бы с ней сделал, и, хохотнув довольно, глянул, как я реагирую. — Я бы не отказался от ее прелестей...

Меня будто по голове ударили, хотя не совсем понял сказанное.

— Я бы ее вот так бы взял! И вот так бы сделал! — и он показал как под смех ребят.

— Вы что? — воскликнул я. — Не смейте о ней говорить!

Этого Хайдар и ждал: клюнул.

— Я сватаю его мамочку, а он своему будущему папочке говорит — не смейте, ха-ха-ха!

Силы покинули меня, дрожащими руками я поднял с земли камень:

— Еще слово ска...

— Я бы не отказался осмотреть ее приятные места.

Я бросил камень. Камень пролетел, едва задев его плечо.

Хайдар подошел и скрутил мне руки.

Я стал бить его ногами. Хайдар еще сильнее скрутил. От боли заныло все тело. Обида подкатила к горлу, я уже плакал, сгибаясь под чужой рукой, пытаясь освободиться: — Пустите!

А все вокруг смеялись и смотрели на этот концерт. Хайдар был совершенно невозмутим.

— Давайте его зарежем как барашка! — предложил он.

Парша вырыл на свежей пашне ямку, куда будто должна стечь кровь жертвы. Циклоп с Хайдаром крепко связали мне руки и ноги и опрокинули на землю. Я корчился, рыдал, лежа лицом в грязи. На шею повесили табличку: Барашек.

— Не дрыгайся! — хохотал Хайдар. — Придавите его крепко к земле! Мями, держи его голову над ямой! Рейимчик, подай нож!

«Ножом» был кол. Хайдар взял «нож», засучил рукава, помыл руки, подражая мяснику, и стал колом водить туда-сюда по горлу.

— Эх, нож тупой! Барашек еще жив! — говорил он хохоча. И все вокруг хохотали. — Позовите собак, пусть вылакают свежую кровь.

Парша и Циклоп, свистнув, позвали своих лакеев и кивнули им на яму: ну! Те опустились на четвереньки, изображая собак.

Потом руки и ноги мои развязали. Захлебываясь от слез, беззащитности, невозможности отомстить, я встал и пошел.

— Куда же ты с отрезанной головой?

И опять хохот.

— Только посмей дома рассказать! Только девчонки все рассказывают! А теперь, ребята, воздвигнем тут памятник, как-никак пролилась кровь. Напишем: «Здесь зарезан барашек по имени Юсуфка».

Шум, смех остались позади. Я держал в руке серп. Повернув за вал, вытирая кулаком слезы, я направил острие серпа на себя.

— Ты что? — Руку с серпом остановил Парша. Взгляд его был участливый.

— Ты что, шуток не понимаешь?

Я не двигался, не испытывая ненависти к ненавистному Парше.

— У него же шутки такие, он же во! Немного того! А ты так серьезно.

Я заплакал, теперь от жалости к себе. И этот Парша показался мне добрым.

— Не обращай на них внимания! Пойдем лучше покатаемся на ишаке. И вообще, не рассказывай об этом дома...

ЧУРЕК

«Отпускай хлеб твой по водам...»

Еще ребенком, сидя у арыка, в тени корявого тута, я макал в воду круглый чурек, который только что из тамдыра, и ел. Хлеб в воде остывал и разбухал. Тогда его удобнее было есть. От его корок, прилипающих к нёбу, пахло иначе, чем от корок горячего. Я ел и запивал водой из арыка, черпая пригоршнями. Вода в тени была прохладная, а под солнцем — теплая. Когда пил, хлеб оставлял на воде и его уносило течением к другому берегу в илистых камышах и паутинках. Если чурек уплывал далеко, я его доставал ивовой веткой.

Приплывали рыбки и настойчиво старались хватать крошки беззубыми ртами.

Арык проходил вдоль глиняного забора в трещинах. В трещинах были гнезда шмелей и ос, норы мышей и змей. Из дупла тута сыпалась в арык труха. Через забор протягивали к воде отяжелевшие ветви плодовые деревья.

Я чуть приподымался и доставал спелые персики. На шею сыпались старые листья, дохлые жуки. Я срывал с тающего плода пыльную кожуру и бросал ее в воду. И к ней приплывали рыбы и старались утащить угощение под воду.

«Отпускай хлеб твой по водам...»

Однажды я действительно пустил хлеб по арыку. Я тогда не

знал слов Экклесиаста. Но мысль эта пришла мне в голову. То есть не та мысль, которую хотел выразить древний мудрец, а та, простая, что можно пустить хлеб по воде.

В тамдыре хлеба было много.

Интересно было видеть, как течение уносит хлеб, интересно было сопровождать его по берегу, пока не надоест, а потом из виду потерять.

Он плывет и плывет мимо разных берегов, иногда рыбы его клюют и переворачивают, иногда ужи перерезают ему путь. То он застревает в зарослях камыша, а потом все же выбирается, то дети из незнакомых селений его видят и кричат: «Смотрите, смотрите хлеб плывет!», то земледельцы с рисовых полей, стоя по колено в поливе, его видят и лопаты свои протягивают. А он плывет, плывет мимо удивленных сел и городов, где я сам еще не побывал.

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».

С тех пор немало дней утекло, может быть столько, сколько воды по арыку. Я сам потом поплыл вслед хлебу...

Я и сейчас плыву, плыву и все еще не могу найти хлеба моего детства, который однажды отпустил. Но я знаю: где-нибудь течение остановится — в посевах или песках — и я его найду.

РАССВЕТНАЯ ЗВЕЗДА

Мой дед встанет в темную рань.

Он еще успеет увидеть улыбку предрассветной звезды, успеет намочить галоши в росе, услышать перекличку полусонных петухов. Он еще успеет отпить из чаши спокойствия, которую уносит, не проливая, ночь.

Мой дед встанет в темную рань. Наденет широченный халат и возьмет кувшин. Теплая вода заструится по старческим кистям, локтям. Пар смягчит воздух у его ноздрей. Вода польется на пыльный лист джугары, и широкий лист станет наполовину темным. Прополощет горло, сполоснет уши, нос. Развяжет кушак-платок и, вытираясь, окинет взглядом надежный забор, темные лозы, увившие глинобитную стену, прекрасную звезду утра среди других звезд, вздохнет, зевнет.

Потом мой дед пройдет на веранду, расстелет на полу молитвенный коврик так, чтобы какой-нибудь неприкаянный не пересек его путь к Мекке. Обратит лицо к священному городу, примет молитвенную позу. То опустится на колени и коснется три раза

лбом коврика, вдыхая его пыль, то встанет и снова опустится, певуче бормоча: «...бисмалла рахману рахим вилем юлет юлем вилет...».

В полусне я услышу странное пение на языке племен, к которым уводит Путь Белой Верблюдицы.

Проделав все это, что я называю утренней зарядкой и водной процедурой, мой дед сядет на суфу, возьмет к себе чайник, облокотится на подушку. Будет еще темно и потому свежо. За дувалом едва проглянет слабый просвет. Утренняя звезда так же ярко будет мигать меж колышущимися метелками джугары.

Так пройдет час-другой на свежем воздухе, в пару зеленого горячего напитка.

Потом край сада светом зальется. Дерево за суфой тень свою протянет к стене. Уже и тень поднимется по стене, и последние капли крепкого чая будут тщательно выцежены из большого чайника.

А дед мой все так же неподвижно будет продлевать удовольствие, олицетворяя собой сонное прошлое своей пустынной страны, думая, что все так же долговечно, как небо над головой, как день, похожий на зыбкий песок под ногами, который течет, но не убывает.

А радио, оборвав музыку, объявит, что космический корабль достиг далекой утренней звезды. И я увижу, мысленно, сверкающий от солнца нос звездного корабля.

Утро разгорится вовсю, засуетится. Дед мой только и сделает, что неторопливо перевернется с одного бока на другой. Тогда только я очнусь ото сна и, протерев искусанные яркими лучами и мухами глаза, скажу:

— Ас-салам-алейкум, дед!

И дед ответит:

— Алейкум-ас-салам. Живым-здоровым проснулся?

ДЫНИ

Весенний разлив несет по бульвару тысячи серых тыкв — старух и розовых дынь — девушек.

Хочется дыни.

...Они горой лежали на песке. Мы сидели в тени шалаша на камышовой циновке. Тень медленно втягивалась — подстилка все больше выползала на солнцепек. Липкие семена уже валялись там, блестя и жарясь. Над ними гудели сластены шмели. Шмели могли укусить в лицо. Тогда смешно было бы смотреть друг на друга.

— «Дольками», «пиалой»?
— Давай «дольками».
— «Цыганские зубы» хочешь?
— Хочу.

Дольки делю короткими взмахами ножа, не рассекая корку, на ломтики так, чтобы удобно было схватить ртом. Почему это назвали «цыганскими зубами», непонятно. Если считают цыганские зубы красивыми, то ломтики крупны. А если уродливыми, то ломтики — красивы!

«Пиалой» — когда дыню делят поровну на две половины. После того как мякоть съедают, остаются пустые корки, скорее похожие на расшитые тюбетейки, чем на пиалы. Можно ими подурачиться — надеть другому на голову. Можно воду из арыка в них принести — после сладкого всегда хочется пить.

Над травой мошкара. Воды арыка выцежены сквозь снежные зубья гор. Шарики коз, овец, лепешки коров — на грунтовой дорожке, ведущей к броду.

Я далеко ныряю и из-за густых зарослей лозняка слежу за ней. Дженнет сперва ищет меня глазами, затем начинает беспокоиться, а когда я выныриваю перед ней, обижается:

— Да ну тебя!

Под водой можно открыть глаза, но все там выглядит кроваво-красным, как и глаза выплывающего.

Долгое купание. Целыми днями мы только и делаем, что едим дыни и купаемся, валяемся на песке и бегаем, черные от загара, среди пахучих овечьих гуртов. Только и слышим плеск воды, звон колокольчиков, мычание, блеяние и собственный смех. Того, кто выходит последним из воды, принято дразнить, пачкая глиной. Дженнет спускается обратно в арык — смыть грязь с обожженного плеча. Выходит. Берет платье. Пора домой. Ком глины достигает бедра. Дженнет визжит, хлещет меня платьем. Идет в воду. Выходит. Я опять. Так довожу ее до слез. Тогда она глиной прямо мне в лицо! Получил! Хохочу, обнажив зубы из-под жижевой маски. И она смеется, тоненькая, стоя по колено в воде.

Каждая семья в кишлаке имела свою бахчу. А ночью бахчу охраняли. Спали на навесах. Чучела бодрствовали. От комаров защищались кизячным дымом, сизым, едким, пропитывались им. От шакалов и шпаны — капканами.

У мальчишек из городка не было ни своих огородов, ни собственных домов. Были товарные вагоны в мазуте, кипящие асфальтом улицы, сарайчики во дворе. Родители все покупали на базаре, и дыни тоже.

По ночам мы выходили стаями. Темными тенями пробирались по грядкам, под лай собак, кваканье лягушек. Топтали лозы,

срывали все, что попадалось круглое. Не различали: спелая или нет. Разбивали. Вонзали пальцы в мясистую плоть, проверяя на вкус. Попадали в капканы. На шеях наших ломали палки. Из ружья стреляли в нас солью. Уносили ноги. Уносили дыни. На бегу упивались соком. Корки бросали в дорожную пыль.

В постель ложились не умывшись. Пока сон не приходил, мучились от чрезмерно раздувшихся животов.

Пошли прогуляться к местам, где купались в детстве. Шумел арык. Отыскали брод, где переходили коровы. Хотелось бежать по раскаленному песку, обжигая пятки. Хотелось толкнуть тяжелую Дженнет в арык, но она сдержанно отстранилась.

К вечеру возвращались.

Сколько было следов на крахмале пыли и сколько всевозможных голосов! С нами возвращались и сытые коровы. Дети шли за ними с тутовыми прутьями, держа коров за хвосты. Пыль за ними подымалась столбом.

Нас окликнул знакомый старик, который когда-то чаще всех страдал от набегов, и гостеприимно пригласил в дом на дыню.

— Уже поздно, спасибо, — отказались мы.

— Ничего не поздно. В городе не придется попробовать такие «вахарманы». Уверен, что в этом году вы еще не лакомились. У старого Разыка дыни всегда первыми поспевают.

— Разык-ага, вынесите сюда, мы по пути.

— Зачем по пути, когда дома можно?

— Нам бы хотелось... — я вовремя остановился, представляя, каким нелепым покажется ему мое объяснение. Вот отойдем подальше, расколем дыню и будем упиваться соком, а корки швырять в пыль. Завтра увидят прохожие и удивленно подумают: неужели ночью дети воровали дыни? Давно такого не было. Так завершится день, и для Дженнет это будет сюрпризом.

Старик с недоумением ушел за калитку. Дженнет вопросительно взглянула на меня. Через минуту старик вышел и вручил большую прохладную дыню, охлажденную колодезной водой. Мы улыбнулись, поблагодарили. Хотелось, чтоб и он ответил, но старик снова повторил свое:

— А все-таки лучше было бы войти.

Темнело. Стрекотали тысячи сверчков. Тысячами шорохов были полны заросли вдоль проселочной дороги.

— Обидели старика, — сказала Дженнет. — Наверное, подумал: стал начальником, что ж ему теперь опускаться до нас, простых.

Мы остановились, когда дошли до заброшенной мечети.

Стены ее одиноко чернели. Я опустил дыню с плеча и едва коснулся ею колена, — дыня треснула, обрызгав соком брюки.

— Есть же нож, — напомнила Дженнет.

Половину протянул ей. Пока она осторожно откусывала, очистил свою половину от семян и погрузился в мякоть. Сладкие ломти таяли во рту. Корки бросал на дорогу. Они ложились рядом с овечьими шариками, пачкались сами и пыль превращали в ком.

— Ну чудак, не хотел в гости зайти, так донес бы до дома, — проворчала Дженнет, вытирая руки пучком сухой травы, но трава прилипла и руки еще больше запачкались. — Где я теперь помою, они липкие, неприятно!

— Здесь есть колодец.

Мы вошли во двор заброшенной мечети, осторожно ступая между колючками. От позеленевшего каменного колодца пахло мхом. Глубоко внизу плавал серп луны и рябились наши лица.

— Нет ведра, — сказала Дженнет.

— Поищи.

Но ведра не было. Я удивился, увидев рядом с колодцем, где обычно висело ведро, несгибаемый ствол карагача. Когда после ночных побоищ мы приходили сюда пить, это было маленькое деревцо, которое можно было гнуть как угодно.

АЛЕКСАНДР ЛИСНЯК

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

— А что это? — спрашиваю я через силу. Я не хочу, чтобы мама заметила, как я разочарован. Подарок называется! Тоненький пакетик...

— Осторожно! — говорит мама. — Это же переводные картинки!

На одном листике бледный, едва различимый дом. На другом — такой же бледный, почти невидимый лев. Остальные я и смотреть не стал.

— Давай-ка, набери в блюдечко теплой воды! — говорит мама.

Я подставляю блюдце под струю теплой воды, вода в нем дрожит, клонит блюдце то в одну, то в другую сторону и, переполнив, течет через край прядями.

— Нужно положить листок в воду, а потом прижать его к тетрадному листу. И потихоньку отнимать — вот смотри!

Мама достает из воды глянцевый листок и припечатывает ладонью к открытой тетрадке.

— Теперь потихоньку приподнимай...

Я приподнимаю, и мне кажется, что под листком притаилась яркая бабочка. Все во мне замирает.

Я отнимаю листок — передо мной красный дом среди цветущего шиповника, под голубым небом, у голубого моря.

Я долго смотрю на желтую сырую тропинку, которая туда

ведет... Тусклое и неясное вдруг превратилось в яркое и удивительное!

А листок в руке, теплый и мокрый, пуст.

СТРЕКОЗА

Я сидел на корточках в жарком углу двора. Солнце светило в лицо, оно слоилось, плавилось в моих глазах, воздух курчавился над искристым асфальтом. Цепкая шероховатая стрекоза пригрелась на моем плече, опустила крылья, ее шелковистый хрусталик наравне с моим глазом. Солнце словно йодом прижигало колени и лоб, но было так хорошо со стрекозой на плече, — вот-вот она улетит, исчезнет, мелькнет осколочком в синеве...

Напротив меня сухое дерево все усеяно стрекозами. Они висят на нем, как слюдяные звезды.

А эта стрекоза почему-то выбрала меня.

ОТДЕЛЬНО, НО ВМЕСТЕ

Богдан прыгнул первым и ухватился за узкую желтую лесенку. Лесенка вела на крышу трамвая.

Я прыгнул следом и тоже ухватился за лесенку — как Богдан. Теперь мы стояли по обе стороны лесенки.

Мой друг повис на вытянутых руках, я прижимался к трамваю, как к родному.

Я как бы чувствовал зыбкость своего положения, не то что Богдан. Трамвай еле полз, все неровности земли отзывались в моем теле. Мимо влачились сутулые зеленые холмы, дома постепенно сливались в разноцветную извилистую ленту, трамвай взвыл, набирая ход, забренчал звоночком, затрясся, задребезжал. Что-то сухо затрещало под нами, как рвущаяся материя, все вокруг осветила зеленая перепончатая вспышка.

Трамвай изменил звук на тонкое ровное гудение и мчался. Он сильно раскачивался, мы невольно плясали-виляли, впившись в лесенку. Тугой ветер трепетал в волосах, чубы торчали как щепки, за трамваем висела тусклая гряда пыли. Из-под колес брызгали бледные колкие искры.

Я прижался лицом к стеклу, чтобы не видеть уносящегося из-под ног, головокружительного мира.

Я видел пыльный, усыпанный подсолнечной шелухой пол (крохотные черно-белые полураскрытые устрички, от которых рябит в глазах) в аллее литых неподвижных спин. Вдруг что-то

нарушилось. Из дальнего конца вагона, качаясь и вырастая, двинулся ко мне человек.

Было страшно смотреть из зыбкого, оголенно струящегося мира в небольшое, защищенное от всего пространство, где люди сидели друг за другом, держа наготове билеты.

Мы были вне их мира и даже как бы вне их закона. Какие-то наружные привески.

Сейчас каждый мог нас уловить и свести в милицию. По ту сторону стекла я видел нарастающее лицо с безжалостно ровными усами и очками, отражающими свет. Толстые пальцы сжали поручень по ту сторону стекла, и прямо перед моим носом повис кулак.

Внезапно зеркальца очков просветлились и наши глаза встретились. Он отшатнулся и не удержался. Его бледное лицо было похоже на улетающий мяч.

Трамвай наращивал скорость, на поворотах его корму со страшным скрежетом заносило. И Богдан наваливался на меня, что-то весело крича.

Богдан думал о чем-то своем, о чем-то совсем другом, чем я! Значит, я был почти одинок вдобавок ко всему!

Мир уносился назад, словно выстреленный. Руки у меня онемели, лицо тоже.

Потом трамвай медленно приближался к неподвижности и, наконец, слился с ней, стал неподвижным.

Я спрыгнул и побежал прочь на подгибающихся ногах... Я понял, что И С П Ы Т Ы В А Ю ощущения, а Богдан ими наслаждается.

А это, что ни говорите, разные вещи.

ЛАМПЫ

Лампочка звучала, словно в ней безвыходно скреблось какое-то крохотное существо, и перегорала. И, уже погасшая, пустая, неожиданно обжигала пальцы.

Богдан собирал перегоревшие лампы. Собирал, чтобы разбить. Это были самые разные лампы — огромные и крохотные, грушевидные и круглые, и синие, и прозрачно-желтоватые и прозрачно-серые, и остренькие, похожие на сверкающие сердечки...

Лампа ударилась о бетонную стену и откатилась по асфальту. А на вид такая хрупкая!

— Да не так... Смотри!

Богдан бросил. Лампа хлопнула, разлетелась вспышкой, прихрамывая, покатился морщинистый черенок...

Еще одна лампа, почти беззвучно хлопнув, разлетелась. Поднимаю. Острые, словно оскаленные лепестки, прозрачный пестик, проволочные тычинки...

Мне жалко разбивать лампы. Жалко уничтожать или уродовать их совершенную форму.

КРУГЛОЕ ОКНО

День превратился в ночь.

Дерево, освещенное фонариком, казалось незнакомым, каменным от корней до вершины.

Его название?

А в желтом скользящем пятне уже проступили подробные веточки кустарника, бутоны роз, вытаращенные из тьмы, побеги в белесом искристом пуху.

Пятно скользнуло вверх по стене дома и провалилось в небо. Потом цепко поползло по земле, повторяя все впадины и выступы, извиваясь, корчась, и вдруг остановилось на улитке, окружило ее, успокоилось.

Улитка словно повисла в светящейся пустоте.

Робко тронулась, такая большая, плавная.

Я выключил фонарик.

Мир стремительно сжался. Все неразличимо срослось.

Все на земле и на небе стало единым, неотличимым одно от другого, утратило цвет, объем, форму.

А в плывущем пятне света все было выпуклым, цветным, словно я смотрел в другой мир через круглое окно.

ВАЛЕНТИНА

В нашем дворе у одной семьи была домработница. Домработница была молодая. Она приехала из дальнего степного села. И здесь нянчила чужого младенца, подметала квартиру и ходила на рынок. Словом, сделалась частью чужой семьи.

Каждое воскресенье домработница ходила на танцы в мореходное училище. Звали ее Валентина.

По субботам во дворе сохла ее юбка, белая юбка на проволочном каркасе, совсем как абажур. Тогда носили юбки куполом.

Говорила домработница быстро, бессвязно, на каком-то украинском диалекте.

У нее была тяжелая темная челка и квадратный подбородок.

И не только юбка ее была куполом. Колени, бедра, грудь, плечи. Она состояла из таинственной системы куполов.

Когда я, щурясь, выходил в солнечный двор, Валентина говорила:

— У, тулень...

Она меня за что-то не любила и всегда подозрительно вглядывалась. Однажды к нам во двор пришли курсанты. Сначала они играли с дворником в домино. От них пахло сукном и борщом.

Потом они стали обливаться водой из шланга, раздевшись до трусов. Трусы сверкали длинными вороneными складками.

Они ждали, когда Валентина управится по хозяйству и к ней придет ее подруга Света, тоже домработница.

Одевшись в форму, сидели, зевали, как две огромные раскаленные печки.

Дворник похохатывал и целился в них своей деревянной ногой.

Вскоре у Валентины и живот стал куполом. Она проплывала мимо как бы на всех парусах. А потом и совсем исчезла.

Во дворе долго дотлевала белая юбка-абажур, уцепившись за бельевую веревку ржавым крюком.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Марья Степановна, наша учительница, сказала: «Кто хочет принести завтра на урок родной речи свою любимую книгу?»

Все, конечно, подняли руки.

— Ну, раз так, давайте по алфавиту.

По алфавиту первым был я.

— Я хочу принести свои любимые индийские сказки! — закричал я.

— Хорошо, только зачем кричать? — говорит Марья Степановна.

— А зачем принести?

— Будем читать их вслух. Каждый по очереди.

Я с вечера положил в портфель большую зеленую книгу. Уголки обложки расслоились, обложка была такая потертая, что даже пушистая. Многие сказки я знал наизусть. Потому что все, что там было написано, уже случалось со мной.

Родная речь была третьим уроком. На переменах я ходил очень важно, книгу держал под мышкой и никому не показывал. Попов хотел у меня ее вырвать и рассмотреть, но я убежал и спрятался за урну.

— Ну и сиди там! — сказал Попов. — Все равно эти сказки не твои.

— А чьи? — закричал я.

— Индийские, — сказал Попов. — Они достояние индийского народа.

А я не знал, что сказать.

Во время большой перемены мы выбежали во двор. Было тепло. Все ребята стали играть в догонялки, а я не стал. Прижал к себе книгу и сел на камень. Здорово, все теперь узнают мои сказки! Все равно они наполовину мои и только наполовину индийские!

А потом на повозке привезли молоко в школьный буфет.

Огромные бидоны с мятыми боками. А в повозку был запряжен ослик. Я прижал ухо к пузатому боку ослика. Там что-то урчало и булькало. Ослик покосился на меня и перестал жевать. Наверное, ему не понравилось, что я подслушиваю.

У повозки было два огромных колеса.

Ослик стоял неподвижно, и девочки кормили его бутербродами. Я встал на обод колеса и взялся руками за деревянные спицы.

— Смотрите, что сейчас будет! — сказал я.

А сам не знал, что сейчас будет.

Наверное, я сделал это потому, что все обращали внимание только на ослика. А на меня с книгой никто не обращал внимания.

Вдруг ослик пошел назад. И я стал поворачиваться вместе с колесом! Я крепко сжал спицы. Все завертелось и стало чужим. Я чувствовал только руки, сжимающие спицы.

— Ой, ой! — закричали.

Когда я три раза перевернулся, я понял, как хорошо быть колесом.

— Тпру, тпрррру!

Кто-то больно взял меня за ухо. Я стоял на земле, и все было как во сне, кроме уха. Я видел только серый, бесконечно уходящий вверх фартук грузчика, похожий на трубу.

— Какой класс?

А через двор ко мне бежала Марья Степановна, и тут я испугался.

На уроке родной речи она открыла мою книгу и сказала:

— Сейчас мы по очереди будем читать индийские сказки...

— С выражением?

— С выражением, а Авдотьев пойдет за дверь.

— За что? — спросил я.

— За колесо! — сказала Марья Степановна. — Ты хотел отличиться, а мог умереть.

Я захотел вырвать у нее свою книгу и убежать. Но все, наверное, хотели услышать сказки и ждали этого урока. Все молчали.

— И нечего реветь, — сказала Марья Степановна. — Учись отвечать за свои поступки. Ну, марш за дверь!

Я вышел за дверь. И слушал в щель, как читают мою любимую сказку: «Но однажды ночью Майе приснился страшный сон: привиделось ему, что в Золотую Трипуру проникли раздоры, нищета и зависть...»

Это же была моя сказка, а ее читал без меня чужой голос, словно я был ненужным, а нужна была только моя сказка. И никто сейчас не помнил обо мне, я знал.

А если бы я забрал книгу, все бы думали обо мне, но нехорошо. Пусть уж лучше совсем не думают.

ЛОВУШКА

Ослепительная щель сжалась, стало темно. Я ударился о дверь всем телом, но она не поддалась. Только сверху посыпался песок за шиворот.

— А ну, целуйтесь! — кричит он.

Самые маленькие визжат от восторга по ту сторону двери.

— Ну! — говорит он сквозь дверь с угрозой.

Мы стоим, прижавшись к противоположным стенам, и смотрим на дверь. Последний тончайший лучик исчезает — его глаз медленно, неотвратимо приник к щели, обвыкается с темнотой.

— Пока не поцелуетесь, не выпущу! Что, белобрысый, слабо?

Где-то наверху тоненько поет по радио детский хор. Я смутно вижу ее. Слышу ее всхлипывающее дыхание. Мы играли со всеми в догонялки, и вот нас втолкнули в сарай и заперли.

— Тань...

— А...

Я осторожно протягиваю руки, как в том повторяющемся сне, забыв обо всех за дверью.

И вдруг мои руки загораются во тьме матовым, ослепительным светом.

В приоткрытых дверях стоит дворник Василь Палыч. Его силуэт на деревянной ноге. И в нестерпимой пустой тишине:

— Этта чтааа?!

ИСПЫТАНИЕ

В Североморске прямо за нашим домом начинались сопки. Вершина одной доходила почти до плоского серого неба, из которого возникал и сыпался снег. Вершина была блестящей, отполированной санками. Сначала спуск был пологим, потом крутым, почти отвесным, потом была вмятина, похожая на раковину умывальника, из которой санки выпрыгивали и летели по воздуху, а затем, виляя, мчались по ледяной бугристой тропинке между сугробов и останавливались тычком, вонзившись в какой-нибудь из них.

Я боялся съезжать на санках.

Один раз я съехал с приятелями. И ничего не чувствовал от страха. Сначала санки ползли тяжело, с хрустом проваливаясь в полированный снег, а мы перебирали ногами. Санки тронулись, поплыли сами собой, мы задрали ноги повыше, мне захотелось остановить нарастающее движение, но санки ринулись, стали падать, душа во мне оцепенела и съежилась, я перестал себя чувствовать, а очнулся только, когда они замедляли движение. Воздух теплел, становился ощутимым, знакомым. И наконец, все остановилось, пришло на свои вечные места — сараи, дом, сопки, уходящие к морю. Когда мы мчались, все это растворилось в обморочной тьме, а теперь робко обнаружилось.

— Вставай, чего расселся! — закричали мне, выдернули из-под меня санки.

Я, еще не понимая себя, снова пошел на гору.

Санки неслись мимо одни за другими. Там сидели ребята и поменьше меня.

— С дороги, куриные ноги! — кричали в санках.

Я постоял на вершине горы, но не мог себя пересилить.

И вдруг понял, что не нужно пересиливать. Не нужно слепо делать, как все.

Я увидел картонку и, поначалу краснея от смущения, примостился на ней. Перебирая ногами, поехал вниз.

Я понимал, что невыгодно выделяюсь, но так мне нравилось, а на санках нисколько.

Картонка не спешила.

Наверное, тогда я начал осознавать, что я из тех русских, которые не любят быстрой езды. То есть украинец.

Я чувствовал себя прекрасно, видел сараи, дом, сопки, уходящие к морю. Главное, ничего не исчезало. Лишь медленно поворачивалось ко мне скрытыми до этого сторонами.

Санки, мелькая, улетали вниз. В санках визжали, блеяли, ухали, иногда санки опрокидывались...

И пусть себе обгоняют!

ИНОГДА

Иногда всякое действие, движение, тем более поступок кажутся мне злом. Ведь всякое действие порождает видимые и невидимые последствия. Невидимое проступает, проявляется много позже.

И неподвижность, бездействие не кажется мне добром.

Мне нравятся скрытые, не уловимые глазом движения растущих деревьев, в них слита причина и следствие. Самый красивый танец, самое прекрасное объятие — разветвление дерева — невидимы.

Виден только памятник этому движению.

НЕБО

Издалека может показаться, что небо начинается прямо от земли. Но доходишь до этого места и видишь — небо над головой.

Досадна эта разграниченность, невозможность свободного перехода из одного состояния в иное.

Высоко в горах небо ближе, и это видно по облакам.

Но когда летишь в самолете, облака внизу, а небо все равно наверху. Абсолютное и радостное спокойствие, безжалостно-нежная синь с ледовитым свечением по краям. Н Е Б О.

Не существующее, а настолько реально!

РАКИ

Отец приехал из командировки и привез раков. Он вывалил их из портфеля в таз. И они со скрежетом копошились, налезали друг на друга. Для человека, никогда не видевшего раков, наверное, жуткое зрелище!

Я трогал пальцем их колючие мордочки, поднимал за усы. Раки щелкали хвостами, и я невольно ронял их.

Опрокинутые раки вызывали у меня смутное отвращение.

На ночь таз закрыли широкой доской, на которой обычно резали мясо. А доску придавили старинным утюгом, похожим на крейсер.

Ночью раки сдвинули доску и расползлись по квартире.

В сером свете утра мы залезали под кровати и ловили там раков. Раки были всюду.

— Раки тараканят! — сказал отец.

Случайно я наступил на одного рака и раздавил его.

Большого рака, обросшего пушистой серой пылью, мама вымела из-под шкафа.

А самый крупный рак сунул клешню в розетку и погиб. Дотянулся.

Был также мелкий рак, залезший в опрокинутую бутылку.

В кипятке раки копошились, постепенно краснея. Осень жизни. Багрец!

Живые существа превращались в пищу.

ПЛАНЕТАРИЙ

Весь класс идет в планетарий.

Подпрыгиваем, дудим в дудки, строим рожи, натягиваем до подбородка шерстяные шапочки, рычим в ухо, пересказываем фильмы жестами, меняем стеклянный шарик на железный, и наоборот, дергаем за косу («Ручка унитаза!» «Коровий хвост!» «Плетеная булка!»)

— Ты, петрушка!

— Репа!

— Сидоров, получишь!

Девчонки в белых носках, в торчащих сарафанах и бантиках — балетные существа, странные, таинственные и все такие дурацкие.

— А ты капуста!

Оскорблять названиями овощей...

Перед планетарием железобетонный глобус с выпирающими материками. Захватанный местами до темного блеска. Приятно водить по нему руками, карабкаться, ухватившись за дырку, проделанную в Тихом океане.

В планетарии старушка быстро надрывает наши билеты. Один за другим. Так белка лущит орех — ссутулясь и что-то нашептывая.

Потом душный зал. Зажглись на черном потолке созвездия. Мутный луч скользил от созвездия к созвездию, заменяя указку, женский голос, записанный на магнитофон, объяснял... Большая Медведица, Малая Медведица... Стрелец! Волосы Вероники! Ну-ну...

На настоящем небе я ничего такого не замечал.

АПТЕЧНЫЕ ТАЧКИ

Теперь уж нет таких аптечных тачек! Они и тогда были редкостью. Голубые рундуки с выгнутой, как у коляски, ручкой. Такой рундук, обязательно с застекленным верхом, как бы висит между двумя огромными колесами.

Под стеклом яркие флаконы, оранжевые клизмы, пакеты и пакетики. Обязательно зеленый одеколон — бутылка в форме виноградной грозди. Когда смотришь на нее, хочется винограду, какого не бывает.

В стекле, помрачаясь, тонет картина целого летнего мира с отороченными свечением облаками, мозаикой древесных крон, надменно изогнутым розовым блеском аптекарского подбородка... Живая блестящая картина, сквозь которую просвечивают флаконы.

На стенке рундука, словно вырезанная из серой бумаги, обязательная тень собачки. Двух. Виляют хвосты.

Аптечные тачки стоят в неожиданных местах центральной улицы, чаще всего у клумбы с душистыми табаками, окруженные трепетом бабочек. Аптекари толстые, лысые, в подтяжках. Их маленькие глазки словно засыпают, засыпают...

Бесконечные разговоры ведут с ними толстые старухи с зонтами от солнца, владелицы цветов, собачек и местного общественного мнения.

ДЕРЕВЬЯ

После уроков садим деревья в будущем Комсомольском парке. Копаем втроем яму, иногда сталкиваясь лбами. Лопаты новенькие, вдвойне тяжелые.

Наливаем в яму воды — вода сразу становится коричневой, пенистой.

— Хочешь кофе? — говорит Богдан нашему напарнику, толкая его к яме.

Вытаскиваем длинные извилистые деревца из кузова с откинутым бортом. Там целый ворох деревьев, они цепляются друг за друга, когда их тащишь.

— Тише, тише! — кричит учитель. — Вы кору оборвете!

Я держу дерево. Корни у него смешно растопыренные, в земляных крошках. Оно толстенькое, розовое, с прозрачной нежной корой.

Сажаю. По рыхлой земле, ветвясь во все стороны, тянутся ручьи пены. И вот дерево торчит — голое, чужое пустырю.

— Слышь, а у лопат ручки — деревянные!

— А какие же?!

— Значит, на каждую ручку — дерево! — Богдан важно поднимает указательный палец.

— Вот глупости! — смеется учитель.

Но как-то неуверенно.

УМЫВАЛЬНИК

В соседнем дворе был общий умывальник. И летом многие умывались во дворе.

Длинный деревянный желоб-многоножка, над ним провисла труба, из которой во все стороны торчит множество медных кранов разных калибров — некоторые забиты деревянными пробками.

Однажды утром я забежал в соседний двор — мы играли в мяч и мяч перелетел через забор.

Там вовсю плескались разные люди!

Старик в пижаме, с махровым полотенцем, повязанным вокруг головы, мыл в тазу сливы. Вода из крана торчала, как белый веник.

Великан с голым торсом брил голову, споласкивая бритву в армейском котелке. Рядом стояла собака с длинными шелковистыми каштановыми кудрями, расчесанными вдоль всей спины на пробор.

Женщины в халатах одновременно умывались и разговаривали.

Возможно, то было воскресенье.

Краны грохотали, выли, труба, мелко трясясь, троилась и двоилась, люди кашляли, хохотали, охали, дети брызгались, маленькая девочка, растопырив руки и разинув рот, с оглушительным клекотом полоскала горло.

По желобу мчался молочный ручей.

Кусочки мыла в мыльницах, красных и зеленых, светили как фонарики.

Когда мяч перелетел через забор во второй раз, я снова, уже по своей воле, а не по жребию, побежал за ним...

Куда все делось?

Солнечно, пусто. Мяч, вертясь, плавал в желобе. Вода уже просветлилась и слегка рябила.

На белом мохнатом дне — лезвие бритвы, осколки зеркала, конфетный фантик, уже пустивший розовый дымок...

Насколько прекраснее мыться здесь сообща, чем в одиночку драить зубы перед зеркалом!

КРЕМЕНЕЦ

Кременец — степная река далеко за городом.

Нежные ковыли неустанно вьются, как спина бегущего зверя. Изредка по ним катятся плетеные шары перекати-поля, большие и маленькие. То катятся, то замрут — все одновременно.

А то с прискоком, полулетя над серебряными змейками...

Все живет в единстве с ветром, выражая его мельчайшие движения.

Ветер, густой, как вода, упруго обтекает нас, вихря волосы на затылке. И ни соринки в нем!

Отец закрывает машину, но словно держится за нее, чтобы не унесло ветром.

Бегу!

Овраг. Вниз по щебенчатой осыпи, и сразу нет ветра.

Прекрасно бежать под откос! Ноги сами находят опору, все быстрее, все сильнее ударяет снизу земля по ногам, — почти не чувствуешь их, паришь...

И вот я в лакированном дожде травы, осыпь, затихая, шуршит за спиной. Бархатный шероховатый сплошной треск кузнечиков в одном месте достигает звона — цикада.

Воздух курчав, словно изъеден тайными письменами над блеском камней.

Пискнул в небе кобчик, мигнул кривыми крыльями.

Там, наверху, сплошной ветер, птица, преодолевая ветер, неподвижна. Кременец слоисто трепещется по дну оврага, изгибом уходит в дым.

И снова пискнул кобчик, напомнил о ветре.

А здесь зной сразу приклеился ко всему телу. Клочковатые, когтистые дебри словно висят в воздухе. Кусты шиповника сплошь цветут, как бредят, камни вокруг под нежным слоем розовых лепестков. Трата самого нежного, что может дать этот куст. Взамен зеленые, твердо-блестящие ягоды. Рядом с прошлогодними, темными, хрупкими...

Ягода, начиненная мелкой щетиной. А говорят, природа не шутит.

Мама медленно идет по склону, собирая шиповник в холщовую сумку. Отец идет по краю обрыва, на груди висит кинокамера, в руке посох, вот он останавливается, широко расставив ноги, и смотрит вдаль. Пародия на первопроходца.

А вот по самой земле тянется ветвь малины. Тянусь и я — из куста с сипением выворачивается серая змея.

Зачем змее малина?

Встречные кусты скребут, рвут тело... Кажется, змея летит за мной, как извилистое копье.

Я слыхал, змеи не умирают, а только меняют кожу.

Потайная поляна, потайной родничок.

ШАРЫ

Из красного комка медленно становится розовый шар — с каждым моим вдохом все прозрачнее, круглее, невесомей, — теплые тугие бока его уже не скрипят, а ласково воркуют от каждого прикосновения, он ожил, он выбивается из рук.

Сжав зубами черенок шара, обматываю его ниткой, словно плыву в розовой дымке — шар заслонил все — и вдруг, сразу, ничего не остается, кроме терпкого вкуса во рту, — шар летит от меня по ветру, огромный, сверкающий, с темно-красной пуповиной...

Вот он висит в синеве, и на его боку ослепительный мохнатый блик...

Не торопясь, надуваю остальные. Одни летят низко над землей, задевая ниткой траву, за что-нибудь цепляются, падают, пойманные, бьются о землю...

Другие летят ровно, выше деревьев, сжимаясь на синеве в точечку.

Но вот один шар лопнул, черная звездочка отвесно упала, и небо в том месте кажется неправдоподобно пустым.

КАК Я ТОНУЛ

Отец взял меня на лодочную станцию — помочь ему вытянуть лодку повыше на берег.

Он запретил мне купаться, потому что я был немного простужен. Да еще сделалось ветрено, засеменил дождь, вода, тяжко колыхнувшись, натянулась и зазвенела шуршащим звоном.

Отец все же разделся, ежась от водяной пудры, и пошел в дальний конец мостка. Лодки, по обе стороны привязанные к мостку, сбились носами и поскуливали. В отдалении на перевернутом ящике сидел рыбак. Его островерхий плащ уже залоснился от дождя. У его ног лежала огромная рыба с открытым ртом. Все было пронизано больным мутным светом.

Я побежал за отцом. Отец вонзился в воду, оставив на ней огромную растущую оспину. Я потянулся к воде потрогать ее скользкую гладь. И ушел в близкую вздутую воду.

А плавать я тогда не умел. Долго висел в рыжевато-зеленом сумраке. Не мог вдохнуть, и мерещился рыбак, и рыба, лежащая у его ног, как большой кувшин, и не было неба и земли... С визгом вдохнув воздуха, заполнив им все внутри себя, я закувыркался на горящей плоскости, яростно и молча, пока не нашел ногами дно. Солнце проступало в небе, накаляясь на глазах.

— Ты же чуть не утонул! — закричал отец, стоя по пояс в воде и грозя мне кулаком.

Жить бы всегда ослепительно, целиком, как в ту минуту!

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

После дождя улица перед нашими окнами превращалась в быструю реку. Соцветья пены белели над ухабами.

По улице, лениво переваливаясь, шли вырванные кусты, тащились осколки камней, весело подпрыгивая, мчался обод бочки с двумя водяными крылышками...

Ливень в тех краях преображал мир.

Люди не могли перейти улицу, толпились на берегу.

Ливень обрывался, река еще какое-то время текла, отчетливо звуча в полной тишине. Пригвожденная солнцем, мелела и исчезала.

Между булыжниками желтели лишь мокрые жилы наносного песка.

Робко, крадучись, проезжала первая машина...

То улица, то река — как прекрасно!

ЛАРИСА ВОЛОДИМЕРОВА

ЛЮБОВЬ

Я — силуэт. Я — свет настольной лампы.
Не погаси меня! Я твой полет
иль тот щенок, который даже лапы
хозяину еще не подает.

СКАЗКА

Ночная бабочка-горбунья,
в саду цветы грибами пахнут.
Мы гасим свет и улетаем.

ЛЕНЬ

Что ты, небо, развиселось?

Небо плюхается в лужу,
говорит — летать устало,
вот поплаваю немного.

ЕФИМ ЕФИМОВСКИЙ

ДЕНЬ РАДИО

Грозоотметчик был готов.
Антенны шнур раскручен.
И в минном классе ждал Попов,
пока сойдутся тучи.
Рождалась радиоволна
в ударе гроз. И кстати —
на грозы щедрая весна
в тот год была в Кронштадте.
Стемнело небо. Свод поник.
Как сильно бьется сердце. . .
Антенны медный проводник
пронзают волны Герца!
Пришел сигнал без проводов
нехоженой тропою! . .

О том докладывал Попов
в День радио. Весною.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

В пещеру вошел — неказист,
невысок.
Стал молча развязывать шкуру.

— Чего ты еще изобрел?
— Колесо.
Старейшины глянули хмуро:
— А мы на охоту как раз собрались.
— Так вам колесо не помеха.
— Ну вот что!
Бери ты его и
катись!..
— Смотрите! И вправду
ПОЕХАЛ!

ЧУДАК АМПЕР

Рассеянность Ампера...
Вы слышали о ней?
Как ждал Ампер Ампера
у собственных дверей?
Оставил он записку:
«Ампер пошел гулять».
Пришел. Прочел записку
и сел Ампера ждать.
Он взял магнит обычный
и стал вертеть в руках.
И вдруг Ампер заметил
движенье в проводах.
Ах! Все они под током!
Вот чудака пример:
закон Андре Ампера
открыл Андре Ампер.

ЕЛЕНА КУКУШКИНА

С УЧЕТОМ ИЗНОСА

По дороге из командировки Никитин познакомился с убийственной женщиной, с которой хотелось продолжить отношения. Но для этого требовались карманные деньги. И немалые.

«Где же эти деньги взять, коль их нет?» — метался Никитин. Он хватался руками за голову и тоскливо стонал.

«Черт побери! — вдруг осенило его. — Нужно сдать что-нибудь в ломбард! Самое дорогое, что подороже».

Единственное дорогое, что было у Никитина, — это любовь к собственной жене.

«Э, была не была! Обойдусь пару месяцев и без этой любви!»

Никитин надавил на свою грудь и подставил горсть под выпавшую любовь.

Любовь золотилась и переливалась в ладонях, лаская их своим теплом. Сжав руки лодочкой, Никитин поискал глазами тару. Не найдя ничего лучше футляра от часов, он аккуратно переложил туда любовь. И понес в ломбард.

Внимательно изучив объявление, что залоговая цена устанавливается согласно прейскуранту с учетом процента износа, Никитин скромно пристроился к очереди, кипевшей специфическими ломбардными страстями.

— Граждане! — громко выкрикнула приемщица. — Внимательно ознакомьтесь со списком принимаемых в залог чувств и не отвлекайте меня всякой ерундой!

— Скажите! — толкнулся к приемщице Никитин. — А в какую кладовую принимают Любовь?

— Внизу, в первую, где и драгоценности, — ответила приемщица и уважительно посмотрела на него.

Народ, толпившийся с различной мелочонкой, почтительно расступился перед Никитиным.

Он спустился в первую кладовую, где было чинно и пусто. Лишь две ветхие старушки сдавали в заклад золотые часы «Буре» и фамильные бриллианты. Приемщица, в черном сатиновом халате, с шестью золотыми перстнями солидного достоинства, закончила расчеты со старушками и высокомерно обратилась к Никитину:

— Ну, что у вас?

— Да вот... — Никитин раскрыл футляр и протянул приемщице.

— Что это?

— Любовь к жене.

Заинтересованные старушки вернулись и остановились возле Никитина.

— К своей или чужой жене?

— К своей! — Никитин ежился от вопросов.

— То-то же! А то тащут сюда разную бижутерию... Зина! — вдруг гаркнула приемщица. — Иди посмотри — чего!

Из другого помещения выплыла Зина.

— О-о-ой! — всплеснула она руками. — Бывает же в жизни такая красота!

Она взяла в руки футляр, где доверчиво золотилась и переливалась Любовь. Старушки потянулись к Зине.

— Деньги неожиданно понадобились. А то б я сроду... — залепетал Никитин.

Но его никто не слушал. У Зины и у старушки разгладились и посветлели лица. Они, не отрываясь, смотрели на Любовь.

— Ну, будет! — приемщица рванула футляр из Зининых рук. — Красота! Да не про нашу честь!

— Может, ради денег-то какой завалящий бриллиантик лучше б сдал? — спросила одна из старушек.

— Да какие бриллианты? В мои-то годы? Одно только это и есть.

Старушки покачали головами и ушли. А приемщица вывалила Любовь в полиэтиленовый мешочек.

— Храним только в своей таре! — сказал она и бросила мешочек на весы.

Никитин смотрел на Любовь, которая в мешочке стала похожа на грязное тесто. Приемщица назвала сногсшибательную

цену, затем процент износа, срезавший эту цену наполовину, а Никитин все смотрел.

— Согласны с оценкой? — трижды спросила его приемщица, пока наконец он не ответил:

— Нет, не согласен... Теперь она уже вообще ничего не стоит.

— Чего ж вы голову морочите?

— А я только сейчас это понял... Отдайте назад!

Приемщица тряхнула мешочек, Никитин подставил ладони. И жалкий холодный комочек оказался в его руках.

Никитин бережно сжал руки лодочкой и грел дыханием этот комочек. Почувствовав наконец тепло, он развернул ладони. В них переливалась и колотилась Любовь.

— Ну вот!.. Ну вот! — прошептал Никитин. — А то чуть было не угробил. И ведь по собственной глупости.

НЕОБХОДИМАЯ

В солнечный день в нарядной людской толпе шла по улицам Дружба. Она искала одиноких, тех, кто больше всех в ней нуждался...

Посреди тротуара, нервно притопывая туфелькой, стояла Женщина.

— Женщина! — обратилась к ней Дружба. — Хочешь быть со мной?

— Зачем ты мне нужна?

— Я нужна всем.

— Да-а? — Женщина смерила Дружбу оценивающим взглядом. — Кто ж это ты, такая необходимая?

— Дружба.

— Дру-ужба? Иди-ка ты! Дружба. Мужчины о тебе мечтают. А женщине ты ни к чему.

Дружба извиняюще улыбнулась и смешалась с толпой.

На углу одной из улиц переминался Юноша, тоскливо кидая взгляды по сторонам. Дружба подошла к нему.

— Юноша! Ты одинок. Я хочу быть с тобой.

— А кто ты, такая чуткая?

— Дружба.

— Знаешь, — Юноша виновато посмотрел на нее, — я жду свою возлюбленную. Она, наверное, уже скоро придет. Ты мне очень нравишься. Но моя девушка будет против тебя. А она мне дороже.

Дружба недоуменно пожала плечами и отошла.

У витрины большого универмага одинокий Мужчина курил сигарету за сигаретой и взволнованно пересчитывал деньги.

— Мужчина, — подошла к нему Дружба, — хочешь, я буду с тобой?

— Нда? — Мужчина уставился на нее прищуренным взглядом. — И кто же ты, такая доступная?

— Я Дружба.

— А с какой стати ты предлагаешь себя?

— Я вижу, что тебе трудно. Со мной тебе будет легче.

— Ты заблуждаешься. Если ты будешь со мною, это очень осложнит мою жизнь. И я постараюсь от тебя избавиться: продать или, на худой конец, поменять.

Дружба обиженно повернулась к Мужчине спиной и увидела в скверике сидящего на скамейке Старика.

— Старик! — обратилась к нему Дружба. — Ты одинок?

— Очень.

— Хочешь, я скрашу твою старость?

— А кто ты, такая великодушная?

— Дружба я.

— Эх, Дружба, Дружба! — Старик укоризненно посмотрел на нее умными старыми глазами. — Где ж ты раньше была, Дружба? Стар я теперь для тебя. Иди! Мне ничего не нужно.

Рядом со скамейкой споткнулся и упал бежавший мимо Ребенок. Дружба кинулась к нему, подняла, отряхнула.

— Ты чей?

— Ничей.

— А где твои мама и папа?

— Мама на работе, а папы и вовсе нету.

— А братья, сестры?

— Таких вообще не бывает.

— Выходит, ты одинок!

— Еще как! — Ребенок не по-детски вздохнул.

— Я Дружба. Можно, я буду с тобой?

— Дру-ужба! Дружбочка! — Ребенок кинулся Дружбе на шею и расцеловал ее. — Какая ты красивая, Дружба! Если бы ты знала, как ты мне нужна!..

В огромной людской толпе шла Дружба. Она несла на руках Ребенка. Ребенок заглядывал ей в глаза и приговаривал:

— Ты только не бросай меня. Хорошо? Ты только будь со мной все время. Ладно?

— Да, да, — отвечала Дружба, крепко прижимая к себе Ребенка. — Я буду с тобою все время, всю жизнь. — И подумала: «Если однажды ты сам не захочешь стать одиноким».

ЭМИЛИЯ КУНДЫШЕВА

ЗЯТЬ

В избе было неприбрано, печь нетоплена, вода непринесена. Рано утром старуха поднялась, поставила самовар, но в доме и куска хлеба не нашлось, так что чай попили с чем придется. И снова легли.

Старуха лежала на кровати — третий день от сердечной болезни у нее ноги пухли, старик — напротив на оттоманке, у него, как всегда в осеннюю пору, поясницу ломило — ни стоять, ни ходить не мог.

Лежали и ждали с утренним автобусом из Луги дочку Галину с мужем Анатолием. Ожидая молодых, старики, каждый на своей постели, думали одно и то же: что Галина вышла замуж недавно, полгода назад, что они, старики, уж бояться начали, что она в девках останется, так долго женихов выбирала, — этот выпивает, тот разведенный, у третьего мать слишком строгая, — и вот все ж нашла, выбрала себе по душе. Анатолий работает шофером, зарабатывает прилично, не пьет и из себя видный. За эти полгода молодые несколько раз к ним наведывались, в последний раз, две недели назад, приезжала одна Галина, сказала, что Анатолия в дальний рейс послали, обещала сегодня вместе с мужем приехать...

Так лежали старики, ведя между собой этот неслышный разговор — за долгую жизнь вместе они научились говорить друг с другом без слов, — и только когда старуха хотела было под-

няться, чтоб остатками щепок все ж печь затопить, старик пробурчал с оттоманки:

— Лежи ты, подъедут сейчас.

И точно, в ту минуту, как он сказал, за домом послышался шум подошедшего к остановке автобуса, потом раздались смех и разговоры выскочивших из автобуса пассажиров, затем стало слышно, как кто-то вошел на крыльцо, потом в сени, и наконец дверь открылась и на пороге показались зарумянившаяся от утреннего холодка Галина, а позади нее, в темноте сеней, высокий смугловатый Анатолий.

— Здрасьте-пожалуйста! Лежат! — пройдя в избу и с дочерним беспокойством поглядывая на родителей, затараторила Галина. — Захворали, что ли?

Пока старуха рассказывала дочери про свою и старикову болезни, про то, что печь нетоплена и воды ни капли нет, и за хлебом два дня сходить было некому, старик приветливо смотрел на зятя, человека в доме еще вроде нового, но уже нечужого.

Зять снял и повесил на вешалку у двери кожаную шоферскую куртку, одернул рабочий, ладно сидящий на нем пиджак, надетый поверх темного свитера, и твердой размеренной походкой подошел к старику.

— Что, батя, болеем? — спросил он.

Старик безнадежно махнул рукой.

— Хотел вчера было дров наколоть, так спину так схватило, что еле-еле на карачках до крыльца дополз, — пожаловался он.

— Ясно, — кивнул зять, — а топор-то где?

— Так в сараюшке на дровах и лежит, — сообщил старик и, посмотрев снизу на чернобровое с прямым крупным носом лицо зятя, на его высокие скулы и темные тени под ними, подумал, что где-то такое лицо видел и, когда видел, получал удовольствие.

Ни слова не говоря, зять вышел из избы во двор, и через минуту старик со своей оттоманки увидел в окно, как тот вошел в сараюшку, вынес из нее на лужайку кругляки, топор и начал колоть.

«Ладно колет, — отметил про себя старик, глядя, как зять, поддерживая левой рукой кругляк, правой быстрыми легкими ударами раскалывает его на поленья и точным уверенным броском кидает их в общую кучу, — мужик, настоящий мужик...»

Тем временем Галина подмела в избе, сходила на колодец, в магазин за хлебом и, когда Анатолий поднес в кухню охапку дров, затопила печь.

Глядя на молодых — на Галину, которая то и дело кидала

на мужа быстрые внимательные взгляды, на Анатолия, деловито, без лишних слов помогающего жене, — старик понял, что зять его из тех мужиков, что к женам не липнут и, может, даже особо не балуют их, но жены их уважают, ценят, знают, что с такими мужьями не пропадут.

Поставив варить в печку обед, Галина сообщила, что договорилась с бабами в магазине за клюквой сходить на болотце, так что сейчас уходит, и пусть они обедают без нее.

Она ушла, и старик, взглянув в окно, увидел, что зять возится с дверью сараюшки. Дверь давно уже перекосилась и отходила от косяка, и зять, привалившись к нему боком, переставлял верхнюю петлю.

Старик перевел взгляд на старуху. На лице ее было довольство, она безмолвно говорила: «Ну вот, изба протоплена, вода принесена, обед сварен». — «И зять вон дверь сараюшки прилаживает», — мысленно добавил старик. Лицо старухи стало строже, она будто сказала: «А как же иначе?! Слава богу, не чужие. Кто ж за нас теперь делать будет?!»

Старик незаметно задремал и неожиданно вдруг проснулся. Спросонок ему показалось, что кто-то настойчиво стучится в избу. Он открыл глаза и увидел, что светло-серое с утра небо теперь за сараюшкой потемнело, а тонкий, побуревший за сентябрь тополь у крыльца запрокинулся от сильного ветра. Стук раздавался на крыльце, и, прислушавшись, старик сообразил, что это стучит Анатолий — зять, догадался он, ставит новую ступень: нашел в сараюшке крепкую доску и заменяет ею старую треснувшую, про которую старуха давно говорила, а у него, старика, все руки не доходили. Старик представил светлую на темном крыльце крепкую ступень с парой плотно забитых по краям шляпок гвоздей и, почувствовав под ногой приятную твердость новой ступени, начал было подниматься на крыльцо, как вдруг кто-то сзади из-за перил окликнул его:

— Батя, а батя!

Старик очнулся. У изголовья оттоманки стоял зять и спрашивал:

— Батя, жерди-то, говорю, у вас есть? Изгородь в огороде надо заделать...

— За домом жерди лежат, найдешь, — сказала с кровати старуха.

Старик окончательно пришел в себя и улыбнулся зятю:

— Ты б посидел, отдохнул, всего-то не переделать.

— Чего ж сидеть, раз приехал, — ответил зять, — вот только дождь пошел, не повезло...

И правда, своими ставшими с годами дальнозоркими глазами

старик увидел, что черные оконца сараюшки наискось перечеркнуты серыми полосками дождя, а клубистая синева неба опустилась и доползла до тополя.

— А ты поищи в сенях одежу старую, — подсказала старуха, — на гвозде висит.

Зять вышел, и старик, посмотрев на старуху, сказал глазами:

«Вот, без слов, без указу сам видит, что надо делать». — «Так и надо», — степенно ответила старуха.

Старик вслух сказал:

— Неудобно все ж — человек на выходной приехал...

Вдруг за окном мелькнул кто-то большой, высокий и темный. От неожиданности старик почувствовал какой-то странный мгновенный страх, и, только когда этот кто-то прошел мимо окна опять, страх сменился облегчением — старик узнал зятя. Он был одет теперь в его, старикову, старую плащ-палатку, которую ветер рвал, развевал и поднимал над ним дыбом. Зять наклонил от ветра голову, и старик наконец догадался, кого он напоминает ему: партизана-разведчика из фильма, который они со старухой недавно смотрели по телевизору, — точно так же на разведчике, когда он полем шел на задание, развевалась от ветра плащ-палатка и лицо его с темными, как у зятя, тенями под скулами было, как у того, сурово...

Ветер бросил в окно мелкую россыпь капель, двор за стеклом расстаял в мутной пелене дождя, и в пелене этой где-то за домом послышался звук пилы и топора — зять пилил и приколачивал жерди...

Старуха медленно и тяжело встала с кровати и, шаркая ногами, направилась к печи.

— Встала уже? — проворчал старик.

— Надо ж человека кормить, да и мы с тобой когда чай-то пили?! — ответила она и начала доставать из печи кастрюли, чугун, выставила на стол посуду и принесенную Галиной из магазина четвертушку.

Через некоторое время появился и Анатолий. Он снял у порога сапоги и, прежде чем сесть за стол, подошел к печи, потрогал ее рукой и, оглядевшись, кивнул:

— Вроде протопилась. А то сырость в доме была.

— А холодина какая! — добавил старик. — Мы со старухой ночью тулупами сверху покрылись, чуть не околели от холода. Сейчас-то что! — удовлетворенно сказал он.

Он с трудом поднялся с оттоманки и, согнувшись, мелкими шажками добрался до стола. Села за стол и старуха.

Зять откупорил бутылку, спросил:

— Налить, батя?

— Налей, — кивнул старик и, покосившись на старуху, укоризненно глядящую на его стопку, быстро добавил: — Чуток налей, много-то мне нельзя.

Выпили, и старик с удовольствием заметил, как зять разом опрокинул в рот стопку, потом начал быстро и аккуратно черпать из тарелки суп, перед вторым выпил еще стопку и отодвинул ее.

— Может, еще? — сочувственно спросил старик.

— Все, — ответил зять, — хватит.

— Магазин-то у нас сегодня без перерыва, — подмигнул старик.

Старуха не выдержала.

— Ты уж думаешь, что все, как Борька твой, — обратилась она к старику.

— Ничего я не думаю и думать об нем не хочу, — отмахнулся старик, потом пояснил зятю: — Это племянник мой, иногда в субботу к нам из Волосова приезжает. На рыбалку.

— Тоже рыбак, — покачала головой старуха, — напьется с утра и весь день песни орет. Прямо слушать тошно. Хоть из дому беги.

— Руки у человека золотые, — вставил старик, — зарабатывает слава богу, мог бы жить по-человечески, все б иметь мог, а он... Кроме водки ни об чем заботы нет!

— А сейчас молодым вообще ничего не надо, — сердито сказала старуха, — лишь бы погулять. Это раньше все — дом, хозяйство...

— Вот-вот, — закивал старик, — я и говорю — одна гулянка в голове. Приедет, напьется, а потом еще приставать начнет, чтоб ему на пол-литра дали. А не дашь — чуть в драку не лезет, как только не обзовет... Я ему в прошлый раз утром, как он уезжал, так и сказал: «Знаешь что, Борис, чтоб ты к нам больше не приезжал. Видеть тебя не хотим больше. Вот так...» А то, честное слово, как приедет, так нам со старухой житья от него нет...

— Ну хватит об нем, о пьянице, — отрезала старуха.

Дослушав стариков, зять встал из-за стола, сел у порога, опять надел высокие, черные, из матовой толстой резины сапоги и вышел.

Старики за обед притомились. Кое-как дотащившись до постелей, они снова легли и начали дружно думать о пьянице Борьке, о том, как он, пьяный, каждый раз скандалы в доме устраивает, ни за что оскорбляет их, о том, что старик пра-

вильно сделал, что прогнал его, и он, слава богу, поэтому и не приехал сегодня...

Так лежали старики в согласном молчании, и оба одновременно подняли вверх глаза, когда в потемневшей горнице — будто кто-то снаружи накинул на избу темное покрывало — по низкому потолку раздались шаги. Шаги были тяжелые, размеренные, из одного угла, от печи, до другого, к иконе. И обратно. Потом шаги затихли и снова раздались, уже над головой старика, и тут, где доски потолка прогнулись, звучали совсем близко, громко и со скрипом. И снова замолкли, и опять прозвучали, уже над старухой.

Поводя глазами по потолку, старики сначала удивились: «Кто ж это там, наверху?», потом сообразили и стали ждать. Шаги исчезли где-то за печью, и тотчас дверь в горницу открылась и в угол прошел зять. Звякая рукомойником, он начал споласкивать руки.

— Чего ты там делал-то, на чердаке? — не выдержал старик.

Зять стряхнул с рук в раковину капли и, встав к старикам боком, принялся тщательно вытирать руки о повешенное у рукомойника полотенце.

— Крыша-то гнилая, — после молчания сказал он.

— Какая ж гнилая? — часто заморгал глазами старик. — Недавно крыли.

— Дыры везде, — глухо отозвался зять и, опять помолчав, добавил: — Плохо вы за домом смотрите.

— На наш век хватит, — обиделась старуха.

Зять повернул лицо. И неожиданно громко и раздраженно проговорил:

— На ваш-то, может, и хватит...

При этом он хотел что-то еще добавить, но только крепко сжал губы...

Старик взглянул на него и обмер: под высокими скулами зятя выставились, как два больших кулака, желваки, а глаза его в темном углу сверкнули на мгновенье желтым волчьим блеском... Ни слова больше не говоря, он вышел, с силой захлопнув за собой двери.

«Старуха, ты слышала, видела, поняла?! — безмолвно крикнул старик. — Дураки мы с тобой, дураки старые!..» — «Уж точно дураки», — длинно и тяжело вздохнула старуха.

И оба застыли, придавленные одной невидимой и холодной, как каменная плита, тяжестью.

Вскоре зять снова появился в горнице. Он, видимо, отошел и теперь со спокойным побледневшим лицом сел на лавку возле

печи и, опрокинув перед собой табурет, начал приколачивать к сиденью еще раньше замеченную им шатающуюся ножку.

Но со своих высоких подушек старуха теперь с поджатыми губами, напряженным и подозрительным взглядом следила за каждым его движением, а старик закрыл глаза, и в голове его потянулись тягучие, ставшие этой осенью привычными мысли о доме, о давно написанном на имя Галины завещании, о неотвратимой смерти и, взглянув из-под прикрытых век на все колотящего молотком по табурету зятя, он подумал с тоской: «Приехал бы Борька, выпили б с ним. Может, веселей бы стало...»

ПАШКА

До самого вечера в доме Журавлевых только и разговоров было что про неожиданных гостей и про Пашку. Семен Журавлев расхаживал по избе из угла в угол и, дымя папиросой, улыбаясь, говорил:

— Это надо ж, чего только в кино не придумывают! Кого не снимают только!..

— А нам-то что? Нас попросили — мы и дали, — отозвалась из кухни жена Семена Зинаида, замешивая в большой кастрюле тесто для воскресного пирога, — пусть хоть жука навозного приручают!.. Нам от этого только хлопот меньше, а то, честное слово, надоело каждый божий день из-за Пашки печку топить... Такая ненасытная стала — полный котел картошки зараз поедает... А когда еще молодую копать начнем? Опять же, шестьдесят рублей на дороге не валяются...

— Так это понятно, — соглашался Семен и, довольно посмеиваясь, вспоминал, что произошло сегодня.

А произошло вот что. Днем, возясь в сараюшке с лодочным мотором, он вдруг услышал, как к дому их, первому с края деревни, кто-то подъехал. Семен выглянул во двор и увидел на дороге перед калиткой желтый «рафик» и выходящих из него солидного мужчину в темных очках и худенькую, со строгим лицом девушку в брюках. Из огорода появилась Зинаида, тихонько шепнула мужу:

— Кто ж это такие?

— Может, какая комиссия, — сквозь зубы процедил Семен.

Между тем приехавшие открыли калитку, вошли во двор и, поздоровавшись, спросили, кто тут будут хозяева.

— Ну мы, — кивнул Семен.

— Тогда скажите, пожалуйста, — обратился к нему мужчина, — вы свинью у себя держите?

— Ну держим, — опять кивнул Семен, напряженно всматриваясь в темные очки приехавшего.

— А сколько ей сейчас времени? — продолжал допрашивать тот.

— Семь месяцев, — теребя передник, ответила Зинаида и с беспокойством спросила: — А чего такое?

Мужчина достал из кармана пиджака синюю книжечку, развернув, показал ее Журавлевым и начал с того, что он директор кинокартины, что их съемочная группа снимает недалеко от деревни, на противоположном берегу озера, фильм, кинокомедию для детей, про животных...

— И, понимаете, так получилось, что нам сейчас неожиданно по ходу сценария понадобилась свинья. Телеграфировали в цирк, а цирк, оказывается, на гастроли уехал... Вот мы и решили заехать к вам. Может быть, вы согласитесь примерно на месяц нам свою свинью предоставить?..

Журавлевы переглянулись.

— А за это, — продолжал директор, — мы вам за нее за каждый съемочный день по два рубля заплатим и кормами ее обеспечим... — и директор вопросительно посмотрел на Семена.

— А что вы хоть делать с ней будете? — подумав, спросил тот.

— Естественно что. Снимать... Дрессировать и снимать... Вот наша дрессировщица, — директор кивнул в сторону стоящей возле него девушки. — Ну как, согласны? — опять обратился он к Семену.

— Да мы что, мы не против, — смекнув наконец всю выгоду предложения, но стараясь при этом не выдать особой радости, неопределенно улыбнулся Семен, потом для очистки совести все ж предложил: — А может, вам лучше наш Дружок подойдет? Он умный пес, все понимает... Или хоть тот же петух...

— Правда, правда, — поддакнула Зинаида, испытывая, очевидно, те же чувства, что и муж, — он, если кто мимо босой пробежит, сразу за пятки клевать начнет...

— Да нет, — вздохнув, терпеливо повторил директор,— в том-то и дело, что нам свинья нужна.

— Так, может, она вам и не подойдет еще, — уже с легким беспокойством в голосе сказал Семен.

— А мы давайте посмотрим, — ответил директор и вздохнул теперь облегченно.

Все четверо вошли в низкий, темный, пахнущий навозом хлев

и приблизились к загородке, за которой в углу на прелой бурой соломе лежала на боку свинья Пашка.

— Вон она, красавица, разлеглась, — смущенно засмеялась Зинаида, — ишь, вывозилась как!

Пашке, действительно, до кинозвезды было еще далеко.

— Так я и говорю, свинья есть свинья, — пробормотал Семен, — чего с нее возьмешь?!

Услышав голоса хозяев, Пашка мгновенно вскочила и метнулась к загородке. Топчась по корыту, по остаткам месива, она начала тыкаться пятачком в расщелины между досками, потом встала на задние ноги.

Директор и дрессировщица начали между собой переговариваться.

— Ну как ты считаешь? — спросил директор.

— По-моему, подойдет, — ответила дрессировщица, нагнувшись над перегородкой, — вон какая мордаха у нее славная...

— А не мелковата?

— Где ж мелковата?! — не выдержал Семен. — Я ее каждый месяц сантиметром мерю. В норме она... Это здесь, в потемках, плохо видать...

— Да нам и не надо, чтоб она особенно крупной была, — объяснила дрессировщица.

— Да что говорить, — заключила Зинаида, — свинья хорошая. Не сомневайтесь...

После знакомства с Пашкой прошли в избу. Директор записал паспортные данные Семена.

— Может, пообедаете с нами? — на радостях предложила Зинаида.

— Отметить бы надо, — подмигнул гостям Семен и, подойдя к буфету, открыл было дверцу его.

— Нет, нет, спасибо, — поспешно отказался директор, — мы торопимся...

Дрессировщица сходила к автобусу, принесла длинную толстую веревку. Журавлевы сами вызвались погрузить Пашку. Семен накинул на свинью петлю и потянул ее из хлева во двор, а Зинаида понесла перед Пашкиной мордой ведро с пойлом. По наклонной доске визжащую, упирающуюся Пашку втащили в автобус, а там Семен быстро и ловко связал ей, опрокинутой набок, ноги веревкой...

Когда с Пашкой было покончено, в автобус вошли директор и дрессировщица. Дрессировщица села за руль.

— Ну счастливо вам, счастливо! — замахали руками Журавлевы, и автобус с Пашкой уехал...

Перед сном, расчесывая на постели волосы, Зинаида, посмеиваясь, говорила:

— Нинка-то Филиппова, я видела, все из окошка своего глядела, когда Пашку в автобус тащили. Завтра, как зайдет, узнает, кто приезжал да зачем, так год со мной не будет здороваться... Я, помню, зимой кримплену в городе купила, так после этого она с неделю в мою сторону не глядела...

— Да знаю я ее, — благодушно отвечал Семен, докуривая у открытого окна последнюю папиросу, — у нее и брат, Федька, такой же — завистливый... Не дай бог, чтоб людям хорошо было...

Проходили дни, недели... Зинаида начала нервничать: а вдруг Пашку не привезут, вдруг, говорила она, «артисты эти» себе присвоят ее? Вдруг Пашка заболела или еще того хуже...

— Они ж там, если что, и не подумают ветеринара вызвать, — время от времени делилась она тревогами с мужем.

Семен как мужчина виду, что беспокоится, не показывал — крепился, молчал, но, когда жена вспоминала про Пашку, закуривал и двигал скулами — болело у него за свинью сердце: осенью он за нее, месячного поросенка, сорок пять рублей отдал, с мая крапиву для нее в огороде косил — специально для росту давал, к Новому году Пашка должна была пудов девять потянуть...

Но вот прошел приблизительно месяц, и на имя Семена почтальон принес денежный перевод на сумму пятьдесят восемь рублей семьдесят семь копеек, а вечером в тот же день, когда Журавлевы сидели в избе за самоваром, чай пили, к дому подъехал знакомый «рафик».

— Никак Пашку привезли?! — заглядывая в окно, обрадовалась Зинаида.

Они вышли с Семеном во двор. Дрессировщица уже шла им навстречу.

— Принимайте свою Прасковью, — засмеялась она, показывая рукой на роющуюся у забора Пашку, — в целости и сохранности вам доставила.

Семен с Зинаидой поспешили к Пашке и принялись ее гладить, шлепать, почесывать. За прошедший месяц, обнаружили они, Пашка явно похорошела — выглядела чистой, гладкой («Никак ей щетину побрили?!» — удивился Семен), даже копыта были почищены и, не поверила своим глазам Зинаида, чем-то вроде розового лака покрашены. И при этом — Пашка раздоб-

рела. «Около пуда прибавила», — прикинул Семен. У него как камень с души свалился...

Дрессировщица прошла в избу. Там она попросила Семена расписаться в каких-то бумагах, поинтересовалась, получил ли он перевод, сообщила, что съемки закончились и завтра киносъемочная группа уезжает в город.

— Ну а как хоть там наша Пашка вела себя? — улыбаясь, спросил Семен.

— Прекрасно, — ответила дрессировщица. — В нескольких эпизодах снялась. Очень способная она у вас, легко с ней было работать. Другие свиньи такую программу обычно за полгода усваивают. Вот, пожалуйста, могу продемонстрировать...

Она приоткрыла в сени дверь и позвала:

— Паша! Паша!

Тотчас на крыльце раздался топот копытец и в горницу вбежала Пашка.

Дрессировщица достала из кармана брюк кусочек сахару, поднесла его к Пашкиному пятачку и произнесла:

— Паша! Вальс!

Пашка подняла пятачок к сахару и завертелась.

— Господи! — всплеснула руками Зинаида.

— А еще мы вот что умеем делать, — сказала дрессировщица.

Она скатала в рулон лежащий на полу у порога половик и положила его перед Пашкой. Толкая рулон пятачком перед собой, Пашка быстро его развернула.

— Во дает! — удивился Семен.

Затем по просьбе дрессировщицы Семен придвинул к столу стоящий в углу сундук, а Зинаида поставила на стол блюдце с молоком.

— Але! — крикнула дрессировщица, ударив ладонью по сундуку.

Пашка тотчас вспрыгнула на сундук и, упершись на передние ноги, поерзав, села на зад. Дрессировщица попросила у Зинаиды ее белую косынку с головы и, приговаривая: «Мы едим опрятно, не как какие-нибудь свиньи», повязала ее вокруг Пашкиной шеи. После этого Пашка приблизила морду к блюдцу и с хлюпаньем его опорожнила.

— Ну умора! — ахнула Зинаида.

Семен от изумления только покрутил головой.

Потом Пашка, получая от дрессировщицы легкие шлепки по заду, прыгнула несколько раз туда и обратно через скамейку.

— Браво, Паша, браво! — похвалила ее дрессировщица и вздохнула: — Ну, мне пора. — Голос у нее дрогнул. — Прощай,

Паша! Не рассталась бы я с тобой, если б все от меня зависело... — она похлопала Пашку по шее и решительно, с отчаянием сказала: — Все.

Затем, попрощавшись с Семеном и Зинаидой, быстро, без оглядки вышла из избы. Слышно было, как она с силой хлопнула дверцей автобуса и нажала на полный газ...

Журавлевы взглянули на стоящую перед ними посреди избы свинью.

— Это надо ж, — улыбнулся Семен, — даже не верится...

Он взял из вазочки на столе конфету, поднес ее к Пашкиному пятачку и неуверенно произнес:

— Ну-ка, Паша, потанцуй... вальс!

Пашка закружилась. Семен с Зинаидой засмеялись. Потом под хохот хозяев Пашка разворачивала половик и прыгала через скамейку.

— Ты смотри, смотри, что делает! — хохотал Семен.

— Ой, не могу! — держась за живот, стонала от смеха Зинаида.

— Паша, але! — хлопнув по сундуку рукой, крикнул Семен, подражая во всем дрессировщице.

Пашка, все еще с косынкой на шее, проворно уселась за стол. Зинаида налила из самовара в блюдце остывшего чаю, и Пашка с готовностью его выпила.

— Еще, еще подлей! — утирая слезы, смеялся Семен.

И опять Зинаида, надрываясь от хохота, наливала Пашке чаю.

Вдруг Семен замолк и остолбенело уставился на свинью. Лицо у него вытянулось.

— Ну а дальше-то что? — проговорил он.

— Как что? — не поняла Зинаида.

— Что мы дальше-то делать с ней будем? А? Она ж теперь вон какая стала... интеллигентная... — Семен хотел еще что-то добавить, но только безнадежно махнул рукой.

Но Зинаида теперь догадалась, о чем речь, и лицо ее, обращенное к Пашке, стало вдруг жалостное и испуганное. Прикрыв ладонью рот, она опустилась на табурет и закачала головой. Хозяйственные планы Журавлевых безнадежно рушились.

— Связались на свою голову с кино с этим, — после молчания процедил Семен, даже с каким-то остервенением глядя на Пашку, которая в свою очередь, моргая длинными белесыми ресницами, спокойно и невозмутимо смотрела на хозяина.

Так и сидели они втроем с Пашкой за самоваром, и когда, смирившись с мыслью, что прогадали, Журавлевы готовы были начать смеяться над собой и над восседающей напротив свинь-

ей, дверь в избу открылась и на пороге появилась и так и остолбенела на месте злополучная Нинка Филиппова — мало того, что завистливая, но к тому же еще и самая насмешливая и ехидная баба в деревне.

КОЛДУНЬИ

Каждую субботу после бани бабка Марья в светлой косыночке, в ватнике, с большим белым тазом под мышкой, сгорбившись в три погибели, семенит по дороге в конец деревни.

— Вон уж бабка Марья к Кирилловне почесала, — глядят в окно деревенские, — а мы еще в бане не были... Это надо ж, и таз с собой потащила!.. И чего они по субботам, как заговорщики, вдвоем у Кирилловны собираются?

— Колдуют старые, — пошутит кто-нибудь, — чего ж им делать еще?!

Красное закатное солнце пока не коснулось озера, но вода уже порозовела, почернели и удлинились тени от маленьких деревенских банек на берегу.

Бабка Марья спешит, торопится, из-под длинной юбки мелькают черные резиновые сапоги.

— С легким паром, баб Марья, — приветствуют ее встречные, — намылась уже?.. К Кирилловне направилась?..

Бабка Марья мимоходом кивает, улыбается и дальше бежит.

Кирилловна живет на краю деревни в большой старой избе. Бабка Марья, цепко хватаясь свободной рукой за перила, взбирается на крыльцо, входит в сени, открывает дверь в избу.

— Можно к тебе, подружка? — улыбаясь, переступает она через порог.

В избе к вечеру потемнело, только ярко блестят бок самовара на столе да риза иконки под потолком в углу.

— А неужто нельзя?! — тяжело переставляя опухшие, похожие на две чурки ноги, появляется из-за печи высокая грузная Кирилловна, одетая в широкую коричневую кофту поверх передника, — я все жду, думаю: «Чего ж это Марья запаздывает? Не угорела ли в байне?»

У самой Кирилловны глаза после бани совсем заплыли, лицо еще красное, неостывшее и, как всегда, важное — недаром, в отличие от морщинистой остроносой бабки Марьи, ее никогда в деревне не кличут бабкой Нюшей, а все — Кирилловной.

Бабка Марья ставит на лавку возле печи таз, суетливо снимает и кладет рядом с ним ватник и, оставшись в чистеньком выцветшем халатике, подсаживается к столу. И сразу же заво-

дит речь про баню — сколько нынче воды нанесли в бочки, сколько горячей в котле осталось, кто намылся уже, кто нет, заодно соседей своих, хозяев бани, обсуждает — вот Васильевна, хозяйка, всегда постучит к ней в окошко, крикнет: «Баба Марья, баня готова, иди!», а вот Танька, молодуха Васильевны, никогда ее не позовет...

Тем временем Кирилловна втыкает в розетку шнур самовара и, медленно передвигаясь от стола к буфету, ставит на стол чашки, серого стекла вазочку с конфетами, тарелку с кусками холодной утрешней ватрушки и, соблюдя очередь, после бабки Марьи, рассказывает про свое мытье: нынче в бане уж больно жарко было, она прямо ослабела вся, хорошо еще Зинаида с детишками подошла, водой на нее холодной поплескала, в предбанник вывела, одеться помогла...

Самовар закипает, старухи чай наливают. Как положено, чай тянут из блюдечек, кисленькие конфетки посасывая, и заводят разговор опять же об этих конфетках, что как раз вчера в сельмаг привезли, о том, что сегодня опять к Завьяловым мастер из центра приезжал телевизор чинить, о том, что дачники на машинах из города понаехали, по деревне бог весть в чем ходят, прямо житья от них нет...

А уж как заговорят старухи про житье, так бабка Марья свой сгнивший забор вокруг огорода примется вспоминать — беда одна, куры соседские по грядкам бегают; а Кирилловна тракториста Володьку костить начнет — обещал ей дрова на зиму подвести, а все не везет, а она ему уже два раза на маленькую давала...

— Ой, да! — вздохнет бабка Марья, подожмет губы и уставится в блюдечко.

Замолкают старухи, будто выжидают чего-то, будто для отвода глаз отговорили положенное, а теперь к главному делу подошли.

И вот Кирилловна рукой взмахивает, словно знак подает.

— Да кому мы нужны с тобой, такие старые! — выкрикивает она обидчиво. — Кому дело-то до нас есть?!

— Да уж верно, — подхватывает бабка Марья, — одни-одинешеньки...

Говорят старухи, будто в сотый раз перепетую песню заводят, — хоть и вдовые они, однако у обеих у них дочери в городе есть, которые каждое лето приезжают к ним с мужьями солидными, с детьми взрослыми, с подарками, а зимой матерей у себя в городе принимают... Но и правда в словах этих есть — не вернулись к старухам сыновья молодые с войны... Если б можно было б вернуть их как-нибудь, воскресить!..

Начинает бабка Марья:

— Был бы Шурик-то жив, враз бы все переделал!.. Ох и спорый он был! — трясет она головой. — Хочешь верь — не верь, мальцом, в школу еще не ходил, а уж козули сам себе смастерил. Дощечку тук-тук приколотил, скамеечку сварганил, руль приставил — и готово! Ванька Спицын прибежит, — это он после контузии ноги еле волочит, а тогда, маленький, шустрый был, — водой на дощечку поплескают и с горушки по снегу. Ванька на скамеечке сидит, а мой сзади пристроился. Эва! — бабка Марья смеется, в глаза Кирилловне заглядывает.

— А Борис у меня все на «катушке» катался, — говорит Кирилловна, — решето большое возьмет, водой на морозе обольет, сядет и с берега у сельсовета — на озеро. Потом раз пришел вымокший, другой — я возьми и спрячь решето. Он: «Мам, а мам, «катушки» не брала?» — «Да на что оно мне?!.» Так и не дала, — строго говорит Кирилловна, — а что? Не ровен час, в прорубь на «катушке» своей нырнет! Права я, нет?

— А как же! — кивает бабка Марья. — Не приведи господь!.. Я вот тоже летом как-то вожусь в избе, а Шурик маленький у забора под окошком играет. Вдруг слышу — бык ревет... Помнишь, пастух у нас в колхозе молодой такой, непутевый был — его потом на фронте убило, — стадо пасется, а он под кустом, бывало, спит... Так вот, пока спал он, бык этот от стада и убег. А бычина здоровый, злющий — его еще все в деревне боялись... Я на крыльцо, значит, выскочила — и, матушки, бык против Шурика стоит, землю бодает, копытами скребет!.. Я так и остолбенела вся — ни руки, ни ноги поднять не могу... Хорошо, деревенские подоспели, — облегченно вздыхает бабка Марья, — кто с ведром, кто с кувшином, кто с чем, палками по ним брякают, вокруг быка шум наводят... Испугался он, побежал... Во как бывает! Того и гляди случится что...

— А Николая, конюха одноглазого, помнишь? — начинает рассказывать Кирилловна. — Он еще, говорят, в войну на денек на побывку приехал, а у женки в избе мужик... Он повернулся — и за порог, и с тех пор от него ни весточки. Так однажды он Бориса, ему тогда, считай, годов пять было, на Сильву посадил. А Сильва — кобыла с норовом, кого хочешь сбросит, ее потом в войну на госпоставки забрали... Я выхожу, значит, из огорода и глазам не верю своим — Борис мой верхом на Сильве к крыльцу скачет... Тоже, вишь, у Николая ума хватило ребенка на кобылу посадить! А кабы сбросила? — сердится Кирилловна.

Самовар давно остывший стоит, чашки вверх донышками опрокинуты, все темней и темней в избе становится...

— Мужики поедут сетки проверить — и пустые вернутся! А Шурик с бережка у камушков поудит и полное ведерко плотвиц несет. «Мамка, — кричит, — жареху готовь!..»

— Зинаида Сергеевна, учительница Бориса — ну та, что после войны к себе в Калининскую в отпуск поехала и там на тропке на мине подорвалась: народ ходил — ничего, а она, говорят, пошла и враз наступила, — так она как-то встретила меня в сельсовете и говорит: «Что хочу сказать-то тебе: Борис твой уж очень хорошо на уроке считает. С какой угодно задачкой справляется...»

Так сидят старухи в потемках, то смеются, то сокрушаются, радуются прежним радостям, мучаются прежними горестями — снова их молодые сыновья с ними. Снова бабка Марья метет веником в сенях снег с черных валенок Шурика и, взглянув снизу в лицо его, радуется, что щеки у сына тугие, красные... А Кирилловна все конюха Николая бранит, а сама в душе гордится сыном, что не упал он с лошади, удержался — крепкий, значит... Сидят, колдуют старые — сероглазые сыновья в выцветших на солнце рубашках перед ними являются. Наполняется изба смехом мальчишеским, топотом ног босых, плеском воды озерной... Бабка Марья по берегу бежит, Шурика домой кличет, а Кирилловна из-за плеча Бориса в школьный задачник заглядывает и все радостно удивляется: в кого ж он уродился смышленый такой?.. И за окном не ночь наступает, а воскресное довоенное утро разгорается...

— Шурик, значит, боронит, а я на бровке сижу. Вдруг смотрю — матушки, чего это с ним?! Сел в телеге спиной к лошади и ну погоняет... Потом сообразила — девка по тропке неподалеку идет, вот он перед ней и изгиляется. А девка хоть и справная, да не с нашей деревни, с Каменочки, с той, что немцы в войну сожгли...

— «Борис, а Борис, говорю, вон ребята к Зойке Пантелеевой собрались. Сходил бы...» — «Да пусть, отвечает, уж больно тут интересно написано»...

То для старух сенокос жаркий наступает — Шурик с Борисом на копнах с граблями стоят, то дождь грибной моросит — и сыновья полные корзины волнух несут, то теплый майский праздник приходит — бабка Марья с Кирилловной на деревенском митинге у новой кирпичной школы с сыновьями стоят, первомайские песни из репродуктора слушают...

И вдруг чувствуют старухи — слезы глаза обжигают, застилают все, не дают смотреть...

И теперь в избе слышны плач и тиканье ходиков...

Плачут бабка Марья и Кирилловна, как положено, тоненько

причитают: «Сыночек, родимый мой...», уголками косынок лицо утирают...

Когда же вдосталь они наплачутся, Кирилловна, утерев в последний раз слезу, говорит, как команду дает:

— Ну, будет. Навспоминались, наплакались — и ладно.

— И ладно, — шмыгнув носом, вторит бабка Марья.

Кирилловна поднимается из-за стола и, пошаркав по избе, на ощупь включает свет. И как не было колдовства — Борис в рамке на стене висит, на нем тот костюм, что ему после семилетки справили, а рядом под стеклом на фотокарточке вся пришедшая в гости к Кирилловне семья бабки Марьи уместилась — Шурик маленький возле матки у забора, набычившись, стоит, носком босой ножки в землю уперся...

— Слава богу, — сурово говорит Кирилловна, махнув передником по столу, — дочки есть. Не одни. И пенсии хватает.

— Да что говорить, — поддакивает бабка Марья, подвязывая на шее потуже косынку, — не бедные! Да и много ли надо нам!

Говорят они напоследок что-то о пенсии — бабка Марья беспокоится, как бы опять в этот раз почтальоншу с пенсией не прозевать; а Кирилловна все про ситец на новый пододеяльник толкует.

— Ой, да, — вздохнет бабка Марья, вздохнет уже облегченно, успокоенно, будто только что они с Кирилловной очень важное, нужное для себя дело сделали, потом глянет в окно, засуетится, — матушки! Засиделась я у тебя, темнотища-то на дворе!

Одеваясь, таз подхватывает, смеется:

— Хотела после бани его к себе в избу занесть, так к тебе торопилась, опять забыла. Совсем ума не стало...

На крыльце старухи прощаются. В темноте сбоку желтые окошки изб светятся, за невидимым черным озером огоньки далекой деревни мигают.

— Не свались хоть, — напутствует бабку Марью Кирилловна, и, как только та сгинет в потемках, возвращается в сени, и, как тайную тайных, запечатывает изнутри свою избу на тяжелый железный засов.

СЕРГЕЙ НОСОВ

ЕЩЕ РАЗ О СЛОВАХ

Черносмородинный куст...
Настороженность веток...
Дед замирает в дверях...
Но не помню лица я...
Образы детства,
как разворошенные ветром
листья, мерцают.
И корнесловие памяти:
«родина», «родинка»,
«род», «родники» — постигаем,
и чудится, мнится,
видится, слышится,
как над дорогою пройденной
в небе глубоком курлычут усталые птицы.

Памятью памяти,
памятью прошлого,
памятью промелька
юности, жизни, любви суматошной —
да мало ли! —
клясться не надо. Достаточно.
...Родина, родинка —
две бесконечные,
две бесконечно большие и малые.

СТАРЫЙ ДОМ

...Войдешь во двор — угрюмая старуха
начнет тебя отслеживать сквозь стекла,
которые, должно быть, не менялись
еще с блокады.
Сразу представляешь
все внутренности дома: коридор
и комнаты с такими потолками
высокими, что даже непривычно.

Здесь прожитое время притаилось
и пропитало памятью предметы:
салатницу и рюмки (перебить их
не хватит жизни), стол, буфет, кушетку,
дверные ручки, коврик, фото в рамке,
на кухне табурет и даже гвоздь,
забитый кем-то в стену.
В коридоре
реликтовая мебель разучилась
давно стареть. Уже смирились вещи
с диктатом постоянства. Убери
со шкафа пыльный довоенный глобус —
и лопнет мир.
...Но пахнет овощами,
и женщина несет горячий борщ
куда-то в темноту. И исчезает.

Вот и пришли, приехали... О смерти
или, еще смешней, — о смысле жизни
ни думать, ни тем более писать
не хочется. И правильно. Старухи
здесь курят «Беломор», а старики
из жизни уходили молодыми.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

* * *

Я слышал, как рождаются слова
В тягучих каплях вспыхнувшего солнца,
И чья-то жизнь по-прежнему права,
Цепляясь за березку и оконце.

Ах, как красиво! И не тяжело
Вдруг позабыть весеннюю тревогу,
И полюбить, и жить со всеми в ногу,
И принимать калитку за крыло.

Слепят зарницы! Радость бытия
Перехлестнет и унесет за вами
Слезинки перелетного дождя.
И жизнь уже не рассказать словами.

А сердце от предчувствия болит.
Тасуем дни, гадаем: чет иль нечет.
Но как упорно стынет в небе кречет!
Но как слепяще белый свет горит!

* * *

Дом в лесах. Фонтанчик сух.
И каштан уже потух.
Разговоры у подъезда
Двух всезнающих старух.

На четвертом этаже
Мама с дочкой загрустила.
И пластинку запустила,
И целебное драже
На ладони сосчитала.

И красиво и легко
Голосок выводит детский.
Крики за стеной, и резкий
Звук костяшек домино.

В до-минор ведет рояль.
В доме вещи запылились.
В шторе ветер, затаясь,
Выхватил бумажку. Жили, —
Там написано, — легко.
Слишком ветрено и рьяно.
Слишком жили высоко...

* * *

Как хорошо иголкой в сене
Плыть в городском многоголосье.
И обращать свое вниманье
Лишь в окна верхних этажей.

Не узнавать знакомый дворик,
Квартал, заученный на память,
Линейку набережных звонких.
И где-то на Сенной найтись.

И заглянуть в глаза трамваю.
И окунуть свои в Гостиный.
Толпу гостей неторопливых
Разрезать, словно пароход.

И, уставая удивляться
Своим ногам нерасторопным,
Уставиться в дрожанье стрелки
И понимать, что не успел
Напиться головокруженья
Любимых улиц...
Мало жизни.

ВЛАДИМИР БАРСОВ,
ВИКТОР ДАЛЬСКИЙ

КТО ОТЕЦ ВУНДЕРКИНДА?

Поздно вечером в квартире Волжиных раздался осторожный звонок. Семен Иванович открыл дверь и увидел лаборанта своей лаборатории Кандыбина со спящим ребенком на руках.

— Добрый вечер, Семен Иванович, не разбудил? — торопливо спросил Кандыбин.

— Нет... Супруга уже спит, а я работал... Что-нибудь случилось? — встревоженно спросил хозяин квартиры.

— Спит супруга? Ну и хорошо... Мне нужно поговорить с вами об очень важном и серьезном деле!

— Проходите! — вежливо сказал Волжин. — А почему вы с ребенком?

— Сейчас все объясню, — ответил, раздеваясь, Кандыбин. Ребенка он осторожно положил в кресло.

— Что все это значит? — встревоженно спросил Волжин. — Чей это ребенок?

— Так называемый... мой... — тихо сказал Кандыбин, указывая на сладко причмокивающего во сне ребенка.

— Почему «так называемый»? — поднял брови Волжин.

— А потому, что он на самом деле не мой! — свистящим шепотом произнес Кандыбин. — Этот ребенок — вундеркинд! Всего год, а мальчик уже и говорит, и читает... Представляете, что с ним дальше будет? Вы не думайте — я всю свою родословную перерыл, до десятого колена... И родословную жены тоже... Ни одного гения... Да что там гения! Таланта ни од-

ного — одни серые мышки: вахтеры, извозчики, ассенизаторы... И вдруг сын — вундеркинд! Этого же быть не может по всем законам генетики! Не мой он!

Волжин строго посмотрел на Кандыбина и спросил:

— А чей же?

— Вот в этом и вопрос! Как вы знаете, супруги наши — ваша Вера Павловна и моя Анастасия — находились в одном роддоме... У них даже койки были рядом. И потомство они произвели в один и тот же день и час!

— Ну и что? — бледнея, спросил Волжин.

— А то, — многозначительно поднял палец поздний гость, — вы же сами говорили как-то, что ваши дед и отец были вундеркиндами... В семь лет интегралы щелкали, в тридцать до академиков доросли... Да и вы сами — в тридцать семь член-корреспондент. А я в сорок — лаборант заштатный... Что ни говори, наследственность — великая сила!

— Так вы хотите сказать... — неуверенно начал Волжин.

— Вот именно! — обрадовался Кандыбин. — Наших детишек перепутали в роддоме. Ваш, то есть мой... до сих пор не ходит и не говорит... Весь в меня! Я сам пошел в три года, заговорил в шесть! Ну, а вашего вундеркинда мне подсунули... Я уже у них был, в роддоме, да только разве они сознаются?! — махнул рукой Кандыбин. — Да вы присмотритесь: лобик ваш, высокенький... Ямочки на щеках... Головка огурчиком...

— Да, да, да! — повторял Волжин, разглядывая спящего ребенка. — Действительно похож... Ямочки... Лобик... Но... Но и мой, то есть ваш... тоже на меня похож...

— Во! Это облегчает задачу! — выпалил Кандыбин. — Сейчас мы их обменяем по-тихому... И все встанет на свои законные места!

— Значит, ваш, то есть мой... уже говорит? — осторожно спросил Волжин.

— Не только говорит, но и читает! Вундеркинд! — восхищенно сказал Кандыбин и зачмокал губами.

— А как же я объясню жене такой факт: не говорил, а вдруг читает? — запинаясь, спросил Волжин.

— Как это так? С гениями только так и бывает! В одно прекрасное утро проснется — и все понимают: гений!

— А у вашей супруги не возникнет подозрений?

— Своей я что-нибудь наплету! — уверенно ответил Кандыбин. — Мол, произошел зигзаг развития... Влияние среды, внешних факторов. Она поверит.

— Таким образом, вы предлагаете произвести незарегистрированный обмен? — спросил, покрываясь пятнами, Волжин.

— Да поймите же вы, — кипятился Кандыбин, — не может мой ребенок быть вундеркиндом! Ваш может, а мой... ну, никак! Вот и надо, пока не поздно, эту ошибку исправить. Вырастут — там поминай как звали. И вы с моим намучаетесь! У нас в роду упрямство, рукоприкладство, сквернословие! Я его родил — мне с ним и возиться всю жизнь... А у вашего другое предназначение. В три года в школу пойдет, в десять — университет закончит, а там — кандидат, доктор... По накатанной дорожке. Согласно генетике!

— Это, конечно, так, — с сомнением сказал Волжин, — но я все же хотел бы посоветоваться с Верой — с женой...

— Ни в коем случае! — замахал руками Кандыбин. — Никогда в больших делах не советуйтесь с женщиной! Женщина, как говорили древние, сосуд противоречий! С ними спорить бесполезно! Давайте по-мужски, по-деловому. Меняемся, и по рукам!

— Но это все-таки... очень ответственный шаг, — промямлил Волжин, — я так быстро не могу принять решение. Мне надо подумать, взвесить!

И вдруг дверь тихонько отворилась и в комнату неуверенно вошел маленький Виталик. Он потоптался на месте, хитро блеснул глазенками и спросил:

— О чем это вы беседуете?

— Заговорил... И пошел... Не верю своим глазам! — схватился за сердце Волжин.

— Папа! — отчетливо сказал Виталик и направился к Волжину.

— Вундеркинд! И этот вундеркинд! — прошептал пораженный Кандыбин. — Весь в отца, деда, прадеда! А в кого же тогда мой?!

Волжин подхватил Виталика на руки и крикнул:

— Не отдам! Это мой ребенок! Мой маленький гений!

— Это я теперь и сам вижу! — мрачно и обиженно сказал Кандыбин. Он быстро взял на руки спящего Генку и, уходя, бросил:

— Я этого так не оставлю! До настоящего отца доберусь!

Кандыбин спускался по лестнице и бормотал:

— Черт знает что. Подсунули чьего-то вундеркинда и думают — шито-крыто. Вы Кандыбина не знаете! Я свою серую мышку под землей найду!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

— Алло, я слушаю.

— Будьте любезны Демидова.

— Демидова нет, он только что уехал на объект.

— А кто за него?

— Карпов.

— Тогда позовите Карпова.

— Карпов — болен.

— Да, но ведь вы сказали, что Карпов замещает Демидова?

— Сказал...

— Так как же он может кого-либо замещать, когда он болен?!

— Когда болен — не может, а когда здоров — может. Да и, откровенно говоря, не он болен, а его родственница, но он так переживает, что и сам заболел... Так что де-факто он болен, де-юре — здоров...

— Ну, хорошо, хорошо. Кто же все-таки остался в отделе за старшего?

— Ведущий инженер Зверев.

— Тогда пригласите к телефону Зверева.

— Пожалуйста, но должен вас предупредить заранее: он ничего не решает!

— Что значит «не решает»? Мне нужно срочно завизировать материалы по техпроекту «Туман»! Раз Демидова нет, а Карпов болен, пусть визирует Зверев!

— Это исключено! Раз Демидов в черте города, значит Зверев — не может. Вот если бы он оказался за чертой города — тогда, возможно, Зверев бы и... Но Демидов точно в черте...

— Но послушайте, у меня нет времени разбираться, где сейчас находится Демидов! Мне нужна подпись представителя вашего предприятия! Кто мне может ее поставить?

— Я полагаю, что никто... Да и зачем кому-то ставить, когда можно не ставить?

— Это черт знает что такое! С кем я разговариваю?

— Как это с кем? У телефона — человек. Сотрудник...

— Я понимаю, что не орангутанг. Все мы люди, все — человеки... Я спрашиваю, как ваша фамилия?

— Зверев... Иван Степанович Зверев.

— Так это вы остались в отделе за старшего? Ну, это уже чересчур. Я буду жаловаться в главк, в министерство, в газету, наконец!!!

— Пожалуйста, но смею вас уверить, я поступаю в точном

соответствии с личными указаниями товарища Демидова. Надеюсь, вам известно, что любая подпись в потенциале — два года тюрьмы?

— Какая еще тюрьма? Вы что, издеваетесь? Да вы знаете, с кем разговариваете?! Я же вас...

— Посмотрим...

— Советую немедленно написать заявление по собственному!

— Повременим... А вы, собственно, кто такой? Как ваша фамилия?

— Демидов... Кирилл Степанович Демидов.

— Кирилл Степанович, вы?!

— Я, Зверев, я, голубчик. Ты уж извини, проверял тебя немного. Должен же я знать, кто из сотрудников достойно заменит меня на время отпуска. Ты вот что — готовься, в понедельник приступаешь. Но помни: ничего не решать, никому не обещать, никому ничего не подписывать! Стиль работы нашего учреждения всегда должен оставаться неизменным!!!

АНАТОЛИЙ ХОЛОДЕНКО

УЛЫБКА ФОРТУНЫ

«Хорошо бы джинсы где-нибудь достать!» — такая мысль появилась у меня еще на первом курсе института. Нет, конечно, появлялись у меня и другие мысли, но эта была постоянной, кажется — извечной. Куда бы я ни глянул, всюду видел джинсы или что-нибудь джинсовое. У одного — шикарные «Левис», у другого — поскромнее, «Супер Райфл», у третьего — курточка, у четвертого — кепочка. В этом джинсовом море я, в своих серых в клеточку штанах, чувствовал себя обделенным судьбой гадким утенком.

«Где бы джинсы достать?» — билась в голове, призывая к действию, одна и та же мысль.

Помог случай. Жора, знакомый мне товарищ со старшего курса, объявил однажды, что на днях женится. А это мероприятие, как известно, требует необходимого размаха, в связи с чем Жора и продавал свои джинсы. Я же давно заглядывался на них и известие о предстоящем торжестве воспринял как милость судьбы и улыбку фортуны.

— Ну что же, — сказал мне Жора, — я много не прошу, но сотенную положи!

— Где твоя совесть? — удивился я. — Где я достану столько монет?

— Так ведь и джинсы-то фирмовые, мечта! Гляди, какой клеш! А фактура! Бывало, постираю, высохнут — стоят в углу,

пока не надену, плотность — что надо, — нахваливал он свой товар. — А цвет! Какая гамма! Сам вытирал, считай полкирпича истер.

— А эта заплата на коленке? А бахрома?

— Ерунда, что ты в этом понимаешь? Ты посмотри, какое исполнение. Сам пришивал, трактором не оторвешь. А что бахрома внизу, так это ж и есть самая мода. Бери, друг, не пожалеешь, я четыре года их носил, ты еще десять носить будешь. От сердца отрываю, — вздохнул Жора. — Если б не свадьба, не продавал бы. А жена и такого, в штанах, любить будет, — добавил он с грустью.

Когда я стал джинсы примерять, оказалось, что они тесноваты и влезть в них я смог только с помощью заботливых рук товарища.

— Разойдутся, растянутся! — заверил меня Жора. — Я сам в них сначала едва влезал, как, кстати, и первый их хозяин, — знаешь Димку Шкелета с пятого курса? Тот вообще их с мылом натягивал.

После непродолжительного выяснения остальных джинсовых достоинств Жора наконец согласился уступить джинсы за две стипендии.

— Я сам их за три покупал, — сообщил он мне.

«Ну и что же, что недешево? Что из того, что тесны? Одно покрывает другое, — рассудил я здраво. — Стану меньше есть, буду экономить, вот и похудею заодно. Когда же джинсы станут в самый раз, тогда и начну понемногу полнеть, их растягивать. Беру — и весь разговор! Чего здесь думать?»

И вот начались мои испытания. Первое время я, на зависть прохожим, ходил по улицам в джинсах, а потом, к сожалению, пришлось временно перейти на штаны: товарищ по комнате заупрямился. Не буду, говорит, тебя одевать по утрам, самому, дескать, некогда, на лекции, мол, тороплюсь.

Что поделаешь, решил полностью отказаться от завтраков. За неделю сбросил, правда, всего пару килограммов, зато сэкономил почти два рубля. Заменил обед сухариком, запивал его водой. Пил много воды, чтоб животу не пустовать. Дело пошло быстрее. Конечно, есть хочется, но чего не вытерпишь ради мечты! Потерял, правда, тонус. Пропало желание ходить на лекции — силы не те. Лежу целыми днями в постели, любуюсь на джинсы. Какая фактура! А клеш! Когда же еду за сухарями в метро, старушки отчего-то место уступают, а одна, помню, так вовсе обнаглела — все совала пятаки: возьми, дескать, сиротка, возьми, родимый!

Однако джинсы, хоть и с трудом, но уже надеваю самостоятельно. Скоро-скоро они станут в самый раз! Вот только странно — прохожие оглядываются и смотрят отчего-то уже не на джинсы, а на шею. Но я не обращаю на это особого внимания и часто, лежа в постели и прикрыв глаза, представляю, как, быстро и ловко надев свои любимые джинсы, буду выходить по вечерам, вызывая своим видом зависть прохожих. И всего-то стоит потерпеть неделю или две. Правда, ноги отчего-то стали холодеть, а в глазах временами темнеет. А говорят ведь, что худые люди дольше живут. Неужели врут?

КОНСТАНТИН МЕЛИХАН

ЭКСКУРСИЯ

(По залам иностранного музея)

Здравствуйте! Начинаем экскурсию по залам иностранного музея. Перед вами картина Ван-Гога. Цена ее сто пятьдесят тысяч долларов. К сожалению, само полотно украли.

А это картина Ренуара. Цена ее двести тысяч долларов. Картина написана в легкой, изящной манере. Художник свободно пользуется приемом лессировки. К сожалению, само полотно украли.

А это картина Пикассо. Несмотря на то что картина изображает мусор, цена ее триста тысяч долларов. К концу жизни Пикассо так и не сумел вырваться из рамок кубизма. Потому полотно и украли. Вместе с рамой.

А это картина Питера Брейгеля Мужицкого. Цена ее пятьсот тысяч долларов. Картина поражает в первую очередь смелостью композиционного решения и только во вторую — тем, что ее украли.

А это картина Лукаса Кранаха Старшего. Цена ее восемьсот тысяч долларов. Несмотря на религиозный сюжет, началось разрушение верхнего красочного слоя. Чтобы как-то приостановить этот процесс, мы покрыли картину специальным лаком. Но и это не помогло. Картину украли.

А это картина Веласкеса. Цена ее девятьсот тысяч долларов. Картина отражает быт испанцев семнадцатого века. В правом верхнем углу (жаль, что вам не видно) — дерево. Под ним (правда, вы не совсем видите) — девочка. В руках у девочки (к сожалению, плохо видно) — корзина. В корзине (вряд ли вы увидите) — фрукты. В центре картины (правда, отсюда почти не видно) — воин. В левом верхнем углу (трудно, конечно, разглядеть: мне кажется, картину украли) — конь. На коне (встаньте

лучше сюда: картину, чего уж скрывать, украли) — седло. То, что картину написал Веласкес, подтверждает подпись (не заслоняйте другим) в правом (картину, если говорить начистоту, украли), нижнем (что поделаешь, большой мастер, такова се ля ви) углу.

А это картина Рембрандта. Цена ее миллион долларов. До кражи. После кражи ее цена увеличилась вдвое. Но вы видите лишь копию. Тем не менее ее украли. Хорошо, что вторая копия спрятана в сейфе. Правда, его украли.

А эта картина Рубенса надежно охраняется полицейскими. Потому-то ее и украли. Вместе с полицейскими.

Чтобы рассмотреть скульптуру «Три грации», нужно воображение. Три грации обмотаны колючей проволокой. Между нами говоря, всех трех украли. Попробуйте воссоздать их образ по изгибам проволоки. Правда, ее украли.

А вот скульптуру Родена лучше рассматривать издали. Перед скульптурой — люк. Вчера в него попал наш экскурсовод. Пока его вынимали, скульптуру украли.

Эту медную статую руками не трогать. По статуе пущен ток. Вчера им убило уборщицу. Несмотря на это, статую украли. Полторы тонны. Требуется уборщица.

В правый флигель музея мы не пойдем. Он заминирован. Вчерашние экскурсанты, к сожалению, этого не знали. Сорок человек. Похороны в среду. Осколки украли.

Наша экскурсия подошла к концу. Мы просмотрели экспонаты на сумму десять миллионов долларов. К сожалению, вы ничего не украли. Потому что все уже украли. Не отчаивайтесь, приходите в следующий раз. Оревуар!

ОТЧЕТ

Нашему институту было предложено усовершенствовать пилу для спиливания деревьев.

Поскольку ножные мышцы толще ручных, мы разработали модель ножной пилы. Два пильщика ложились на спину и пилили ногами. К сожалению, начались заболевания ревматизмом.

Тогда мы предложили к дереву прикреплять сиденья и пилить по-прежнему ногами, но сидя. К сожалению, в конце распиловки пильщики не успевали соскакивать с дерева и падали вместе с ним.

Тогда мы предложили к сиденью прикрепить колесо, а сбоку — пилу. Пильщик объезжал вокруг дерева — и дерево падало. К сожалению, пильщик не успевал вовремя откатываться от дерева, поскольку колесо не могло ездить по прямой.

Тогда мы предложили к сиденью и колесу прикрепить второе колесо, соединить их рамой, поставить руль, звонок, цепную передачу и две педали. Цепь от педалей шла на пилу. Звонок сообщал о конце распилки. На такой пиле пильщик получил возможность прибывать к месту распилки. К сожалению, пешеходам стало обрезать ноги.

Тогда мы окончательно усовершенствовали модель, отделив пилу от двухколесного приспособления. Теперь пильщик берет пилу в руки, садится на велосипед и спокойно едет на работу.

УСПЕХИ НАЛИЦО

(Отчетный доклад директора фабрики канцелярских изделий)

Товарищи! В этом году мы выпустили 900 000 тетрадей в клеточку, что составило 466 532 388 240 клеточек. Это на 20 клеточек больше, чем у компании «Корпорейшен оф канцелярейшен»! Если нам удастся уменьшить клеточку в 8 раз, то в будущем году мы выпустим около 40 000 000 000 000 чистой клетки, что позволит значительно утереть нос заокеанским магнатам тетрадочного бизнеса! Ранее этим методом мы обошли японцев по производству тетрадей в косую линейку.

Гораздо хуже у нас обстояли дела с красками. Тракторный завод ритмично срывал сроки поставки тюбиков. Но мы нашли выход — и вместо набора красок из 46 тюбиков выпускаем теперь одну тубу, весом 3 кило, в которой любители живописи найдут все что угодно.

Идем дальше. Мы освоили выпуск ремней марки «Школьный». Это ремень без пряжки, без застежки, без дырок, из хорошей плотной кожи, шириной в 10 березовых прутьев.

Налажен и выпуск оригинальных скрепок. Если английская скрепка закручивалась по часовой стрелке, то наша — против!

Общий тоннаж портфелей, выпущенных в этом году, составил 5 000 тонн. Эта рекордная цифра достигнута за счет увеличения грузоподъемности одного портфеля до 300 килограмм. Но и это не предел.

Кроме того, нами освоено производство 125-миллиметровой 80-зарядной авторучки системы РПШ с барабанным переводом цветных стержней.

И наконец, колоссальную экономию металла дало изготовление кнопок без шляпок.

Мы и далее собираемся работать в этом направлении.

СЕРГЕЙ ЯНСОН

КРОКОДИЛЫ

К Анне Ивановне зашла соседка и сообщила, что в магазин завезли крокодилов.

— Если пойдете, — сказала соседка, — возьмите и мне парочку.

— А зачем они? — спросила Анна Ивановна.

— Как зачем? Крокодилы ведь все-таки...

В магазине была очередь. Говорили, что крокодилов мало. Очередь волновалась. Кричали:

— Больше двух не давать!

«Возьму двух», — решила Анна Ивановна, встав в конец очереди.

Впереди послышался шум. Чей-то женский голос кричал про обвесы.

— Я же не виновата, что они шевелятся, — оправдывалась молоденькая продавщица.

— Что-то они шевелятся только в вашу пользу! — продолжал женский голос.

— Молотком надо, — посоветовал мужик в серой шляпе.

— Нет у меня молотка!

— Вот она, наша культура обслуживания! — снова сказал мужик. — Наш, так сказать, сервис!

Очередь медленно и шумно двигалась вперед. Анна Ивановна уже видела прилавок и крокодилов. На ценнике было написано: «Аллигаторы станд.» и стояла цена за килограмм.

Подошла очередь мужика в шляпе. Под его стальным взглядом продавщица никак не могла подцепить товара.

Наконец один из пресмыкающихся оказался на весах.

— Что вы мне взвесили? — спросил мужик.

— Товар, — ответила продавщица.

— Товар? Вы своей матери такой товар взвешивайте!

Тут крокодил вытянул голову с весов и укусил мужика за палец.

Мужик заорал, с продавщицей случилась истерика, и она убежала. Очередь стала горячо обсуждать случившееся. Одни говорили, что это хамство кусать людей за палец, другие утверждали, что правильно и укусил, что нечего пальцы в рот крокодилам совать. А кто-то сочувственно произнес:

— Голодный.

В белоснежных халатах вышли элегантный заведующий и симпатичная девушка.

— Что случилось? — спросил заведующий.

— Ваши крокодилы кусаются! — воскликнул мужик.

Неожиданно приехала «скорая помощь». А минут через пять мимо очереди, где стояла Анна Ивановна, из кабинета заведующего прошли: мужик с забинтованным пальцем, врач, фельдшер и медсестра. У всех в холщовых сумках что-то шевелилось.

После смены продавщицы торговля пошла быстрее. Все просили крокодилов получше, а дама в очках для верности добавила:

— Мне больному.

Когда Анна Ивановна возвратилась, муж был уже дома. Он взял у нее из рук сумку в коридоре и спросил:

— Крокодилы? А зачем?

— Как зачем, — ответила Анна Ивановна, — крокодилы ведь все-таки...

МИХАИЛ КОНОНОВ

КОМУ НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ ХОРОШО

ГОРОД НА ГОРИЗОНТЕ

Под сводами тюменского аэропорта Рощино разнеслось:

— К сведению пассажиров, вылетающих рейсом тридцать один восемьдесят семь до Надыма!..

— Уррра! — закричали пятеро молодых ленинградских литераторов.

— ...Вылет рейса откладывается на два часа неприбытием самолета. Повторяю...

Скрипнув зубами, мой друг сел обратно на чемодан.

А Николай сказал деловито:

— Там у меня дэта, ребята. В портфеле. Только ваткой, прошу вас, ваткой. Взял чуть-чуть на тампончик — и легкими такими прикосновениями: раз-раз-раз... А то сразу все выльем, а сколько нам еще тут сидеть...

Потом мы вышли на площадь перед зданием аэропорта. Люди закусывали, отмахиваясь от комаров, лежали на скамейках и на земле, танцевали под гитару и транзистор, играли в волейбол и чехарду, пели украинские песни и студенческие частушки — стройотрядовцы в защитных куртках, буровики в накомарниках и резиновых сапогах, отпускники будущие, нетерпеливые, и уми-

ротворенные бывшие в непроницаемом загаре. Тут же стриженые раскосенькие ребятишки из тундры, направляемые в лагерь на Черное море, и седой ненец-оленевод с детским спокойным взглядом, с длинной трубкой и в длинной малице, и еще милиционеры и заместители министров по нефти и газу, транспорту и продовольствию, медицине и просвещению — около двадцати главков союзного значения сосредоточено в Тюмени.

— Не вовремя мы отправились, — вздохнул наш бывалый Валерий.

— Вся Сибирь сейчас в отпуск летит, на Большую землю. Летом тут во всех аэропортах пробки, каждый год одно и то же.

— Они все тоже, видать, не вовремя, — кивнул Женя на бурлящую площадь.

— Пробки в воздухе, — хорошо сказано, — улыбнулся Борис.

Вблизи, над кромкой леса, вставало сибирское солнце, покоренное почти четыре века назад и все такое же свободное.

— Ничего, потерпим до Севера, — вздохнул Олег. — Уж там-то, в Надыме-то, полный порядочек, будьте уверены.

— Почему? — встрепенулся Борис. — Откуда ты знаешь?

— Во-первых, город маленький, но растущий. — Женя загнул палец. — Это уже плюс. В маленьком городе все службы наладить легче. Тем более — аэропорт свой, и речной порт, и домостроительный комбинат. Все свое. Во-вторых, вообще Север...

— Что — Север? — переспросил Борис.

— Другое там все, на Севере, — пояснил Женя туманно. — И люди там другие. Все говорят.

— Я на Севере был, люди там золото, — подхватил Олег. — Не веришь мне — Казакова почитай, «Северный дневник». Вот пишет человек, господи...

— Напрасно ты хмыкаешь, Борис, — сказал Женя обиженно. — Я про Север тоже много хорошего слышал. Да ты хоть знаешь, что это значит по-ненецки! — «надым»? Это же счастье! Понял? Город Счастья!

— Посмотрим, — Борис кивнул. — Увидим сами, что это за счастье.

— Скептик ты, Борька, это самое! — Олег покраснел и набычился. — Прилетел за Урал — смотри, радуйся. Ты же здесь первый и последний раз, чудак-человек! Дали тебе двадцать дней — живи активно. Ты же больше не попадешь сюда, факт!

— Не знаю, — Борис пожал плечами, — посмотрим.

— Что — не знаю? — не понял Олег.

— Посмотрим, может, и еще приеду, — объяснил Борис спокойно. — Может, вообще сразу там останусь, в Надыме.

— То есть как это — останусь? — Олег хохотнул нервно. — Ты что, это самое, серьезно? Зачем?

— Ему там место предлагают в газете, — с гордостью выдал друга я. — Только не в самом Надыме, поблизости. Человек посмотреть едет.

— М-да! — Олег покачал головой, закурил и отошел в сторонку.

— Да ладно, я же еще не решил, — словно извиняясь, сказал Борис. — Это же у меня еще так — вилами по воде. Может, я там и не нужен совсем. А?..

— Внимание! К сведению пассажиров, вылетающих рейсом тридцать один восемьдесят семь...

Посадку в самолет и взлет мы восприняли как приятную неожиданность. Все было так празднично, необычно. Северяне рассаживались в своем надымском самолете как в автобусе — кому где понравится. В результате мы с Борисом оказались в хвосте самолета и гул турбин убаюкал меня еще над Тюменью.

Разбудил меня локоть друга.

— Гляди-ка, целый город! — Борис смотрел в иллюминатор улыбаясь.

До горизонта — бесконечные борозды белого облачного поля. Слева скользит острым лемехом тень нашего Ту-134.

А на горизонте, громоздясь округлыми боками, вздымаясь куполами и башнями, с латунными от солнца стенами, с бирюзовым безмерным небом, плывет светлый счастливый город...

Стоит вернуть человеку крылья — и не было ни тягостного бессонного ожидания, ни издевательских отсрочек, ни опережающих деяния сомнений. Летим в Город Счастья! Вот нетерпеливо вздрагивает за иллюминатором край скошенного крыла с антистатической проволочной кисточкой — и вдруг ты слышишь сквозь гул турбин потрескиванье голубых огней святого Эльма, что так пугали мореплавателей во времена былые, и чувствуешь запах озона — аромат грозы, высот и открытий...

А под нами уже тундра. Прожилки бурых, зеленых и серых мхов по сплошному ртутному разливу.

— Протоплазма, — говорит Борис. — Огромная живая клетка, да?

Кто-то тронул турель огромного микроскопа — и тонкая пленка протоплазмы, медленно приближаясь, становится ярче, живей. Проступают иные цвета — от голубого до оранжевого. И вот уже

совсем близко округлые сопки и город в долине — высокий и светлый как тот, на горизонте.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Надыма. Температура воздуха — плюс пять градусов...

— Грамотно сели, — глухо поблагодарил Валерий. — Даже за Полярный круг не зацепились...

МЕСТО РОЖДЕНИЯ — МЕСТОРОЖДЕНИЕ «МЕДВЕЖЬЕ»

«...Я хорошо помню, как здесь появились сейсмики из партии Володи Авдеенко. И тихая фактория Надым забурлила новоселами...

Бригада строителей Демина на тракторах приехала из Салехарда, пройдя по неизведанной тундре более трехсот километров. Это разве не подвиг?..

В марте 1966 года сюда прибывает бригада Михаила Петрова из казымской партии глубокого бурения... Никогда не бравший в руки плотницкого топора ненец Максим Салиндер становится отличным плотником... 75-летний Аполлон Николаевич Кондратьев, бывший железнодорожный техник, возглавил ремонт подъездных путей, ненец Миша Пяк сделался неплохим экспедитором и снабженцем.

С открытием навигации по реке Надым потянулись караваны судов. Беспрерывным потоком шло оборудование для буровых, стройматериалы и продовольствие. Все трудились с утра до вечера. Надо было в сжатые сроки подготовиться к зиме.

Осенью жизнь уже входила в нормальную колею. Были открыты школа и клуб, общежитие и столовая, пекарня и баня, а главное — все хорошо устроились с жильем...»

А. Легашев, «Так начинался Надым». — «Тюменская правда», 1971, 9 апреля.

«...1971-й станет годом рождения первого заполярного газового промысла — начинается наступление на щедрые залежи Медвежьего месторождения...

В первые дни нового года по железной дороге в Лабытнанги отправлены тракторы, автомобили, краны для буровиков... Теперь им предстоит путь по зимнику — сотни километров среди снежной тундры...»

«Тюменская правда», 1971, 6 января.

«...В настоящее время более 1000 человек занято на строительстве города Надыма, 400 человек в трудных условиях прокладывают трассу газопровода. Мы видим наш город в условиях Крайнего Севера прекрасным, потому что в строительстве нашего будущего города непосредственно участвует молодежь. Мы убеждены — город среди непроходимых болот и тайги будет. На сегодняшний день видим ощутимые результаты: поднялся 90-квартирный дом, заканчивается строительство спортзала, общежития на 570 мест, школы на 600 учащихся, складов, ремонтных мастерских и т. д. В ближайшее время будет заложен клуб на 600 мест. На глазах растет монтаж газосборного пункта № 2, который обеспечит Пангоды и промышленные районы Урала газом...»

Из выступления секретаря объединенного комитета ВЛКСМ комсомольско-молодежного треста Севергазстрой В. Д. Пашина на XXIII ямало-ненецкой окружной комсомольской конференции, г. Салехард, 29 февраля 1972 года.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР.

Преобразовать в города окружного подчинения:

...поселок Надым Надымского района Ямало-Ненецкого национального округа, сохранив за городом прежнее наименование.

Перенести административный центр Надымского района из села Надым в город Надым...

Москва, 9 марта 1972 года.

— Наконец-то, путешественники! — навстречу нам по бетонному полю надымского аэропорта шла голубоглазая девушка с ясной улыбкой. — А мы вас всю ночь ждали!..

Так встретила нас Наташа Муренкова, работник комитета комсомола треста Севергазстрой, — как старых друзей.

Наташа все улыбалась. На сухом небе с близкими маленькими облаками сверкало мельхиоровое солнце. Низкие лиственницы и кедры за оградой летного поля стояли на светлом песке. Мы прошли по песку — сыпучему и тонкому, как в азиатской пустыне. Мы улыбались Наташе.

Помахивая хвостами, подошли четыре собаки: белая, черная,

рыжая и голубая. Они пошли рядом с нами — не озираясь, не заглядывая просительно в глаза — как свои.

От легкого неба, от выбеленного песка, от прозрачных далей с пологими сопками, от блестящего озерца невдалеке легко и чисто становилось на сердце.

— Дышится как легко! — Борис засмеялся смущенно.

— Естественно! — объяснил Женя. — Надым он и есть Надым!

С гордостью кивнула Наташа Муренкова. Она поняла, что имел в виду Женя, — счастье. И оценила его правильные слова.

Мы сели в автобус, а собаки остались. Нам стало как-то неловко, и мы все улыбались собакам и кивали: ну что, мол, хорошая ты моя. А собаки отворачивались молча, стыдясь за нас и гордо переживая прерванную дружбу.

Автобус выехал на бетонную трассу. Слева проплывали сопки, а справа тянулись пески, поросшие кедровым стлаником и тоненькими лиственницами, голые барханы и волнистые дюны, будто прежде тут был какой-нибудь Каракум. По обочинам трассы с обеих сторон бежали собаки — туда и обратно. На машины они не лаяли, спешили целеустремленно, будто на службу торопились.

— Вот вам, пожалуйста, проблема, — предложил Валерий. — Кто возьмется — диссертацию написать можно: «Судьба полярной собаки в эпоху энтээр». У нас в Норильске их развелось одно время — видимо-невидимо. Это когда северяне стали вместо собак аэросани покупать.

— Проблем у нас хватает, — сказала Наташа. — Город-то наш еще ребенок. . .

Медленно всплывая над сухими песчаными волнами, праздничной белой эскадрой приближался и вырастал город.

Нет, не только название. Все, что успели мы узнать о Надыме из книг и газет, пока готовились к поездке, все тяготы путешествия, вся ошеломляющая чистота полярного утра — словом, каждая минута ожидания воспитывала в нас счастливое предчувствие чуда.

Вот она, столица северного газа.

Комсомольская — самая длинная, больше километра — центральная улица Надыма, главная из его семи улиц. С серебристым отблеском широкий бетонный настил, отполированный колесами мощных КРАЗов, КАМАЗов, «Магирусов», пролетающих мимо нас без грохота и без пыли. Дома — обычные, пятиэтажные, как в новых районах Ленинграда, Владивостока и Сочи. Только между перпендикулярными корпусами еще диагональные вставки — чтобы не залетала полярная вьюга во дворы, где укры-

лись школы и детсады. Просторно, рационально, светло. Ресторан «65-я параллель», кафе «Встреча», типовой широкоформатный кинотеатр. А там, где нет еще зданий, — волнистые барханы и дюны.

— Надым — песчаный остров в тундре, — объяснила Наташа. — Вокруг — сопки, топи, болота, озера. Зимой даже при сорокаградусном морозе туманы стоят. Влажность какая — чувствуете?

Но нам дышалось легко. Мы приехали в Надым. Очень хотели — и вот приехали.

Автобус остановился у стального здания горкома, и мы вышли на звонкую бетонную мостовую.

— В общем, ничего городишко, — постановил Валерий, одобрительно оглядывая палисадник у горкомовского крыльца — несколько лиственниц ростом со среднего школьника и торчащие из бурого дерна кустики карликовой березы. Улица — пока еще несколько домов — продолжалась уходящей в сопки дорогой. И снова — до рези в глазах — пронзительная отчетливость горизонтов, как на северных пейзажах Рокуэлла Кента, где выписана каждая хвоинка на тонкой ветке лиственницы, охраняющей вершину отдаленной сопки.

В комитете комсомола треста Севергазстрой Наташа усадила нас, улыбнулась и сказала:

— Ну, рассказывайте!

Николай сделал глубокий вдох и объяснил все сразу:

— Нас в эту командировку Центральный Комитет комсомола послал. Основная цель — познакомиться и заключить с вашими комсомольцами договор. Договор о творческом содружестве. Между вами и Клубом молодого литератора при ленинградской писательской организации. Вот Олег, Женя и Борис — поэты. Миша и Валерий прозу пишут. У Валерия книжка выходит в будущем году, у Олега — тоже, и остальные книги свои готовят. Одновременно занимаются и публицистикой, любят путешествовать. А сам я в Ленинградском обкоме комсомола работаю. Хотим вот познакомиться с Надымом. Потом ребята напишут о вас, о проблемах города и месторождения, о ваших героях. Чем больше увидят, тем лучше напишут, сами понимаете. Потом кто-то из них снова приедет к вам — зимой. А вас мы будем рады видеть у нас в Ленинграде. . .

— А кое-кто из нас тут у вас поселиться намерен, — намекнул Валерий, подмигивая Борису.

— Ой, это вы остаться хотите? — обрадовалась Наташа. —

Давайте к нам в трест! Нам и каменщики нужны, и штукатуры, и плотники — прямо позарез! Ты строительными специальностями владеешь?

Борис покраснел и насупился.

— Он публицист, — объяснил я. — Он в газете работать может.

— Ну и журналисты тоже нужны, конечно, — Наташа вздохнула. — К нам часто и писатели приезжают, и журналисты, и поэты. Пообещают про всех написать, во всем помочь, туда-сюда на вертолете слетают, с девочками в общежитии потанцуют, а через полгода заметочка в газете: был, мол, видел героев, покорителей Севера, замечательно, дескать, ребята трудятся. А сам-то уже и в лицо, наверное, не помнит, с кем познакомился. Да и мы его давно забыли...

— Вот мы и не хотим, чтобы так получилось, — поставил точку Николай. — Будем дружить по-деловому. Идет?

Наташа задумалась, поглядела в окно. Вновь обвела взглядом трех молодых поэтов и двух прозаиков. Вздохнула. И улыбнулась, кивнув своему решению:

— Пойдемте-ка сразу к секретарю горкома. И с руководством треста надо вам познакомиться...

Свою необычную доктрину наших будущих отношений мы развивали вторично в кабинете главного инженера треста Севергазстрой Владимира Александровича Будника, в присутствии третьего секретаря Надымского горкома комсомола Володи Ковальчука.

— Не привыкли мы от прессы помощи ждать! — Ковальчук усмехнулся скептически. — Проблемы у нас — глобальные. Вот первая: оборудование для дискотеки. Как, поможете пробить? Я журналистов знаю...

— Не будем загадывать, — миролюбиво сказал Будник. — Нужно сначала показать гостям город, познакомить с хозяевами, с интересными людьми. Организуешь, Володя? На месторождение слетать — в первую очередь. И обязательно с Кондратьевым поговорить, — сразу впечатление о Севере получат.

— Аполлон Николаевич — старожил наш, — объяснила Наташа. — Его у нас «графом» зовут. Всю жизнь здесь прожил почти, все знает. Он и музыкант, и художник. У него картины такие — не передать. Вся наша природа, тундра, сопки...

И я припомнил, откуда знакома мне эта фамилия. «75-летний Аполлон Николаевич Кондратьев, бывший железнодорожный техник, возглавил ремонт подъездных путей...» Но это же было в марте шестьдесят шестого года, когда начинался Надым, а

сейчас год восьмидесятый. Получается, что этому человеку под девяносто!

— Времени впереди много, все успеете, — сказала Наташа. — А сейчас — в «теремок», в гостиницу «Надым». В лучшей нашей гостинице жить будете.

Наташа Муренкова родом из Белоруссии, и букву «г» она произносит как бы с осторожностью, с особой теплой заботой.

— И баньку вечером, — добавил Будник. — Баня у нас — как в столице... А на месторождение — завтра же! Это — главное.

— Куда мы попали, ребята, чувствуете?! — восхитился Борис.

Мы чувствовали.

НА БЕРЕГУ НЕВИДИМОГО МОРЯ

«...Тюменский газ пришел в Москву. Неподалеку от пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги с Волгоградским проспектом невидимая река сибирского газа, заключенного в стальное русло газопровода Медвежье — Центр, вливается в столичную магистраль...

25 октября в столице состоялся торжественный митинг. Один за другим поднимаются на трибуну те, чьим трудом сооружена энергетическая магистраль. Строить ее начали в ноябре 1973 года. В среднем каждый день сдавали десять километров готового трубопровода. Позади 400 километров труднопроходимых болот, 1100 километров лесов, преодолены 23 водные преграды, среди которых такие реки, как Обь, Кама, Волга. В землю легло свыше миллиона тонн стальных труб.

Надым по-ненецки — «счастье». Название оказалось пророческим. В месторождениях, разбросанных вокруг затерянного в тундре городка, сосредоточено около 70 процентов запасов голубого топлива, разведанных в стране. Директор объединения Надымгазпром В. Стрижов, выступая на митинге, сказал:

— На Тюменском Севере построены и освоены три уникальные установки комплексной подготовки природного газа к переброске на сверхдальние расстояния. В ближайшие годы нам предстоит довести подачу топлива из северных районов на Урал и в центр страны до 35 миллиардов кубометров в год. Разрешите заверить, что это задание будет выполнено!

...Наступает торжественная минута. Открывается задвижка вентиля, к ревущей газовой струе подается за-

пальник. И в сером осеннем небе трепещет пламя победного факела. Тюменский газ в Москве!»

«Факел зажжен!» — информация газеты «Тюменская правда» — 1974, 27 октября.

«Тюменскими запасами нам предстоит еще жить долгие годы. . .»

Л. И. Брежнев, речь на XVIII съезде комсомола.

«Статьей З. Ибрагимовой «На работу — самолетом» ЛГ вновь вернулась к теме вахт. Вопроса об их целесообразности уже не возникает. Но зато есть много других. . .

Что до науки, то и в этом случае, как и во многих других, практика опередила теорию.

В каком масштабе, на каких весах можно измерить и взвесить одновременно экономику и мораль, северную надбавку и нагрузку на здоровье, трудовой героизм и неизбывную тоску ребенка о вечно отсутствующем отце?

Вопросов много, но из их осознания вывод следует единственный: обеспечение вахтового рабочего — и в труде, и на досуге — должно являть собой систему, охватывающую решительно все аспекты жизнедеятельности. . .»

Д. Демин, старший научный сотрудник Сибирского отделения Академии медицинских наук, Новосибирск. «Есть много вопросов» — «Литературная газета», 1980, 30 июля.

Вода лишена цвета и запаха, но ее можно почувствовать осязанием.

Огонь лишен запаха и плотности. Но характер его выражен светом.

Природный газ нельзя ни увидеть, ни ощутить. И лишь умозрительно можно представить себе его главное свойство — давление, которое собственной силой стремится вытеснить с полуторакилометровой глубины полтора триллиона кубометров медвежинского газа. Только сила — сила давления, скорости, сила тепла — течет по рекам трубопроводов, призывая к берегу подземного моря новых работников, чтобы бесценный поток стал еще мощнее.

Она абсолютно духовна, эта волшебная материя без цвета и запаха. И невозможно приметить тот миг, когда сила невиди-

мая становится явной. В ту ли секунду, когда голубым венчиком расцветает конфорка газовой плиты или дает первый ампер мощности газовая электростанция? Или в тот торжественный момент, когда открывается заслонка новой линии газопровода и одновременно вспыхивает победным вымпелом чистый огонь над сигнальным факелом? А может быть, в те незабываемые минуты случилось это, когда белой струей пара, стремительно охлаждаясь в полярном воздухе, вырвалась невидимая сила из первой скважины крупного месторождения, уже покоренная людьми. . .

Вообразите овал подземного моря — шириной в двадцать пять километров, а длиной в сто двадцать. Овал — это если на карте. По сути же ни с овалом, ни с полой яичной скорлупой, заполненной газом, сравнить месторождение нельзя. Как вода губку, заполняет газ пустоты между частицами пористых структур на километровой глубине. Эти подземные «пузыри» обнаружены геофизиками, геохимики уточнили карту месторождения, бурильщики доказали их правоту. И потекли от моря ручьи — десятки технологических «ниток». Через установки комплексной подготовки газа, через компрессорные станции они питают магистраль Надым — Пунга. Далее газ идет на Урал и в центр страны.

Давно миновали те дни, те месяцы, когда по линии Медвежье — Центр проходил фронт наступления на северный газ. Месторождение обустроено, вышло на заданную мощность, дает уже семьдесят миллиардов кубометров газа в год. Сегодня основное внимание страны — Уренгою. Но по-прежнему стратегическим центром газа остается Надым, где расположен штаб армии газовиков — прославленный трест Надымгазпром.

— Вот кто здесь музыку-то заказывает, — задумчиво сказал Валерий после первого же знакомства с газовиками. — Сразу видно — хозяева. . .

И было в его словах внятное ощущение существующей в здешних краях силы — независимой, мощной, может быть и суровой, такой же необходимой здесь, как созданная природой сила подземного моря.

Слова Валерия припомнились мне в аэропорту Надыма, когда самолично явившийся старший диспетчер провел нас с Владимиром Николаевичем в обход длинной очереди пассажиров прямо на летное поле, вежливо помог и ему и мне взобраться на борт, влез следом за нами и стал обстоятельно объяснять Владимиру Николаевичу объективность нелетной погоды и, следовательно, перебоев в работе авиации. Владимир Николаевич

только покачивал головой или молча кивал, что заставляло диспетчера задушевно прижимать руку к сердцу, и ушел он будто сконфуженный.

— Пересматривать нашу работу нужно! — пожаловался Владимир Николаевич мне в ухо, потому что двигатель вертолета уже работал, а в кабину с грохотом и прибаутками погружалась сменная вахта газовиков-эксплуатационников. — Городу подчиняемся мы, а нужно бы наоборот, а то другой раз и не договоришься с ними, а ведь мы тут основные заказчики все-таки.

В его словах не было раздражения, только усталость привычная от неизбежных производственных неувязок.

Но — масштабы! ..

И радостью коснулось меня чувство причастности к подлинной жизни во всей ее разнообразной и своенравной силе. Ни авиалайнеры, ни вертолеты, необходимые газовикам, не заставили бы меня радоваться, пока виделись как бы сами по себе. Но вот отношения, представление о ценностях... Или это у северян уже просто привычка к головокружительным таким масштабам, к всесветной личной ответственности от сознания необходимости собственной и колоссальной, просто государственной силы... Короче говоря, то, что чувствовалось в спокойствии этого человека и что предстояло мне сегодня понять, познакомившись с месторождением поближе, уже заставляло радостно волноваться.

Рядом на откидном сиденье поместился Женя. Он с любопытством осматривал приборы на стенах, замки иллюминаторов, желтый бак с горючим и какой-то брезент у заднего люка. Женя, как я знал уже, собирался писать и о летчиках тоже, он вертолеты любит.

А Валерий занемог. Он проходил вчера целый день в своем уникальной рыжем пиджаке и свитере, без куртки, по старой норильской привычке, и слег. Коля остался с ним, а Борис и Олег отправились в горком уточнять текст нашего договора о содружестве с комсомольцами Надыма. Так что полетели мы с Женей вдвоем.

Стараясь не поддаваться давящему гулу двигателя, я вглядывался исподволь в лица пассажиров. Усталые в большинстве, неяркие лица. Сказывается, ох как сказывается дефицит кислорода, двадцатипроцентный дефицит. Нам, новичкам, спать хочется почти постоянно. И аппетит бешеный. А они привыкли. Привыкли? Вон, не дождавшись взлета, закрывает глаза здоровяк в пестром свитере. Зевает одетый изысканно молодой человек с ухоженной бородой и складным японским зонтиком. Он в отглаженных брюках, при галстуке, ботинки начищены и отполированы бархат-

кой. Кто он? Куда летит? Спрашивать неловко, тем более — этот гул. Да и стоит ли так волноваться и его беспокоить из-за японского зонтика и белой рубашки? Остальные пассажиры тоже одеты чисто, аккуратно и, надо сказать, недешево. В общем, мы будто в утреннем ленинградском автобусе. И отношение к пейзажу, привычному за окном, у пассажиров такое же равнодушное.

Покачиваясь, вертолет отрывается от земли, и Владимир Николаевич кивает удовлетворенно. Тут я, оглядев пассажиров, как бы заново охватываю взглядом внешность моего спутника и с удовольствием замечаю, что он одет очень продуманно, элегантно, но спокойно, с тем уверенным спокойствием, что сильней и сильней привлекает меня в характерах новых друзей-надымчан. В другом бы, пожалуй, насторожило такое тонкое внимание к одежде. Сухощавый, высокий, коротко остриженный, с открытым лицом, украшенным аккуратными светлыми усами, голубоглазый и русоволосый, он был в костюме таких мягких, так в тон внешности подобранных оттенков, что теперь я не могу вспомнить цвета материи точно — что-то серо-бежевое, ненавязчивое, строгое без претензий. Сразу же при знакомстве, при рукопожатии, возникло доверие. Питалось оно тайным каким-то излучением тепла. Волевой подбородок; рисунок губ скрыт щеточкой усов. Только в глазах, по-южному чуть прищуренных от не изжитой на Севере привычки к яркому солнцу, живут добрые искорки.

Владимир Николаевич работает в производственном отделе треста Надымгазпром. У дверей треста — табличка с золотой надписью: «Предприятие высокой культуры».

— Прошу садиться. Что же вы вчера к нам не пришли? Час назад закрыли Надым. Придется ждать «окна». Сейчас позвоним в аэропорт.

Это «позвоним», уже как бы общее, ободряло меня, давая понять, что мы уже союзники. Однако первым, без его помощи, проявить дружеское расположение шире я не решался. Прежде всего из-за его фамилии.

Да-да, я, разумеется, вспомнил светловскую строчку о высокой чести красивого имени.

Владимир Николаевич — Российский.

Не знаю, как бы носил такое высокое имя я. Не отсюда, не от чести ли красивого имени его осанка, его спокойствие, его лицо и одежда?.. Наверное, в какой-то мере так. Во всяком случае, все это есть, и рядом с этим человеком мне сразу до того ясно вспомнился Ленинград — высокий, и строгий, и бесконечно родной, — что впервые на Севере удивление тронуло сердце неуютной мыслью: эк ведь залетел-то куда! И тут же взгляд на Рос-

сийского: в экой далище от Большой земли соблюдает человек столичную выправку...

Строгое, требовательное внимание к собственной персоне проявлялось у него в немногословии, скупости жестов, аккуратном порядке на его письменном столе. То внимание к порядку своей жизни, как бы не дробящейся на мелочи и детали, с которым несовместимо было бы невнимание к своему делу или равнодушие к человеку.

— Очень жаль, но придется вам зайти через часок. Думаю, что вылет все-таки разрешат. На гэпэ люди ждут, волнуются...

Но когда мы с Женей пришли через час, снова:

— К сожалению, «окна» не дают. Запишите мой телефон. А я ваш запишу. В случае необходимости найду вас сам. Не расстраивайтесь, что-нибудь придумаем...

Тут на столе Российского зазвонил селектор, так что, записывая номер гостиничного телефона, он уже ушел целиком в разговор, не замечал больше нашего присутствия. «Не позвонит, — подумали мы с Женей. — И никуда мы сегодня не полетим». И, кивком попрощавшись и получив в ответ немой холодноватый кивок, мы вышли за дверь, вздохнули и отправились в гостиницу, сокрушаясь, что не продумали запасного варианта на случай такого срыва, теперь вот нечем до обеда заняться. Дел-то, разумеется, было по горло, но каждый знает, как оборванное стремление расхолаживает и злит.

В теплом пустом номере гостиницы я стянул толстый свитер, надетый на случай непредвиденных снегопадов и зимовок в тундре, и растянулся на койке.

Через двадцать минут меня рабудил Владимир Николаевич. Он стоял передо мной в нейлоновой куртке и кожаной шляпе, улыбаясь чуть насмешливо:

— Извините, что разбудил. Автобус внизу. Через полчаса вылетаем, — и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Глядя в иллюминатор на покрытые серебристым ягелем сопки, редко уставленные лиственницами и елями, я почувствовал его взгляд. И улыбнулся невольно в ответ на его улыбку. Владимир Николаевич подсел поближе и проговорил мне в ухо:

— Ну что? Широка страна моя родная?..

Видимо, нужно было, чтобы в тот миг сошлись во времени и пространстве сразу несколько важных условий. И долгожданность этого полета. И двести метров высоты, откуда земля близка, нежна и беззащитна, но безбрежна и неохватна для понимания. И, разумеется, фамилия этого человека. Сошлось — и тор-

жествующим удивлением осветилось сознание: да это же все Россия! Ты будто бы понимал это еще в Ленинграде, взглядом пролетая над страницей атласа, но ощутить посчастливилось только в это мгновенье.

— Олешки! — Владимир Николаевич обнял меня за плечи и помог разглядеть на зеленоватом фоне ягеля серые продолговатые пятнышки, неподвижные с высоты. — Мало уже их тут осталось...

Сплошной сетью пересекались и сплетались по болотам и сопкам черные оленьи тропы. Сдвоенными колеями — следы вездеходов. Иным из этих следов не один десяток лет: ягель восстанавливается столетиями. А сколько оленьим тропам — сто, пятьсот, три тысячи? .. А вон тому черному пожарищу сколько? И вон там черная пустошь...

— Миллионы гектаров выжжены, — сказал Владимир Николаевич. — Так сказать, издержки производства.

Он улыбнулся с невеселой иронией. И я понял, что для него просто давно миновали уже времена, когда эти черные пятна на теле тундры будоражили до злости. Привык. Привык потому, что нечего делать, ничем уже не поможешь таким местам. Но помнить о них следует. Помнить и добиваться, чтобы черная порча не расползалась по Заполярью.

Отчего загорается тундра?

От искры из выхлопной трубы мощного вездехода.

От пепла безобидного «Беломора», если ветерок его тронет и раздует микроскопический уголек.

Даже бутылочное стекло, отразив и собрав слабый полярный луч, может поджечь серебристый порох бесценного ягеля. Удавались такие опыты в лабораториях, а значит, и в жизни, в спешке, в запарке работы не может на сто процентов обезопасить хрупкую полярную природу человек — слишком много несет он с собой огня, силы, уверенности в завтрашнем дне, не зная и не догадываясь зачастую о том, что ждет его послезавтра...

— Ни олень сюда не придет, ни песец. Это уж навсегда. Для нас, во всяком случае, навсегда, для нашего поколения. — Российский зябко поежился.

— А газ — тоже навсегда? — спросил я с невольной враждебностью. — Или высосем газ, а там хоть трава не расти?

— Это сложный вопрос...

Странное ощущение возникло у меня при новом взгляде на спутника. Может быть, великоват ему все-таки костюм? Во всяком случае, воротничок рубашки будто на размер больше. Или похудел отчего-то человек? Не знаю. Но как-то неплотно сидит

на нем костюм. Неубедительно как-то. Или это только на миг показалось? Не знаю. . .

Трест Надымгазпром — это полторы тысячи работников, и каждый третий из них имеет институтский диплом.

Надымгазпрому подчиняется трест Надымгаздобыча, Медвежинское управление, колхоз «Лабытнагский», где разводят для Надыма кур и получают молочные продукты. А также, по недавнему приказу, подчиняется тресту управление энергоснабжения, и автопредприятие, и ремонтно-строительная контора, — всего пять с половиной тысяч человек. Это крупнейший газовый трест Тюменского Севера, каждый пятый кубометр советского газа добывается здесь и перекачивается через Надым.

Трест располагает основными фондами в полтора миллиарда рублей. В пересчете на контингент газовиков получаем полторы тысячи миллионеров в среднем возрасте двадцать восемь лет.

Итак, Надым — город самых молодых миллионеров.

Это только начало легенды. Уже сегодня Медвежье не определяет запасы приобского газа. Обустраивается Уренгойское месторождение, а там газа в три-четыре раза больше, и к концу новой пятилетки Уренгой будет давать около ста восьмидесяти миллиардов кубометров в год. И сто миллиардов будет давать месторождение Ямбургское, где газа тоже вдвое больше, чем на Медвежьем. Минимум десять «ниток» приведут трубоукладчики на Нулевую компрессорную станцию под Надымом, десять полноводных потоков тепла и силы — надежной подосновы нашего производства, всего народного хозяйства.

Но даже океан мировой может быть вычерпан когда-нибудь прогрессом энергетических мощностей. Гораздо быстрей иссякают «моря» газовые. Среднесуточный дебит промысловой скважины — миллион кубометров. Сейчас на Медвежьем двести тридцать девять промысловых скважин. Стоят на берегу «моря» девять установок комплексной подготовки газа, сокращенно — УКПГ или гэпэ, газопромысловый пункт — девять мощных предприятий, где природное сырье от первозданного своего состояния, очищаясь и приобретая дополнительную мощность для скорой транспортировки, переходит в готовое топливо — готовое нам служить.

Наш вертолет снижался над пятым гэпэ. Пробившееся меж туч солнце блеснуло в фольговой ленте речки Хэ-Яхи, серебром тронуло стальные стены корпусов, и флажок факела над главным корпусом пункта на миг побледнел. Но быстро исчезло солнце. Торжественно полыхал над тундрой оранжевый яркий лоскуток, воспетый поэтами, журналистами, романтиками-северянами. . .

...Золотистые от сквозных горячих лучей широкие листья и вьющиеся мощные побеги. Диковинные белые цветы без лепестков или, точнее, с единственным лепестком, как бы свернутым в фунтик и продолжающим стебель. Прозрачные от спелости плоды на лианных стеблях — светлый сок под светло-зеленой кожурой, — каковы они на вкус? Как называются эти фрукты-овощи: цветом — огурец, а ростом с кабачок?..

Тропики. Влажный горячий воздух так напитан энергией роста, что будто на глазах раскрываются золотые и белые цветы, а пар над жирной землей мгновенно воплощается в буйство рвущихся к свету зеленых тугих струй, тут же расцветающих звездами будущих плодов...

Что нужно ленинградцу, чтобы попасть в тропический лес? Свободное время и билет на самолет до Сухуми.

А у Александра Носкова, слесаря-сантехника пятого гэпэ, тропики под рукой, стоит только отворить застекленную дверь и переступить порог теплицы, построенной им с друзьями рядом с жилым корпусом.

Носкова сейчас на гэпэ нет: в другой вахте. Жалко. Хотелось бы познакомиться. Эта теплица на вечной мерзлоте имеет существенное отличие от парниковых хозяйств ленинградской фирмы «Лето»: она выстроена газовиками в свободное от вахты время. Собрана из подручных материалов, с минимальной затратой средств.

— Тепла-то у нас достаточно, слава богу, — объясняет Владимир Николаевич. — Три Москвы может обеспечить газом один такой гэпэ. Скоро на всех пунктах теплицы будут...

Почему я начал ваше знакомство с пятым гэпэ с теплицы? Без теплицы не представляю себе это предприятие в тундре. Более того, мне кажется, что и по проекту бы следовало закладывать в комплекс тепличное хозяйство. А может быть, и бассейн с подогревом, чтобы люди после вахты могли освежиться. И баню с сауной. Да мало ли как можно использовать технологическое тепло, уходящее в небо! Рыбу, например, разводить круглый год на теплых термальных водах, сады выращивать на торфяниках. Не для того ли пришел сюда человек? Цветущий сад, а не черные гари, — не наивные ли это мечты...

А может быть, мечты вообще и не бывают наивными, а лишь опережающими время? Мечта явление объективное и возникает на реальной почве. Мечта рождается из необходимости. Так и родилась на пятом гэпэ теплица — из полярного дефицита витаминов, из тоски по живой, сочной зелени. В новые края человек приносит с собой человеческую необходимость. И волей-неволей должен очеловечивать землю.

На стенде в жилом корпусе мы прочли объявление:

«С десятого июля организуется спортивно-трудовой лагерь в районе Черноморского побережья. Возраст детей пятнадцать-шестнадцать лет. Желающие послать детей должны записаться у председателя цехкома».

Всего и забот — у председателя записаться. Вот это организация! Нет проблем, как говорится!

— Зря, — сказал Российский. — Две недели минимум болеть будут подростки. Неделя на акклиматизацию там, неделя здесь, когда вернутся. А то и больше...

Но продолжается и будет продолжаться ежегодное паломничество северян в знойные сочинские палестины. И будут они на Юге проклинать Север, а дома, на Севере, — Юг. До нового отпуска. Зачем?

Не зачем, а почему. Нет, не только в температуре воздуха здесь дело. Медики давно открыли сенсорный голод, такой острый у северян, — голод по впечатлениям. По южной зелени, надышаться которой можно было бы в заполярном ботаническом саду, по теплой живой волне, заменить которую мог бы на время бассейн. По ласковому небу с добрым солнцем.

Но не от нас ли порой и солнце зависит — не от нашей ли бодрости и жизнелюбия? На юге-то рудники радости, разумеется, побогаче, поближе, так сказать, к поверхности. И все-таки...

А как же живет здесь Кондратьев? Всю жизнь живет, ни разу не изменил Надыму ради роскошных красот юга. И бодр, говорят, на девятом своем десятке отменно... Нет, нельзя всех по одному герою судить. И все-таки, существуют же на свете коренные норильчане, воркутинцы, салехардцы...

Так раздумывали мы с Женей, переговариваясь вполголоса, пока Владимир Николаевич знакомил нас с бытом газовиков. Свободная смена вахты в этот час отдыхала в жилых комнатах, в холле было пусто.

— Извините! — сконфузился Женя, открыв ненароком не ту дверь. Я успел увидеть двухъярусные койки и спящих людей.

— Быт, конечно, пока не очень домашний, — кивнул Владимир Николаевич. — И так целую неделю. Но не в этом главная проблема. Главное-то как раз дома начинается, в Надыме. Чем в свободное время заняться? Целую неделю мается человек. На вторую работу устроиться удается немногим. А для остальных что? На Каспии, где вахтовый метод процветает, человек свободному времени рад: и сад у него дома, и огород, и отдохнуть по-разному можно. А в Надыме? Конечно, что можем — делаем для своих работников. Но пока настоящей научной организации нет, все самодеятельность, так сказать...

А под потолком жилого корпуса, широким фризом охватывая все четыре стены, сияли вполне профессиональные плоды местной творческой самодеятельности. Светились яркие цветные витражи. Глухо отблескивали целые композиции, чеканенные по латуни и меди, — олени с нартами, сопки и возле нарядных чумов оленеводы в новых богатых малицах, с радостными улыбками. На портретах, как бы сотканных из фанерного шпона и мореных плашек, благородный тон старого вина контрастировал с апрельским светом березовых вкраплений — работа слесаря по ремонту Виктора Мордовина. Он раньше краснодеревщиком работал.

Так живут на пятом гэпэ. Хорошо? Во всяком случае, достаточно вроде бы удобно и даже уютно. И с красотой. И с великолепной библиотекой в семьсот томов, с гордостью предъявленной нам Российским: десять томов дефицитного Дюма, популярный Распутин, Астафьев, Василий Белов, рядом Андрей Платонов, Георгий Марков и Герман Кант...

«Поеду на Большую землю», — говорит северянин.

А может быть, Большая земля — здесь, на Севере? Уж земли-то тут больше, это точно. А какова она ростом и значением? Сигнальный факел пятого гэпэ виден издалека, виден и из нашего ленинградско-московского центра, питаемого трудом людей, которые несут здесь вахту, — работают и живут одновременно, без разделения этих понятий во времени и сознании...

Его головокружительная по нашим представлениям карьера для Севера исключения не представляет. Более того — типична. Напомним, что средний возраст надымских газодобытчиков всего двадцать восемь лет.

Итак, в семьдесят пятом году выпускник Тюменского индустриального института Михаил Сухих стал оператором по добыче газа недавно пущенного в эксплуатацию газоприемного пункта. Через два года он был уже инженером смены. С прошлого года, семьдесят девятого — заместитель начальника установки. Энергичен, немногословен, крепкотел. Из коренных сибиряков. Одет на работе скромно — в готовности приняться за любое дело. Запомнились руки. Большие, сильные, рабочие. В надежных руках гэпэ...

Знакомясь с ними, командирами здешних огромных производств, отвечая на крепкие рукопожатия, всматриваясь в лица — разные лица: тонкие и широкие, спокойные и постоянно меняющиеся, — мы вспоминали то юных наполеоновских маршалов, то комиссаров гражданской, сменивших студенческую тужурку на кожаную куртку, то лейтенантов последней войны, принявших на мальчишечьи плечи безмерный груз и повзрослевших мгновенно в бою. Это моментальное возмужание — не самая ли влекущая

тайна Севера? Нет юноши, который не мечтал бы стать настоящим мужчиной. И аналогии с жизнью на войне возникают здесь не от любви к романтическому антуражу — от уважения к умению нести порой груз невыносимый, полярный, да еще ответственность за людей — и тех, работающих с газом, и тех, что должны его получить где-то за тысячи километров, — сосчитай-ка всех подчиненных и подопечных...

Михаил торопился. Вел нас по коридорам и цехам гэпэ быстро, объяснял самое главное — основы технологии, принцип действия агрегатов.

— Вот печи Борн — главный технологический узел. Дает тепло для подсушки газа, регенерирует адсорбент. Подойдите сюда, загляните в это окошко...

В пятиметровом стальном резервуаре бьется голубое пламя — того же цвета, как то, домашнее, над конфоркой кухонной плиты. Но здесь вихри огня сливаются в какой-то космический поток, напоминают пламя из дюз ракеты или плазму, энергия которой неисчерпаема. И кажется на секунду, что вот-вот не выдержат легкие стальные печи бурлящей в них мощи, оторвутся от клетчатого кафельного пола и, пробив ребристые покрытия кровли, уйдут в небо, пронзят облачный покров над тундрой и через мгновение сольются с первичной материнской энергией солнечного шара, где пламя рождается постоянно, изливается в бесконечность и обогревает песчинку Землю, скапливая под слоем ее коры все ту же энергию в невидимой до поры ипостаси природного газа...

Всего на месторождении Медвежьем девять гэпэ разной мощности — от двадцати до пятидесяти миллионов кубометров в сутки. Пятый гэпэ дает двадцать четыре миллиона. Оборудование здесь французское. Последние гэпэ целиком отечественные — от болта на сальнике скважины до аварийного факела. Они мощней и надежней. Французское оборудование, правда, компактней. Но на нашем проще с ремонтом, и сейчас уже всем ясно: по сумме параметров эффективней использовать отечественные системы, и Уренгой будет полностью укомплектован советским оборудованием.

Мы проходили по коридорам и лестницам гэпэ, стараясь не ступать за границы резиновых ковриков, прочерченные белой краской. Чистота ослепляла блеском лаковых полов, сверканьем стальных и латунных вентилей, приборных стекол, протертых отполированных перил. Словно на военном корабле, где капитана больше любят, чем боятся, потому что у него самого прежде всего порядок и в одежде, и в каюте, и на капитанском мостике.

На пульте управления гэпэ светло и чисто. Сухих подвел нас к технологической схеме.

— Вот, пожалуйста, то, что вы видели. Нитка — отсекатель — факельные краны. Факел не для красоты стоит, а на случай избыточных давлений. Повернул кран — и сбросил газ через факел, никаких забот. Дальше — контрольный сепаратор. Находит оптимальный режим работы скважины. Горизонтальный сепаратор отбивает влагу и механические примеси. Адсорбер — главный узел. На него и работают печи Борн. Газ очищается от влаги, выходит из цеха на кран — Камерон — и в газопровод...

Меня заинтересовала светлолицая девочка с толстой белой косой. Она сидела за пультом, следила за приборами. Иногда говорила что-то в микрофон, а иногда поворачивалась в нашу сторону и улыбалась. И я догадался, что это старшеклассница из Надыма профориентацию проходит у папы на работе. Нужно бы познакомиться. И я стал бочком подбираться к пульту, делая вид, что взволнован показаниями приборов, даже недоволен чем-то техническим, оттого и нахмурился с полным пониманием.

Но она продолжала улыбаться. И я подумал, что она, должно быть, совсем еще только семиклассница.

— Не бойтесь, идите сюда, — сказала девочка, и я вспомнил почему-то Маленького принца. Подошел к пульту.

— Тебя как зовут, девочка? — спросил я ласково, достав авторучку, листая блокнот и уже как бы читая свой профориентационный очерк в детском журнале «Костер».

— Кочерга Мария Васильевна! — представилась интервьюируемая, медленно поднимаясь со своего низенького удобного кресла и как бы воздвигаясь надо мной царственной своею осанкой. — Студентка пятого курса Тюменского индустриального института, здесь на практике...

— Да вы садитесь, что вы, — растерялся я.

Маша села, и улыбнулась снова, и вновь стала похожа на семиклассницу, а я перевел дух.

Да, фамилии у людей разные. У Владимира Николаевича одна фамилия, у Марии Васильевны другая. Как знать, может быть, из-за фамилии отчасти она и улыбчивая такая. Трудно быть угрюмым и вялым, когда фамилия у тебя энергичная и веселая, постоянно улыбки вызывала и в детсаде, и в школе, а потом и в институте, даже у самых солидных профессоров с фамилиями, известными на весь мир.

Фамилия Маши на Медвежьем известна давно. Ее отец Василий Маркович буровой мастер. Работает уже около двадцати

лет, из них на Севере — девять. Так что профориентацию Мария Васильевна проходила без отрыва, так сказать, от домашнего очага.

— Папа бурить будет, а я на добыче, — получается династия, — улыбалась Маша. — Вторую неделю оператором работаю.

И я записал, торжествуя в душе: «Династия!» Вот оно, коренное-то население Севера, вот оно!

— А брат?

— Брат в Бугуруслан собирается. В летное училище поступать будет.

Я вздохнул и пометил: «Бугуруслан». Жаль.

— Он потом в Надым хочет вернуться, вместе будем работать, — утешила меня Маша.

Круг, как говорится, замкнулся. Не ответ ли это на все вопросы? Вот живут люди на Севере, давно живут. А значит, счастливы здесь. Или все-таки нет?

— А как с жильем — неважно? — спросил я с осторожностью.

— Хорошо, — возразила Маша. — Квартира у нас отдельная, всем места хватает. — И снова эта улыбка. — Ну, как вам у нас?

— Очень! — признался я.

— Вот только телевизор не работает, — пожаловалась Маша. — А вы в теплице нашей были? Нет? Михаил Александрович! . .

И в теплице я все улыбался, вспоминая улыбку Маши. И окончательно разнежился в тропическом климате пятого гэпэ, где сидит за пультом симпатичная дочь бурового мастера, с улыбкой подгоняет в магистраль подсушенный чистый газ, которого хватит на три Москвы. . .

На двери балка, поставленного у вертолетной площадки пятого гэпэ, надпись: «Аэропорт Минутка». Сокровенный смысл такого детсадовского наименования дошел до нас с Женей на третий час ожидания, когда лопнула надежда залететь на первый гэпэ, где работает оператор Владимир Ковбель, награжденный недавно премией Ленинского комсомола, и стало ясно, что сегодня дай бог бы в Надым попасть. И уже надоело выскакивать поминутно за дверь на моросящий холод и пытаться пронзить взглядом низкие плотные тучи, за которыми прокатывался порой приближающийся и вновь уходящий рокоток вертолета. Ну что ж, главное-то мы поняли: проблем у газовиков гораздо меньше, чем у строителей, летчиков, учителей и остальных надымчан,

имеющих не столь непосредственное отношение к газу. Что ж, это естественно. «Хозяева», правильно Валерий говорил.

— Вот так, бывает, и вахта часами сидит, — сказал Владимир Николаевич.

— А то и сутками, — уточнил Василий Васильевич Заруцкий, наш новый знакомый, начальник производственно-диспетчерской службы седьмого, восьмого и девятого гэпэ. — С транспортом у нам вообще проблема. И вездеходов нехватка, и грузовиков. И вертолетов мало. Люди, бывает, по двое суток еще сидят на гэпэ после своей вахты, а дома их ждут, да и самим уже тут невмоготу. Ну-ка, посмотрите, обогреватель включен?

Женя тронул радиатор у стены и покачал головой.

— Он с пульта включается, сейчас позвоню.

Заруцкий снял трубку телефона, поговорил с Машей, и радиатор щелкнул. А я представил, как радуются люди зимой, в мороз, когда вот так щелкает радиатор и можно положить на теплый металл закоченелые пальцы.

— Пойдемте прогуляемся, пока нагреется, — предложил Российский. — Борта пока все равно не дадут, чувствую.

И мы вышли из балка.

Позади нас с шипением полыхал факел над трубой гэпэ. А перед глазами пространство тундры, как бы снижаясь вдали из-за стелющихся туч, простиралось безбрежно и несравнимо. Воздух полярный прозрачен. Дымки на горизонте почти нет, и отчетливость далей сохраняется на десятки километров, так что ни с морем Балтийским, ни со степью не сравнишь этот простор, знобяще пустынный, немой, буро-зеленый по тону, с широким свободным ветром.

Шипящее гудение позади нас умолкло. Это Маша выключила факел. В тишине тундры остался будто бы след звука — тонкий, почти прозрачный, но с теплой живой окраской.

— Скважина поет, — объяснил Российский. — Вон — видите столбик?

— Это оттуда газ идет? — словно не поверил Женя. — Тут одиннадцать скважин по схеме должно быть. Пойдемте к скважине! Хоть скважину живую потрогать. . .

И мы зашагали по широкой, обильно засыпанной песком дороге к скважине. Глядя на груды песка, обходя глубокие колеи с водой, проступающей и над песком, я пытался прикинуть, сколько же нужно было песку навозить сюда на вертолете, чтобы вот этот хотя бы тупичок построить — метров триста всего или даже меньше. А без песка не обойтись. Вон, даже здесь вода, на пригорке. А низина сплошь залита разливом извилистой Хэ-Яхи. Над речкой кружатся чайки: охотятся.

— Рыбы много? — спросил я, едва набирая дыхания, чтобы поспеть за широким шагом Российского.

— Ловят ребята. Здесь в любом озере — как в аквариуме. А в реку и шокур, и муксун заплывает. Осенью грибы, клюква, морошка. Вот и не уехать от богатства такого...

Он остановился, мы отдышались.

— Привыкаешь, — сказал он, неопределенно поводя рукой по горизонту. — Где еще такой простор?.. Слышите?

— Поет! — подтвердил Женя, улыбаясь и кивая в сторону скважины. — Это же здесь, получается, газ, прямо под ногами, да?

— А сколько лет она вот так петь будет? — спросил я. — На сколько газа-то хватит?

— Лет на десять. Может, на пятнадцать.

Я ожидал более мощных сроков и теперь немного растерялся.

— А потом? Скважину засыпать, месторождение на карте зачеркнуть?

— Почему? — обиделся Российский. — Создадим избыточное давление под землей. Потом компрессоры поставим, еще лет десять потянем газ.

— Получается всего двадцать пять лет, — прикинул Женя. — А через пятьдесят что тут будет, кто останется? Людей-то куда девать?

— Электростанцию можно поставить. Или завод на газе. Да мало ли что! — Российский пожал плечами. — Сегодня у нас другие проблемы, совсем другие, гораздо проще. А внуки наши как-нибудь разберутся, что делать. Тогда наука знаете куда уйдет? Ого-го! — Российский махнул рукой, будто бывал в том, будущем времени, о котором так беспомощно беспокоимся теперь мы, и вскоре мы подошли к скважине.

— Только осторожней, — предупредил он. — Давление все-таки — семьдесят атмосфер...

Скважина пела. Вблизи мелодия газа напоминала широкое и мажорное звучание органа. Будто тысячи разномерных труб сливали ручьи голосов в единый гимн мощи земных глубин. Хотелось ближе коснуться этой торжественной песни, я положил ладонь на теплую серебристую трубу и вздрогнул, ощутив вдруг всем телом стремительный ток невидимого давления.

В одном из романов о газовиках-северянах замерзающий в тундре геолог отогревается вот так у трубы газопровода.

Я чувствовал, как от ладони тепло идет по руке, по груди, согревает тоскующее в бедном полярном воздухе сердце, и казалось, что так можно оставаться здесь сутки, и год, и всю жизнь.

и не пропадешь, не иссякнет жизнь, питаемая лишь этой невидимой силой. И становилось понятно, как питаются ею заводы, и города, и целые страны. Но и еще казалось: не вечно превращаться газу в огонь, — иная, более жизнетворная сущность этого щедрого подземного духа найдет путь к человеческой жизни, и сольется с ней, и погаснут над тундрой факелы, и не будет миллионами гектаров выгорать нежный ягель, а земля поднимется садами, и счастлив, до конца, навсегда счастлив станет здесь воссоединенный с природой, больше не враждующий с ней человек, позабывший язык огня ради песни разбуженных недр, услышанной нами сегодня. Внуки ли наши, правнуки сделают так? Сделают, смогут, обязаны...

— Вертолет! — крикнул Женя, и мы побежали к площадке.

Но, сделав какой-то странный, незавершенный полукруг над пятым гэпэ, вертолет вновь поднялся и скрылся за тучами, а мы повозмущались и спрятались в «Минутку».

— Ну как? — улыбался Заруцкий. — Впечатляет? Я, когда сюда работать попал, первое время все привыкнуть не мог. Раньше работал в Оренбурге. На Кубани тоже пришлось. Там все другое. Проблемы в основном технологические: газу немного уже осталось, вот и ломают головы люди, как его взять. Здесь пока с этим хорошо, сам из земли прет. Но уже скоро и на Медвежьем то же самое начнется. Сейчас передний край где? В Уренгое. А Надым свое значение скоро утратит.

— Ну уж и скоро! — возмутился Российский. — Нет, я не согласен.

— А что? Уже и сегодня на Уренгой все бросаем: и средства, и кадры...

— Вот потому и проблем столько, — Российский забарабанил пальцами по столу, встал, выглянул за дверь и вернулся за стол. — Видно, до завтра нам тут сидеть. — Он достал из кармана подаренный Михаилом Сухих гигантский огурец из теплицы и ловко разделил его на четыре части, а нам свой делить запретил величавым жестом, — своим, мол, довезите, чтоб знали, какие у нас тут чудеса. — Вот сидим. А транспорт новый куда весь идет? На Уренгой. Вертолетик с грузом был, наверное, снизился над нами, да тут и подумал, что груз в Уренгое ждут, а здесь надолго, может, задержаться придется, а погода почти нелетная, так что можно и не садиться, отговорок на все случаи жизни полно.

— Где работа идет, туда и транспорт бросают, все правильно. — Заруцкий вздохнул. — Там, получается, нужнее транспорт.

— А людям он здесь, значит, не нужен? — спросил Женя с подковыркой, уже почувствовав, как и я, что Заруцкий, несмотря на солидный возраст, в спор втягивается легко. Или это он сам

себе доказать хочет нечто такое, что в сознание не ложится и беспокоит постоянно?

— Мы привыкли, — Заруцкий смиренно вздохнул, провел ладонью по темному усталому лицу. — На Большой земле хуже доставалось — в противогазе работал, в больницу попадал...

Ну вот, только начнешь присматриваться, с какой стороны удобней наскочить на человека с неожиданными вопросами-доказательствами, а он такой выложит козырь, что и не подступишься, потому что главное поймешь: своя у человека судьба, особая, и мнение его особое оплачено пóтом нелегким. Даже если и кажется оно на первый взгляд ординарным.

— Сверху видней, куда средства бросать, — сказал он, глядя в сторону. — Там тоже люди с головами сидят, не глупее нас.

— А ребенок у вас есть? — спросил вдруг Женя. И лицо Заруцкого осветилось.

— Мой-то сорванец школу скоро заканчивать будет. Вот тоже забота — куда его потом?

— Действительно, куда? — усмехнулся Женя. — Вот и поедете на Землю, так? Но это еще нескоро. А сейчас, пока в школе учится, чем он занимается по вечерам? Есть куда пойти, кроме кафе?

Заруцкий расстроился, махнул рукой и рассказал как бы нехотя несколько таких историй из жизни надымских старшеклассников, что мы с Женей и вопросы задавать перестали.

Задумчиво поглаживал тулью своей замечательной кожаной шляпы Владимир Николаевич Российский, у которого сын помладше.

Заруцкий складывал в пепельницу-банку окурки один за другим, закуривал снова и снова.

С тоской глядел Женя за окно, на голубевшую предвечернюю тундру. Не жалел ли он, что задал бестактный вопрос и человека расстроил? Но мы затем сюда и приехали-прилетели — вопросы задавать. И пытаться искать ответы, разумеется.

Очнувшись, я спросил:

— Так что же получается? И дэпэша, и спортшкола, и дискотека в Уренгое необходимы, а в Надыме уже необязательны?

— Население растет, — заметил Российский. Мы этому радуемся. Вокруг города целая сеть поселков образовалась, а ведь это тоже Надым, вернее, это те, кому в Надыме места не нашлось.

— А кадров не хватает, — пожаловался Заруцкий. — У нас в Надымгазпроме знаете текучесть какая? Принимаем в год человек двести шестьдесят, а двести пятьдесят увольняется...

— Разводятся газовики часто? — спросил я как бы между прочим.

— Только на пятом гэпэ в этом году два развода, — сказал Российский. — Все естественно. Стоит мужу и жене в разные смены попасть — и неделю за неделей друг друга не видят. Он дома — она на вахте, он заступает — она возвращается. А детей куда? В детский сад. Где же семья? И при такой-то жизни зарплата, я вам скажу, не ахти. Вот и текучесть отсюда. Поработает человек в газпроме полтора годика, квартиру получит — и до свиданья, на трассу пошел трубы класть, на заработки тысячные.

— Да теперь уж не полтора года за квартиру работать нужно, — заметил Заруцкий. — Строительство понемногу сворачивают, на Уренгой переносят...

— Не мешало бы строителей наших подхлестнуть, — мечтательно проговорил Российский, — ежегодно недовыполнение у них по капвложениям.

— Строителей нам подхлестывать как-то неудобно, — сказал Женя. — У нас с ними договор о содружестве. Мы им помогать должны.

— А это и будет помощь, — сказал Российский. — Всем помощь — и самим строителям, чтоб им веселей было, и нам, и всему Надыму. Вы ведь сюда приехали не только стихи читать, верно? Кстати, давно у нас в Надыме артистов хороших не было. То ли боятся, то ли просто забыли, что есть такой город. В Уренгое-то их, говорят, принимать не успевают, прямо валом валят...

Российский надел свою удобную заграничную шляпу, надвинул ее на брови, сунул руки в карманы и откинулся, вытянул поудобней ноги. И я вдруг понял, что не сосчитать часов, проведенных им вот так в ожиданье «борта» здесь, в аэропорту с шутливым названием Минутка, или в других таких же балках, в этой удобной как будто бы позе, в любимой, оберегаемой им, модной, хорошей одежде — словно в футляре, которым хотелось бы, да не может человек защититься от постоянного, ежесекундного давления проблем — житейских как будто и обиходных, но разрастающихся на этих просторах в духовные и государственные, требующих безотлагательного решения.

Я не стал спрашивать Владимира Николаевича, скоро ли он собирается уезжать на родину, в Ивано-Франковск. Не стал, чтобы не расстраивать человека. Потому что понял уже примерно настроение каждого настоящего северянина, кто отдал этой земле годы жизни и труда — лучшие, быть может, годы. Да, не хотелось бы уезжать, а нужно. Ради семьи, ради собственного здоровья, ради стареющих на материке родителей.

Пришел вертолет, и мы взобрались на борт и молчали всю

дорогу. Заруцкий спрыгнул на площадке восьмого гэпэ, где вертолет сделал посадку на минуту специально для Василия Васильевича, у которого были там срочные дела. А потом до самого Надыма Российский сидел с закрытыми глазами, прислонившись спиной к иллюминатору, — дремал, наверное, или просто устал человек, ведь в ожидании больше устанешь, чем за день тяжелой работы...

КОМУ НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ ХОРОШО?

«Что же такое счастье? Ощущение полноты своих духовных и физических сил в их общественном применении...

Оно, прежде всего, покоится в координатах общественной нравственности».

А. Н. Толстой

«В ряде отраслей создание производственных мощностей не подкрепляется в необходимых размерах строительством жилья, социальных и культурно-бытовых объектов. Это совершенно нетерпимо для малообжитых северных районов с суровым климатом...

Города-новостройки Севера заслуживают большого внимания. Дело не только в том, чтобы каждому дать квартиру, обеспечить население больницами, школами, магазинами, клубами. Важно, чтобы все это по характеру сооружений, уровню их благоустройства, компоновке отвечало бы специфическим условиям Севера...

Задачи комплексного развития хозяйства области требуют коренного решения транспортных проблем... Не все вопросы пока решаются так, как требует жизнь. С первых шагов освоения газовых месторождений севера области стала совершенно очевидной необходимость безотлагательного строительства дорог».

Из выступления второго секретаря Тюменского обкома КПСС, депутата Верховного Совета РСФСР Г. П. Богомякова на Первой сессии Верховного Совета РСФСР восьмого созыва. — О комплексном развитии хозяйства области. Москва, 30 июля 1971 г.

«Особо следует сказать о создании газового центра в Тюменской области, каким будет г. Надым. В отличие

от других городов Среднего Приобья, его решено застраивать капитальными сооружениями с полным коммунальным обслуживанием и повышенным комфортом... Газовый Север будет осваиваться постоянными кадрами за счет призыва молодежи по комсомольским путевкам и демобилизованных воинов...»

Из выступления начальника Главтюменьнефтегазстроя Е. А. Огороднова на III пленуме Тюменского обкома КПСС. Тюмень, 24 января 1972 г.

«...Главтюменьнефтегазу, Тюменьгазпрому, Управлению магистральных нефтепроводов. Главтюменьнефтегазстрою, Главтюменьпромстрою, Сибжилстрою уделить особое внимание строительству жилья, объектов социального, культурного и бытового назначения в районах добычи нефти и газа».

Из постановления бюро Тюменского обкома КПСС «О мерах по наращиванию мощностей по добыче и транспорту нефти и газа в 1975 году». Тюмень, 23 января 1975 г.

— Здравствуйте, товарищи! Я к больному. Могу я видеть Валерия Петровича?

На пороге стоял высокий молодой мужчина в серо-стальном костюме, очень прямой, с решительным лицом, с жесткими светлыми усами. Валерий встал, прокашлялся и машинально хлопнул себя по левому нагрудному карману, где документы.

— А что, собственно, случилось? — поинтересовался он, принимая независимую осанку и расправляя усы. — Валерий Петрович — это я буду, вот.

— Очень приятно, — мужчина улыбнулся. — Будем знакомы. Меня зовут Александром...

Отрекомендовавшись, он прошел твердой походкой к столу, достал из портфеля четыре бутылки пива, поставил их в ряд, улыбнулся заново и стал пожимать руки всем нам, радостно объясняя:

— У вас вчера врач был, так это Наташа, моя жена. Я как узнал, что ленинградцы приехали, сразу к вам. Мы ведь тоже народ столичный. Очень приятно. Александр. Очень рад. Очень приятно...

Очень приятно повеяло бензинным ароматом то ли с Невско-

го, то ли с Арбата, одеколоном «Шипр» и жигулевским пивом. Но пиво-то откуда?

— Маленький секрет, — сказал Александр и улыбнулся кокетливо, так что можно было заключить сразу, что секретов маленьких этих у него немало и вообще умеет человек развернуться широким фронтом.

— Я только не понял, вы сюда роман писать приехали или поэму? — спросил Александр, моментально освоившись в глубоком удобном кресле со стаканом пива в большой и очень чистой докторской руке. — Впрочем, это ваше дело, мне-то, собственно, все равно. Но учтите: если роман, я вам помогу. Приходите завтра в больницу, в девять часов, я вас с главврачом познакомлю. С ветеранами нашими сведу. Про наших врачей давно пора роман написать. Или хотя бы повесть. Если у вас другие планы были, это ничего. И редакции, кстати, тема такая нужна — героизм советских врачей, будни людей в белых халатах. В нашей больнице героев найдете сколько угодно. Буквально каждый третий. И роман напишете, и повесть, и поэму. Можно и короткий рассказ, у меня несколько сюжетов есть, могу поделиться. Сам давно написать собираюсь, все руки не доходят. Например, о Швалевой Лилии Митрофановне...

Александр не умолкал. А мне было почему-то грустно. Вернее, жалко, что про Швалеву Лилию Митрофановну я уже никогда не напишу, наверное — не смогу. Почему бы это, а? Ведь человек от чистого сердца делится вроде...

— У нас тут знаете как все началось? Меня не было, но я все знаю, сколько раз рассказы старожилов слышал. Представляете? Тут же аппендицит вырезают, а рядом, только за ширмой из простыней...

Притихнув как школьники, мы смотрели на Александра с открытыми ртами, приметив сразу его коренное отличие от всех северян, с кем довелось познакомиться прежде. Только изредка кто-то из нас задавал ему робкий уточняющий вопросик и тут же отскакивал, как новичок-защитник от матерого форварда, когда тот уже примерился шайбу вложить и препятствовать ему бессмысленно.

— Да, отличные условия, комната четырнадцать метров, нам с женой вполне достаточно, скоро и сынишку привезем, как только ему два годика исполнится...

— Да, достаточно, полторы ставки, да полярки каждые полгода идут, вы же знаете уже, наверное, по десять процентов каждые полгода нам прибавляют. Каждые полгода. Восемь полярок — потолок. Правда, последние две не через полгода идут, а через год. Седьмая и восьмая. А до шестой — через полгода...

— Нет, не чувствуем абсолютно. Больница великолепная, оборудование современное. Все врачи отличные специалисты, есть у кого поучиться. Журналы выписываем по специальности, не отстаем. Скоро новая больница будет построена, появится возможность роста...

— Нет, сами попросились, сразу по распределению. Нет, не жалеем. Работа, семья, рыбалка...

Мы переглядывались с Борисом. Улыбались друг другу. Борис почесал в затылке, развел руками: да, мол, действительно, счастливый человек, абсолютно счастливый...

— А вы в каком издательстве книгу будете выпускать? — поинтересовался Александр, и я понял, кажется, почему меня не восхищает и даже не радует его абсолютное счастье. Оно же у него, бедного, так насквозь запрограммировано, что не состояться просто не имеет права. Оно известно на пятнадцать лет вперед, ровно на те пятнадцать лет, которые он намерен здесь проработать и, я уверен, проработает, раз решил. Его счастье не допускает случайностей, срывов, больших неожиданных радостей и крупных перемен. Оно на нем — как панцирь на черепахе, непробиваемый панцирь.

Ну, с панцирем-то я уже явно перехватил. Нормальный парень. В конце концов, у каждого свое представление о счастье. У Александра оно вполне определенное. Я бы даже назвал его будущее счастье безмятежным. Не сомневаюсь, что оно придет. Или уже пришло?

И что это я так сразу в штыки к нему? Да не зависть ли это к той определенности, так свойственной медикам вообще, которой так не хватает нам, людям пишущим? Как знать, может, и пишем-то мы только затем, чтобы определенность эту добыть — ту самую, которая таким вот, как Александр, с рожденья дается и укрепляется еще профессией. Перед его профессией человек наг и понятен. По крайней мере спервоначалу...

— Да мы еще, собственно, не знаем, что написать-то удастся, — сказал Валерий, как бы извиняясь. — Мы ведь чего хотим — счастливого найти. Вот ищем, понимаешь, кому на Севере жить хорошо...

— Странная задача, — Александр пожал плечами. — Разве сразу не ясно, что здесь всем лучше? Во-первых, снабжение...

— Это-то ясно, — перебил Борис, поморщившись. — Снабжение, зарплата, кооператив на Земле построишь...

— Вот именно, — кивнул Александр. — Так у нас и запланировано. В Москве, например, или в Ленинграде. Посмотрим.

— Но для этого необязательно на Север ехать, — намекнул тактичный Николай.

— Кому что нравится, — сказал Александр и поставил пустой стакан на стол, а когда Борис хотел налить ему еще, он заслонил стакан своей большой чистой ладонью. — И вообще, что это такое — счастье? Давайте мыслить категориями конкретными. Можно предположить, что счастье — это награда за труд. Допустим. Действительно, у нас же пока социализм. Причем развитой...

— Счастье? — Борис задумался на секунду и родил один из своих замечательных афоризмов, которые меня всегда удивляют и пробуждают особое к нему уважение, как и его блестящие способности шахматиста. — Счастье... Ребята, я понял, что это такое! Счастье — это когда за свой труд ты не ждешь награды. А?

Все замолчали. Задумались.

— Ну, не знаю, не знаю, — сказал Александр. — По-моему, вы уже перегнули палку. Бесплатно работать? Мы все, разумеется, ставим общественные интересы выше личных, но все-таки... А — семья, дети?

— Боря имел в виду не бесплатный труд, а... как бы это сказать...

Брови у Николая поднялись и мучительно заломились. На помощь подоспел Валерий:

— Ну, в общем, чтобы все было, как говорится, тип-топ. Чтобы, значит, ни о куске человек не думал, ни о жилье...

— У нас всякий обеспечивает себя собственным трудом, — сказал Александр и налил себе немного в стакан. — Таков принцип нашего общества. Серьезный человек успевает в течение каких-нибудь десяти-пятнадцати лет обеспечить себе разумную и красивую жизнь в дальнейшем. А неразумный...

— А неразумный все чего-то суетится, ищет, все чем-то недоволен, это самое, — Олег с усмешкой изобразил нахмуренную личность «неразумного». — Ну чего ты прыгаешь-то, господи? Успокойся, дурачок! Твоя цель — обеспечить себе старость, чтоб на диване лежать, в телевизор воткнувшись...

Лысина у Олега от возмущения покраснела. От возмущения и ненависти к невидимому оппоненту, которого как бы ненароком представил Александр. И наш новый знакомый медленно поднялся из кресла.

— Извините, я должен идти, — сказал он, отчеканивая каждое слово. — Мне пора проверять сети. Может быть, кто-нибудь хочет пойти со мной? Рыбы возьмете...

Он обращался теперь к Борису, как бы давая понять, что извиняет резкость Олега и не сомневается, что говорил наш вспыльчивый товарищ только от своего имени, ни в коем случае не за всех. Да так ведь оно, в сущности, и было, нам всем за

Олега неловко стало. Но Борис почему-то пожал плечами и посмотрел на меня. Я опустил голову.

— Посидели бы еще, — сказал Николай с прощальной улыбкой. — Олег пошутил. Он у нас большой шутник, честное слово.

— Извините — пора. Если сети не проверять регулярно, рыба гниет и пропадает. А то, может быть, кто-нибудь все-таки хочет со мной? Это недалеко, за пару часов успеем. Сапоги у меня найдутся. Можно потом ко мне зайти, жена будет очень довольна. Нет желающих? Ну, всего вам доброго. Выздоравливайте, Валерий. Берегите спину. Шерстяное белье обязательно, горчичники. Жду вас завтра в больнице, в девять ноль-ноль. — И он ушел.

— Обидели парня, — сказал Валерий. — Ни за что ни про что. А он нам пива принес. Жигулевского. Вот не можешь ты, Олег Николаич, язык за зубами придержать. Прогнали, получается, доктора Айболита. И расспросить как следует не успели...

— Нехорошо, Олег, — сказал Николай. — Что он тебе сделал?

— А чего он учит! — взорвался Олег. — Роман ему пиши, поэму, рассказ! Я же не учу его, это самое, как клизму, господи, делать!..

— Ну знаешь, так нельзя. Какое о нас впечатление останется?

Олег засопел и отошел к окну.

— А спор-то получился почти философский, — заметил, улыбаясь, Борис. — Вы счастливого искали — вот вам счастливый. Что же вы не радуетесь?

— Действительно, — радостно удивился Николай. — Смотрите-ка, ребята, все сходится. Жизнью человек абсолютно доволен. По Большой земле не тоскует. Работать здесь собирается лет пятнадцать, не меньше...

— И не рвач, — сказал Валерий. — А наоборот — врач. Пользу приносит. И жена у него красивая, я видел, даже неудобно стало, когда она меня слушать взялась, вот...

— Все равно, — сказал Олег. — Он сюда просто на заработки приехал. Кооператив парень построить задумал, машину купить. Разве это северянин, господи...

— Дело гораздо сложней, — сказал Борис, и все повернулись к нему. — Он здесь не только деньги, он и моральный капитал наберет. Это помните, как с молодым Талем чемпионы играть боялись? Он же мог и ферзя пожертвовать...

— Как Остап Бендер, — хмыкнул Валерий.

— Остап время тянул, чтоб не побили. А Таль выигрывал позицию.

— Да этот-то что выигрывает — не понимаю? — Олег пожал плечами.

— Александр задумал многоходовую комбинацию. Он задумал купить себе жизнь.

Я вздрогнул. Посмотрел на Бориса. Мой друг поглаживал рыжеватую бородку и улыбался.

— Да, именно купить жизнь за пятнадцать лет работы в Надыме? Понимаете? У него будет все, что ему нужно: деньги, квартира, автомобиль, гараж, приличная должность. Не будет только молодости. Такая уж ставка в этой игре, ничего не поделаешь. Но его она вполне устраивает, он все взвесил.

— А может, он любит Север? — спросил Олег робко, должно быть испугавшись, как и я, такого парадоксального поворота проблемы. — Ты что, с ума сошел — молодость продавать? Просто парню нравится тут — и все. Зачем вечно все усложнять, господи?..

— Да, ему нравится, — кивнул Борис. — Нравится зарплата, снабжение, возможность карьеры, отпуск нравится, рыбалка. А уедет — и все забудет. Ты же чувствуешь это. Потому ты и завелся, Олег, что же ты теперь его защищаешь? Да хотя мы и не обвиняем никого, боже упаси, просто мне, например, его жалко...

— Нечего жалеть, — сказал Валерий. — Он вот небось тебя жалеет. Таких, как ты.

— И не столько его, сколько Надым, — продолжал Борис, не обращая внимания на предостережение. — Потому что не может быть пользы городу, если человек только о пользе собственной заботиться станет. С Александром, слава богу, не такой вопиющий случай. Он медик, а значит, волей-неволей ежедневно творит добро, работает для людей. Хотя и он может по равнодушию своему вместо добра такого натворить...

— Не дай бог, — сказал Олег. — Да прекрати ты, ей-богу...

— А представьте такого человека на административной должности, — не унимался Борис. — Это же горе городу. Вот сегодня тут и решается, какие люди завтра будут в Надыме жить. Пока что здесь для Александра очень подходящее место...

— Давайте уточним, ребята, — сказал Олег. — Я, например, совершенно уже запутался. Мы кого тут ищем-то, господи, — счастливого или идейного? Вам что — альтруисты нужны?

— Этому городу, городу молодому, особенно нужен человек нравственно здоровый. Я бы даже сказал — духовный. Я бы тут должность такую открыл при каждой организации — «хороший человек». Потому что перспективы открывает только духовная жизнь. — Борис формулировал жестко, но мысли эти, давно

каждым из нас прочувствованные, как бы сводили воедино наши заботы и беспокойства последних дней. — Способ существования определяется целью. И целью каждого горожанина должен стать город.

— Газ, — возразил Валерий. — В первую очередь газ!

— Да, если разобраться-то, газ — это ведь тоже Надым, — сказал Олег. — Почти весь газ Медвежьего в Надым приходит, на Нулевую. А уже отсюда дальше перекачивается.

— Надым — это же сердце полярной газодобычи. А сердце в первую очередь должно быть здоровым.

— Больно красиво получается у тебя, Борька, — сказал Валерий. — Люди-то разные.

— А все-таки, братцы, кому же на Севере жить хорошо? — Коля остановился посреди комнаты и обвел всех взглядом. — Вот мы здесь две недели уже почти прожили, так что уже должны были счастливого встретить. А?

— В принципе газовикам ничего живется, — Валерий пожал плечами. — Они все-таки жильем более-менее обеспечены.

— А зарплата? — возразил я. — А вахтовый метод работы? Нет, хорошо здесь живется строителям. Ты же про Гоцына писать собираешься. Он и орденом награжден недавно. Вот и рассказал бы про него, какой он счастливый, а мы бы порадовались.

— Гоцын — бригадир, — Валерий вздохнул. — Я бригадирское счастье знаю, сам на КАМАЗе побригадирствовал. Вот если бы мы все хором в бригаду к нему записались и помогли бы хоть немножко — был бы счастлив тогда Юра Гоцын, это как пить дать...

— А Петю Пелых забыли? — напомнил Олег. — Вот счастливый человек, сразу видно. Как вспомню его улыбку, господи...

— А по-моему только один Александр действительно счастлив, — отрезал Николай. — Нехорошо все-таки вышло с ним, что ни говори, очень нехорошо...

И все помолчали немного, вспоминая счастливого Александра.

— Мы вот завтра в Газпроме об этом спросим, — сказал Валерий. — Насчет счастливого. Интересно, что они там себе кумекают...

В управлении треста Надымгазпром пресс-конференцию специально для нас никто, естественно, не закатывал. Люди, занятые своим повседневным делом, важность которого нам объяснять не было уже необходимости, принимали нас радушно, но по-деловому. И нам было удобней расспрашивать их по одному:

главного инженера Сидорова, начальника отдела АСУ Корнина и председателя месткома Писаренко. И не в каждый кабинет мы входили все вчетвером. Но когда теперь я вспоминаю те разговоры, мне кажется, что встреча была общей. Вот я и попытаюсь представить теперь коллективное интервью. Встречу, так сказать, за круглым столом.

Итак, вообразите себе кабинет главного инженера треста Надымгазпром товарища Сидорова. Широкий письменный стол с комплектом телефонов и стандартным селектором.

Расположились присутствующие как на совещании: на председательском месте за письменным столом — спокойный, уверенный, немногословный Сидоров, а вдоль длинного думного застолья по одну сторону Писаренко с Корниным, по другую — мы четверо, и жаль, что Бориса с Олегом нет, разговор явно предвидится интересный. Женя, Коля, Валерий и я разглядываем пока собеседников. Сидоров рассматривает наши командировочные удостоверения: убеждается в их неподдельности. Мы, в свою очередь, ощущаем в командирах полярного газа именно то, что почувствовать хотелось.

Сидоров — устойчивый тип директора. Хозяин. Вон как командировочные разглядывает, даже на обороте посмотрел, все ли подписи на месте. Без улыбки, без блеска в глазах. Осуществление воли давно стало плотью и кровью, а интерес подлинный представляют в первую очередь кубометры его газа — миллионы, миллиарды, триллионы.

Эрик Семенович Корнин, начальник отдела АСУ, улыбается. У него круглое доброе лицо, огромный открытый лоб. Ясный взгляд едва не ласкает нас — столько в нем спокойной разумной силы, готовой по-отцовски переселиться в беспокойные души. Спасибо, Эрик Семенович...

Писаренко значительно моложе. Острижен по моде, одет с почтением к костюму: платочек в кармане гармонирует с галстуком. Писаренко похож на второго тренера преуспевающей хоккейной сборной — так он по-спортивному подобран, так хитровато улыбается, но в то же время и грустно от постоянной заботы.

В широкие окна вмонтированы кондиционеры. А за окном серенький северный денек, обычный будний день Надыма.

Общий глубокий вд-о-о-о-х... и — выдох!

— Слушаю вас! — дал нам слово главный инженер Сидоров.

Николай: Постараюсь быть краток. В Надыме мы в первый раз. Но не в последний. Успели познакомиться с газовиками, строителями, летчиками и другими службами города. Город у вас необычный, он нас восхитил. Мы хотели бы, чтобы вы по-

делились с нами своими заботами, рассказали о проблемах, специфике, перспективах развития города.

Сидоров: Как сами понимаете, условия у нас северные. Отсюда и специфика. Например, отсутствие постоянной энергии. Электроэнергию сами производим и потребляем на месте. Сейчас в Надыме заканчивается монтаж плавучей электростанции на двадцать девять мегаватт. Такой же узел будет стоять в Пангодах. А в перспективе снабжать нас будет Сургутская ГРЭС, тогда будет полегче. А пока выработка тепла, водоснабжение — все своими силами. Собственно, и весь город Надым находится на балансе Надымгазпрома. И жилье тоже фактически мы строим...

И тут мне стало спокойно. Еще не хорошо, но уже спокойно, потому что нашелся живой человек, принявший на себя весь груз ответственности за судьбу города. За твердым сидоровским «мы» стояла мощь огромного главка, и уже не было, не могло быть скидок на чью-то чужую волю или нерадивость. Что ж, уже немало...

Женя: По газетам и справочникам мы представляли себе Надым чуть ли не раем. Город Солнца Томазо Кампанеллы. Добродетельный город Аль-Фараби. А тут выясняется, что даже не все газовики жильем обеспечены...

Сидоров: Неблагоустроенного жилья у нас сегодня приблизительно шестьдесят процентов. Строители сдают ежегодно до тридцати тысяч метров площади, однако систематически недовыполняют план. К тому же Надым растет слишком бурно, мы просто не успеваем.

Женя: Медвежье будет эксплуатироваться еще лет тридцать, минимум. Следовательно, вы заинтересованы в создании собственного контингента специалистов. Можно удерживать деньгами. Но ведь не каждый целиком зависит от собственного кошелька? Наши запросы и требования растут не только в плане материальном. Человек ищет интересную работу, ему необходимы условия для отдыха, благоустроенное жилье...

Сидоров: Строительство прекращаться не будет. Сейчас у нас осталось на дообустройство города двести сорок миллионов рублей. Денежки есть. А так как большого роста населения в ближайшие годы не ожидается, процент нуждающихся в жилье будет приближаться к нулю. Второе направление — улучшить обслуживание. Заложили Дом культуры на пятьсот мест, спортивный комплекс. В районе Пангод был вахтовый поселок, стал рабочий, расширили там капитальное строительство, рабочий теперь может перевезти в Пангоды семью, а не вахтоваться из Надыма. Кроме того, по линии автоматизации производства, внед-

рения АСУ тоже наращиваем темпы, Эрик Семенович вам расскажет. А проблему с жильем нужно разрешать в корне для всего Севера. Вот мы добиваемся, чтобы в ближайшем будущем северянам разрешили строительство кооперативного жилья в центральных районах. Можно селиться в районах Харькова, Краснодара, Ставрополя, где есть месторождения. Мы, кроме денег, даем человеку специальность, высокую квалификацию, — здесь же передний край. Вот бы и поработал такой специалист экстра-класса после Севера нашего еще и на Юге лет пятнадцать, всем бы польза была...

Писаренко: Это только один из возможных путей решения проблемы. Кооператив — это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, почему тот же самый харьковчанин получает квартиру бесплатно, а наш северянин должен пятнадцать лет на кооператив работать? Нужно просто строить для нас жилье — государственное, ведомственное — на Большой земле. Мы уже строим двухсотпятидесятиквартирный дом в Тюмени. Но распределять жилье будет сама Тюмень, так что мы больше двух десятков квартир не получим...

Сидоров: Кооператив быстрее и надежнее. Мы опросили людей. Из трех тысяч около восьмисот человек изъявили желание строить кооператив в Грозном. Сам я весной в Майкопе был, там пытался договориться. Так местные власти предложили мне привезти в Майкоп материалы, комплектовать строительное управление и строить самому. Но мы же Надым строим...

Писаренко: А с этого года нам фонды на жилье срезали. Наш дээска из шести готовых домов должен четыре Уренгою отдать. А развитие Надыма не остановишь. Газ добывать мы только еще начинаем...

Николай: А что можно построить на те двести сорок миллионов, что сейчас остались на дообустройство?

Сидоров: Пятиэтажный дом стоит у нас около шестисот тысяч. То есть практически мы можем построить еще один такой город. К тому же министр обещал добавить. Спортшкола и дэка будут в восемьдесят втором году готовы. А к концу одиннадцатой пятилетки весь центр города отстроим. Вот тогда и приезжайте.

Женя: А сейчас?..

Валерий: Вот я работал в Норильске...

Сидоров: Понимаю, что вы хотите сказать. Но нам с Норильском пока не тягаться. Там во всем выше класс. Уровень, как говорится. Красиво! Но ведь там же сама промышленность как бы призывает к оседлости. А у нас люди летают на рабочие объекты за сто двадцать километров. Значит, вахтовый метод.

Неделя тут — неделя там. Где больше привыкнет человек? В результате — текучесть. Постоянного населения единицы. Я имею в виду таких, кто здесь по десять-пятнадцать лет отработали. Про Кондратьева слыхали? Вообще один. Основная масса — процентов сорок — со стажем от пяти до десяти лет. А наибольшая текучесть в промежутке от года до трех. После трех наступает стабильность лет до восьми. После восьми резко на убыль...

Валерий: А вот у нас в Норильске...

Сидоров: Норильску пятьдесят лет, Надыму — семь. Лет через двадцать у наших горожан средний стаж работы в Надыме будет пятнадцать лет, я уверен. Я ответил на ваш вопрос?

Валерий: Ну что ж, посмотрим, как говорится, годков через двадцать интересно бы с вами встретиться...

И мне уже начинало казаться, что проблем в Надыме не существует. Во всяком случае, уже лет через несколько точно все будет тип-топ, как Валерий говорит. Но в это время Сидоров с грустным вздохом стал отвечать на вопрос Николая о роли месторождения в жизни местного населения. Он признал, что газовики портят пастбища, что в огромном хозяйстве газодобычи фактические хозяева этой земли места себе найти не могут, что тундра горит, а предложенная сибирскими учеными техника, специально разработанная для необъятных просторов тундры, дело далекого будущего.

— Вот вас, к примеру, кулаком не сшибешь, верно? А ребенка малого пальцем можно обидеть. У тундры здешней возраст младенческий, каких-нибудь десять тысяч лет. Вот она и не научилась еще от человека защищаться...

Тут я вспомнил полет с Российским и попросил уточнить перспективы вахтового метода.

Сидоров только вздохнул и покачал головой. Отвечал Писаренко:

— Пять лет работы по вахтовому методу показывают: на сегодня он, к сожалению, необходим. Дорога межпромысловая не готова. Жилья недостает и в Надыме, и в Пангодах, и в Ныде. Приходится смены вахтовать. Спрашивается: когда вахтовику с женой целоваться, если они в разные смены попали? В результате за последние семь месяцев только на одном четвертом гэпэ четыре развода. О текучести я и не говорю. А у нас будет еще девять компрессорных, на каждой человек по семьдесят, тоже вахтовать придется. Мы что предлагаем? Развивать Пангоды. Развивать Ныду. Строить дорогу межпромысловую — срочно. Чтобы люди на работу могли ездить на автобусе. На совещании у министра Гайнуллина мы свое мнение высказали. Гайнуллин обещал прислать этим летом комиссию, разобраться...

Валерий: Дорогу?

Сидоров: Пустим.

Корнин: Как мы ни сопротивляемся, придется ее пускать. Водный путь с полным объемом перевозок справиться не в состоянии. Сургут — Уренгой — нитка слабенькая, нас не устроит. Ну со временем что-нибудь придумаем...

Женя: Расскажите, пожалуйста, Эрик Семенович, какую роль играет отдел АСУ в жизни месторождения. Я читал статью «Электронный мозг промысла» в центральной «Правде», августовский номер прошлого года. Мне очень интересно, я сам по образованию программист. Какие у вас сегодня задачи?

Корнин: В любом развитом многоотраслевом производстве роль АСУ с каждым годом расширяется. И Стрижов, наш директор, слава богу, это понимает. Помогает отделу. На сегодняшний день у нас имеется две машины третьего поколения АСВТ-М-40-30 Киевского завода. Достаточно наагрегатированы — имеем тройной запас памяти. Работаем на всех языках. В отделе семьдесят человек, из них восемьдесят пять процентов с высшим образованием. За три года уволил только троих. А задачи у нас вот какие. Существует в наших показателях так называемый коэффициент газоотдачи. Один процент этого коэффициента равен пятнадцати миллиардам кубометров газа в год. Вот этот процент и нужно экономить. Вы знаете, что по всему Союзу была волна увлечения АСУ, потом — разочарования. А недавно вышло новое Постановление Партии и Правительства о развитии, возрождении этой отрасли. Теперь мы завязаны с Новосибирским отделением Академии наук. Кстати, вот ездил недавно в Новосибирск, так поезд на одиннадцать часов опоздал. То же и с самолетами у нас бывает, вы, наверное, столкнулись. А о чем это говорит? Не справляется уже старый, мудрый дядя Вася в толстых очках, не совладать ему с расписанием всесоюзным. Так и сегодня без АСУ — никуда. Вот у нас проблема: газ есть, но нужно его еще взять суметь. Взять весь, взять аккуратно, с природой шутки плохи. Вот и приходит на помощь вычислительная техника. По каждой скважине мы банк информации завели. По сумме данных можем проектировать, предвидеть завтрашний день промысла...

Корнин говорил спокойно, с видимым удовольствием, лицо его постоянно улыбалось. По всему заметно: до сих пор сохранил этот человек юношеское неравнодушие к своему делу. И его спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, уже как бы пронизанном сегодняшними невидимыми токами ЭВМ мощной эманацией машинного мозга, передавались нам...

— Задача наша сегодня — не любой ценой результата добить-

ся, а только оптимальным путем. Нужно думать и об отдыхе для людей, и о том, куда им детей помещать, чтобы не беспокоиться. А начинать нужно с оптимизации учета. На пристани видели — трубы валяются?! Из-за разврата в учете в первую очередь! За них же золотом плачено! Но сегодня не всех еще это волнует. Отсюда амортизация основных фондов у нас — пятьдесят — семьдесят процентов. Но теперь уже основные фонды считает машина. Шестьдесят процентов бухгалтерских расчетов машина производит. Есть кое-какие успехи. Например, Академия наук предложила нам вариант обсчета зарплаты. А у нас ряд специфических отличий. Мы подумали, прикинули, попробовали по-своему. Родился новый комплекс — зарплата в северном исполнении...

Корнин взял со стола ленту зарплатных корешков, развернул ее, пустил по кругу:

— Вот, пожалуйста, уже по новой системе машина считала...

Скользнув взглядом по ровным рядам отстроченных машиной шифров и сумм, я запомнил цифру у графы «К выдаче». Хорошая цифра — тысяча с гаком. Понравилась нам изобретенная надымскими новаторами зарплата.

— Да вам тут институт собственный открывать впору, — заметил Николай, со вздохом возвращая Корнину ленту зарплат.

— Не только институт. Мы и аспирантуру целевую хотим в Надыме организовать. Почему это по проблемам Медвежьего работать и защищаться должны чужие люди? Пусть наши! Так ведь разумнее, верно? А уж институт-то само собой, давно пора. Молодежь учиться хочет, здесь же все условия, — столько времени свободного...

Корнин улыбался.

И Сидоров улыбался. И Писаренко.

Коля тоже улыбнулся и покачал головой: не верится, мол, что счастливо так может все разрешиться...

— Приезжайте лет через пять, — сказал на прощание Сидоров, — не узнаете город. Ей-богу, не узнаете...

С Корниным нам было по пути.

— Проблем, разумеется, достаточно, — говорил он, вдыхая с удовольствием свежий вечерний воздух. — Но ведь мы здесь для того и работаем, чтобы решать их, верно?

И мы не могли не улыбнуться ему в ответ.

— Вы сами давно в Надыме? — спросил Валерий.

— Седьмой год. Тоже с Юга приехал. Здесь большинство с Юга, там же плотность населения — огого! Уезжать не собираюсь. Нет, пока не собираюсь...

— Нравится?

— Жаловаться грех. Откровенно говоря, Надым дал мне все. Любимую работу. Понимающее начальство. Жилье. Зарплата меня устраивает. Люблю музыку — купил себе комбайн с акустикой, по вечерам слушаем с женой. Дети пишут часто, они уже самостоятельные люди. Так и живем. Что еще человеку нужно? А в театрах я в командировках чаще бываю, чем родственники столичные.

— И супруга с вами работает? — спросил Николай. — Боже, как все хорошо может быть, а?

— Жена в школе преподает. Корнина Галина Степановна, учитель истории. Кстати, сходили бы, поинтересовались, у них завтра выпускной вечер. Это третья школа, как раз рядом с гостиницей вашей.

— У нас запланировано, — сказал Валерий, расправляя усы.

— Серьезный вы народ, мальчики, как я посмотрю, — улыбнулся Корнин, пожимая нам руки. — Будете еще в Надыме — заходите.

— Непременно! — заверил Коля, а я почему-то отдал Корнину честь по-военному, и мы расстались у кафе «Встреча».

У входа в кафе — объявление:

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру
со всеми удобствами в г. Норильске
на равноценную в г. Надыме. Обращаться
по адресу: г. Надым, Ленинградский проспект...

— Понятно, Валера? — Коля посмотрел торжествующе. — На равноценную! А ты все про Норильск. Вон где история делается теперь — в Надыме...

— Ну, это мы еще годиков через пять поглядим, — проворчал Валерий.

А я вдруг почувствовал такой молодой, такой счастливый голод, что по лестнице на второй этаж кафе полетел через три ступеньки...

ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН

Я — СКАЛОЛАЗ-МОНТАЖНИК

(На берегах Вахша)

Март восьмидесятого. В Душанбе тепло. Люди ходят без пальто и без шапок. Я еду в Рогун. Старенький «пазик» трясет безбожно. Скучная пыльная дорога. Желтые покатые холмы похожи на спины спящих слонов. За ними — невысокие заснеженные горы. Не доезжая Файзабада, вдруг ныряем с головой в пушистую русскую зиму. Сугробы в человеческий рост сдвинуты бульдозером к обочинам. Теперь едем, словно в тоннеле. Метет. Ничего не видно. Кажется, вот-вот вылетит навстречу тройка с бубенцами.

Неожиданно возникают в снежной мути белобородые смуглые старики из «Тысячи и одной ночи» в черных, белых, красных тюрбанах и в темных стеганых халатах или пожилые женщины в накинутых на голову белых рубашках. Они «голосуют», входят в автобус и вскоре покидают его, исчезая из поля зрения так же внезапно, как возникли. Не оставляет ощущение, что ты уже где-то видел эти лица. Может быть, на полотнах Верещагина...

А серпантины дороги все набирают и набирают высоту. Мотор гудит натужно. И кажется, нет конца этим глубоким пушистым снегам, этому густому властному снегопаду. Теперь слева от дороги — стена, справа — глубокий узкий каньон. Падать очень далеко. «Пазик» наш крутит и крутит. Переезжаем через

мост и теперь уже катим по правому берегу ущелья в противоположном направлении, как бы назад. Дорога, по которой мы только что проехали, бежит навстречу. И езда наша кажется бессмысленной. И не видно выхода из этого ущелья. Горы как будто заперли его со всех сторон...

Я думаю о человеке, к которому еду, о скалолазе-монтажнике «Рогунгэсстроя» Юрии Яновиче. Вот уж действительно неординарная личность, человек, сделавший спорт своей профессией. Он — скалолаз. И этим все сказано. Попробуй отделить у Яновича спорт от работы и наоборот. Не получится.

Мы знакомы с ним давно. Впервые встретились семнадцать лет назад. В майские дни на скалах в Карелии соревновались скалолазы ленинградских вузов. И особенно азартно болели студенты за темпераментного плотного коротко подстриженного парня в очках по кличке «Лохматый». Это был студент Горного института Юра Янович.

Через девять лет вместе с Яновичем (к тому времени он уже был бригадиром скалолазов-монтажников «Нурекгэсстроя») мы оказались на Кавказе, в ущелье Адыл-Су на всесоюзных сборах инструкторов альпинизма. На занятиях по спасательным работам команда курсантов сборов должна была организовать полиспаст и с его помощью поднять на тросах по отвесной скале сразу двоих альпинистов — условно пострадавшего и сопровождающего. Обычно двоих вытягивали четверо. Юра Янович всегда был горяч и решителен в работе. А парни, доставшиеся ему в напарники на том занятии, видимо, ленились, не слишком «шустрили». Не выдержав, Янович ухватился двумя руками за веревку, издал какой-то гортанный, натужный крик и, ко всеобщему изумлению, вытащил «пострадавшего» и сопровождающего наверх. Вытащил в одиночку! Я бы не поверил в это никогда, если б не увидел все своими глазами. И этот лихой хриплый крик, подбадривающий самого себя, и эта мощь — поразили нас. Мы только переглянулись и пожали плечами: вот это мужик! И роста вроде бы среднего, и сложения среднего. Правда, спина широкая.

1973. Осенний Крым. Скала Хергиани. Парная гонка первенства страны по скалолазанию. Юрий Янович — представитель впервые выступающей на всесоюзных соревнованиях команды гидростроителей Нурека — сбрасывает стеганый таджикский халат и выходит на старт. Коротко подстриженный, очкастый, плотный. Весь — внимание и собранность. Очки застрахованы на резиночке. На ногах — подвязанные тесемками, остроносые азиатские галоши. Взгляд устремлен вверх: глазами скалолаз «про-

ходит» весь предстоящий девяностометровый вертикальный путь. На параллельном маршруте принимает старт грузинский скалолаз. «Марш!» — звучит команда. Щелкают секундомеры.

Скалолазы, бегущие вверх по отвесной стене, издали похожи на ящериц. Тело изгибается, подчиняясь рельефу скалы. Снизу стена кажется совершенно гладкой, иногда даже нависающей. А они бегут, борются с секундами и друг с другом. Здесь борьба характеров, тактики, техники.

«Наддай! Зашнуривай! Не стой! Работай ногами! Миди, миди! Чкара, чкара!» (что по-грузински означает то же самое — быстрей! быстрей!) — ревут болельщики.

Янович первым заканчивает свою трассу и спускается дюльфером вниз по закрепленной веревке. Теперь соперникам предстоит поменяться маршрутами и продолжить бег. Такова парная гонка. Правила соревнований жестоки: проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. Только победитель в парной гонке будет допущен к следующему виду программы — к индивидуальному лазанию.

Янович уверенно выигрывает гонку, не оставляя сопернику никаких шансов. Но неожиданно, в верхней части маршрута у него развязывается тесемка на левой галоше. «Ох!» — вырывается у толпы болельщиков единый выдох. Скалолаз успевает поймать соскочившую галошу. Потерять ее нельзя. Судьи накажут за это штрафными баллами. Досадная оплошность. Завязывать тесемку некогда, да и неудобно делать это на отвесной скале. А время идет. Соперник нагоняет. Не растерявшись, Янович прикусывает галошу зубами и в таком виде, под бурные аплодисменты зрителей, первым заканчивает маршрут и спускается по веревке вниз, принося зачетные очки своей команде...

Вспоминаю разговор с лидером таджикских альпинистов, тоже бывшим ленинградским студентом — Олегом Капитановым. Я в гостях у Капитанова, в Нуреке. Олег невысок, сухощав, подвижен и совсем не похож на свою солидную фамилию. На полке — множество книг о горах. Здесь же на широких цветных лентах висят девять больших медалей за призовые места на чемпионатах Советского Союза. Одна — за скалолазание и восемь — за альпинизм. В коллекции этой медали всех достоинств: «золото», «серебро», «бронза». Внешне Олег сдержан, спокоен. Но стоит заговорить о горах, как он оживляется, в глазах загораются огоньки. «Еще в школе попался мне в журнале красивый снимок — мужик в красной анараке, в кошках и с айсбайлем в руках прыгает на леднике через трещину. В Ленинградском Элек-

тротехническом институте, увидев объявление, я сразу же записался в альпинистскую секцию. Очень понравились мне наши альпинисты. Еще не зная гор, я понял, что не смогу существовать без этих людей. Тренировались мы на скалах в Кузнечном. Я думал, что на скалах выдадут все бивачное снаряжение. Притопал с детским рюкзачком. А уже холодно было. Снег выпал. Мне говорят: «С чем пришел, с тем и топай обратно, в город». Впервые увидев снежные горы, я готов был бежать на любую. Было это пятнадцать лет назад. Сейчас не то. Если говорить честно, сейчас я иду на гору и боюсь ее: слишком сложные пошли горы. И на каждой находишь что-то новое, не встреченное раньше. Нет похожих гор. Новые люди, новая ситуация, новая борьба... Когда все горы станут для меня похожими (надеюсь, что этого не произойдет!), тогда я брошу альпинизм. Взойдя на гору, выбираю маршрут на следующую, еще более сложную. И опять боюсь ее. Преодолеваю ее психологическую броню, готовлюсь к борьбе сам, готовлю людей. Холодный расчет, трезвая голова, вера в людей — это и есть альпинизм».

О Юре Яновиче Олег рассказывал с удовольствием: «Как все физически сильные мужики, Янович добр, отзывчив. Что касается спорта, то я не встречал другого такого сильного во всех отношениях, такого талантливого спортсмена с железным самообладанием. Юра исключительно надежен. Эмоционален. Но подавляет в себе все всплески холодной волей. Он прекрасный организатор и лидер, умеет увлечь, заразить, повести за собой людей.

Очень тяжелым был для нас 1973 год. На пике Коммунизма я заболел тогда воспалением легких. Пришлось спускать меня с горы. А тут еще, провалившись в трещину на леднике, погиб наш товарищ — Гена Котов. Мы очень любили этого парня. Вернулись в Нурек. Не успели похоронить Гену, как пришло известие о том, что на пике Коммунизма терпят бедствие украинские альпинисты. И не смотря на то, что все мы были сломлены гибелью товарища, Юра Янович сумел собрать команду и организовать спасательные работы. Ребята наши вышли на пик Коммунизма, на высоте 6200 метров встретили украинцев и выручили их из очень трудного положения».

Толчок. Автобус останавливается. Оби-Гарм — конечная остановка. Отсюда еще три километра до поселка гидростроителей. Снегопад. Пушистые хлопья ложатся на дорогу и тут же тают в грязи. Меня подбирает попутка.

Поселок Сары-Булак. Улица имени Виктора Яковлевича Ненахова — первого начальника строительства Рогунской ГЭС. Несколько крупнопанельных четырехэтажных домов прилепились друг над другом на искусственных террасах, вырубленных на склоне горы. Дальше этих домов ничего не видно. Белая, звуконепроницаемая стена снегопада.

— Вон дом 23, — указывает рукой загорелый парень в штормовке и в резиновых сапогах.

Очень скоро я понял, почему здесь так модна эта обувь. И пройти-то мне надо было каких-то сто метров по разбитой БелАЗами грунтовой дороге. Но в своих городских туфлях я тут же утонул по щиколотку в грязи. Махнув рукой, засучил брюки до колена и зашагал в сторону нового бело-голубого дома с балконами и огромными окнами...

Всего два месяца назад встречались мы с Юрой Яновичем на Кавказе, у подножья Эльбруса, на поляне Азау. Я работал в Терсколе инструктором по горным лыжам. Узнав о том, что в Азау приехали наши «гималайцы» — кандидаты в сборную команду страны, готовящуюся к восхождению на Джомолунгму, я пришел к ним в гости, решив, что встречу кого-нибудь из знакомых. По глубокому снегу поляны Азау носились с футбольным мячом шумные загорелые парни. Среди темпераментных футболистов оказалось много моих друзей, и в том числе Юра Янович. На этих сборах он единственный представлял Таджикистан. «Вчера спустились с Эльбруса, хорошо сходили, — сообщил Юра, — у нас здесь много скалолазов: Саня Путинцев, Хута Хергиани, Леша Москальцов».

...Я вхожу в крайнюю парадную. Давлю на кнопку звонка на четвертом этаже. Открывает Юля — жена Юры Яновича, диспетчер «Рогунгэсстроя».

— Какими судьбами?

— Хочу написать очерк о Юре. А где он сам?

— В общежитии, у своих альпинистов.

Вспоминаю о том, что сегодня воскресенье. Снимаю куртку. Приглядываюсь. Квартира однокомнатная. Мебели никакой, за исключением пары стульев. На полу в углу комнаты лежат два альпинистских пуховых спальных мешка. У окна — открытый чемодан с книгами. Четыре года назад я бывал у Яновичей в Нуреке. Там у них была прекрасная двухкомнатная квартира в центре города. И мебель была, и книги на стеллажах. Сейчас — не квартира, а бивак.

— Вот так мы живем. Не таскаться же с барахлом, — говорит Юля, — новую стройку начинаем. Юрка любит начинать.

— А ты? Не устала от кочевой жизни?

— Привыкла. И даже нравится. Есть в этом что-то.

— А дочка где?

— В Жигулевке, у бабушки. У нас еще нет школы. Все будет со временем, только не здесь. Гидростроители будут жить ближе к створу, в Майдоне. Сейчас там маленький кишлачок. Нурек закончили. Начинаем Рогун. Здесь работы много. Осели мы теперь надолго, лет на десять — пятнадцать. А вот и хозяин.

— Писать обо мне приехал?! — удивляется Юра. — А что писать-то? Работаю скалолазом-монтажником, как все. Разве я один такой? Есть мужики, которые работают и подольше. На Нуреке скалолазные работы начались с Вано Галустова. Помнишь, он приезжал с нами в 1973 году в Крым, на первенство Союза по скалолазанию, как тренер команды? Вот о ком надо писать.

В руках у меня две пожелтевшие записки, снятые с памиро-алайских вершин.

Записка первая: «20 августа 1965 года. 11 час. 35 мин. 17 начинающих альпинистов-строителей из Нурека совершили траверз вершин Малый Игизак, выйдя с Зеленой гостиницы в 6 час. 30 мин. утра. Траверз начали с пер. М. Игизак, спуск на пер. Нойзахба. Погода хорошая».

Снята записка группы Ткачева, которая была здесь 25 октября 1964 года.

«Привет следующим восходителям!
Инструктор-стажер Бочкарев.
Старший инструктор Галустов».

На обороте — приписка: «Это восхождение посвящается И. А. Галустову. Сегодня исполняется тридцать лет его работы старшим инструктором. Поздравляем его с этим юбилеем».

И еще приписка: «И. А. Галустов желает всем такой же успешной работы в альпинизме».

Записка вторая: «27 сентября 1968 года. Передовая линия битвы за коммунизм пролегает на стройках пятилетки. Строительство важнейших объектов народ и партия доверяет комсомолу и молодежи.

Молодые строители Всесоюзной ударной комсомольской стройки Нурекской ГЭС по праву задают тон всему ходу строительства...

Одним из мероприятий молодежи города Нурека, посвящен-

ных пятидесятилетию Ленинского Комсомола, является восхождение альпинистов Управления земельно-скальных работ на большую гору Игизак».

И приписка: «Просим не снимать с вершины до сентября 1969 года. Галустов И. А.»

В 1962 году в Пулисангинском ущелье прогремел первый взрыв, известивший о начале проходки первого строительного тоннеля Нурекской ГЭС. Борта створа Нурека — крутые сыпучие скалы. Район подвержен сейсмическим толчкам до восьми баллов. Сверху то и дело падают камни. Жизнь людей, работающих внизу, — в опасности. Необычные условия стройки заставили создать специальную бригаду для сборки «живых» камней со склонов створа. Но опыта работы в горах у нурекских сборщиков не было.

В 1964 году один из старейших тренеров страны, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Иван Артемович Галустов, возвращаясь из похода по Пулисангинскому ущелью, остановился на рабочей площадке будущей гидростанции. Внезапно над головой раздался грохот. По склону, поднимая облака пыли, летели камни и падали у подножья горы, где работали люди, двигались бульдозеры, машины. Галустов рванулся наверх. Оказалось, что это рабочие производят очистку склона от свободно лежащих камней.

— Так нельзя чистить скалы, — сказал Галустов бригадиру.

— Может быть, научите, — обиделся тот.

Галустов разыскал начальника Управления земельно-скальных работ Владимира Константиновича Чебоксарова. Выслушав известного альпиниста, Чебоксаров предложил: «А может, вы поработаете у нас, поможете создать бригаду скалолазов?»

И Галустов остался в Нуреке. Вначале у него было всего десять учеников. Пришлось обучать их основам альпинизма. А через несколько месяцев в табеле стройки появилась новая профессия — скалолазы. Они чистили скалы над дорогами, помогали геодезистам при съемочных работах. Без их помощи не могли обойтись ни связисты, ни электрики. При проходке первого строительного тоннеля скалолазы ставили опоры перекрытий и подпоры стен. Постепенно они овладевали различными смежными специальностями, чтобы на крутых скалах заменять рабочих высокой квалификации. Имя бригадира скалолазов Якуба Мамадалиева было занесено на доску Почета. Звание отличных скалолазов присвоили Авренову, Саедову, Бочкареву.

Школу альпинизма И. А. Галустова прошли все строители,

начиная от директора и кончая рядовым монтажником, потому что каждый шаг на стройке был связан с горами. А во время летних отпусков Иван Артемович, или попросту Вано (как зовут его альпинисты во всем Союзе), вел своих учеников в горы. А было ему уже за шестьдесят.

Несмотря на все старания Галустова, разворачивающейся стройке не хватало скалолазов. Его воспитанникам недоставало еще альпинистского опыта.

Осенью 1968 года со стометровой отвесной стены на более крутом левом берегу Вахша неожиданно обрушились камни. У подножья стены готовили котлован под ядро плотины. Вследствие большого суточного перепада температур скалы продолжали разрушаться. Находиться под этой стеной стало опасно, и Госгортехнадзор запретил дальнейшее производство работ. И тогда главный инженер строительства Николай Григорьевич Савченков обратился за помощью в Федерацию альпинизма Таджикистана. Группа сильнейших альпинистов республики выехала в Нурек. В бригаду из 13 человек вошли В. Машков, В. Айзенберг, А. Шатковский, В. Косинский, М. Ашуров, В. Лаврушин и другие. Но и для опытных спортсменов предстоящее дело оказалось новым, необычным.

Из-за срыва графика работ Савченков просил очистить склон как можно скорее. И альпинисты пообещали управиться в двухнедельный срок. Приходилось учиться по ходу дела. Ширина скального участка составляла 70 метров. Поднявшись на стену, альпинисты наметили точки крепления, забили скальные крючья и на двойной страховке спустили «чистильщиков». Вверху и внизу заняли пост наблюдатели-корректировщики. Первым на стене оказался Саша Шатковский. Лом, молоток, связка скальных крючьев — все застраховано. Вадим Косинский медленно выдает трос через блок-тормоз. Махмурад Ашуров страхует Сашу дополнительной веревкой. Техника давно уведена из-под стены. Скалолаз начинает сбрасывать камни. Они с грохотом несутся вниз, улетают далеко от стены, сокрушая все на своем пути.

Валерий Лаврушин предложил набросить на скалу сетку из проволоки, благодаря которой падающие сверху камни будут просто ссыпаться под стену, не отскакивая. Он же придумал способ установки и крепления такой сетки. Попробовали. Получилось хорошо. Спортсмены успели выполнить работу в срок. Комиссия приняла ее с оценкой «хорошо».

Но главный инженер понимал, что и с этой стены, и с других склонов камни все равно будут падать в дальнейшем. И он решил создать специальный скалолазный участок. Возглавил его

бывший инструктор по альпинизму и конному спорту из общества «Хосилот» душанбинец Геннадий Шрамко.

В 1971 году на участке работало уже 75 скалолазов. Разбиты они были на три бригады. Одна бригада (из 15 человек) занималась только оборкой скал. Две другие бригады (по 30 человек каждая), составленные из наиболее квалифицированных скалолазов-монтажников, устанавливали камнезащитные шторы, камнеловушки, закрепляли большие блоки (негабариты). Шторы из проволочной сетки навешивали на обобранных скалах над дорогами, над местами работ. На неотвесных скальных склонах устанавливали камнеловушки. Подъем на склон сварочного аппарата и лебедки, разводка пневмосети, растаскивание по склону стоек, пластин и рулонов сетки — все это и многое другое входило в задачу самих скалолазов. Кто кроме них смог бы работать на высоте? Не только на склонах трудились скалолазы. Им же приходилось заниматься сборкой и укреплением сводов в тоннелях, водосбросах, в камерах рабочих и аварийных затворов.

Друг Юры Яновича, выпускник ЛЭТИ Олег Капитанов в 1971 году работал на строительстве Нурекской ГЭС в составе спецотряда сильнейших скалолазов студенческого добровольного спортивного общества «Буревестник», созданного по инициативе ЦК ВЛКСМ. Студенты-скалолазы закрепляли тогда «камень» размером с трехэтажный дом и весом около пяти тысяч тонн, который висел на четырехсотметровой высоте над зданием ГЭС. Пришлось сплести вокруг этого «камушка» кошелку из двадцатипятимиллиметрового троса. Оставшись в Нуреке насовсем, Олег Капитанов позвал туда Яновича.

Приехав в Нурек, Янович возглавил альпинистский клуб «Норак». В 1973 году вместе с Капитановым он стал серебряным призером чемпионата СССР по альпинизму, взойдя по стене на вершину Ягноб. Юрий Янович стал бригадиром скалолазов-монтажников, собрав всю бригаду из альпинистов.

Спорт и работа. В жизни Яновича они шли бок о бок. Еще на первой своей гидростанции — Красноярской ГЭС, раскачиваясь над Енисеем на капроновой альпинистской веревке, вместе с другими скалолазами сбрасывал он вниз «живые» камни, обмывал склоны водой, подстраховывая работающих внизу строителей.

Скальная стена нависает над стройкой. Многопудовые глыбы вываливаются и падают вниз. На тросике или на веревке, сидя на специальном седле, опускается сверху скалолаз, страхуемый

товарищем. Ему помогает корректировщик. Звучат только две короткие команды: «Выдай!» и «Закрепи!» Лишних слов здесь не произносят. Если камень, который надо сбросить, лежит на скальной полке, то в качестве рычага скалолаз использует ломик, застрахованный капроновым репшнуром. Но как подобраться к камням, находящимся под карнизом, когда стена отбрасывает висящего на веревке скалолаза? Зацепившись багром за выступ, скалолаз подтягивается к щели. В нее вгоняется ломик. Но камень не поддается. И тогда, используя вес своего тела, скалолаз прыгает на ломик. Камень наконец вываливается и с грохотом летит вниз. А скалолаз вместе с пристрахованным ломиком улетает маятником в сторону по дуге, метров на десять — пятнадцать. Дай бог, чтобы не развернуло его и не ударило затылком об скалу. Тут уж помогает реакция, координация движений, психологическая устойчивость. Человек привыкает, приспосабливается ко всему.

Не поддается крупный камень, лежащий на скальной полке. Скалолаз обхватывает его руками и валит на себя. И вместе с камнем падает с обрыва спиной вниз. Камень летит вниз, а скалолаз маятником — в сторону. Это самая простая работа — очистка склона.

Гораздо сложней установка камнеловушек. Вначале, висящие на веревках и кажущиеся снизу точками, скалолазы-монтажники с помощью перфораторов бурят в камне шпуры. Затем кувалдой загоняют в эти шпуры специальные металлические стержни — анкеры. Каждый анкер весит двадцать килограммов. А ведь их надо еще поднять на стену. Те же скалолазы-монтажники приваривают к анкерам стойки — семиметровые отрезки двутавровой балки по сто килограммов весом. Сварочный трансформатор тоже надо поднять на стену. Наиболее физически трудная работа — растащить стойки по склону, по всей длине устанавливаемой камнеловушки. Приварив стойки к забитым в скалу анкерам, с помощью лебедки скалолазы натягивают на них сорокамиллиметровые тросы, к которым крепится сетка. И все это делается на высоте, где нельзя допустить ни одной ошибки. Вот и все. О чем тут, собственно, рассказывать?..

Я знал, что и в школе, и в ленинградском Горном институте Юра Янович занимался боксом. Но однажды, попав на скалы и увидев, как лазают лучшие ленинградские скалолазы, он навсегда забросил бокс. Беспощадные тренировки, и уже через год Янович завоевывает бронзовую медаль в Красноярске на соревнованиях сильнейших скалолазов страны, посвященных памяти Евгения Абалакова.

Увлечение скалолазанием и альпинизмом круто изменило всю его дальнейшую судьбу. Вместо геологоразведчика Янович стал гидростроителем. Узнав о том, что на строительстве Красноярской ГЭС требуются скалолазы, он уезжает в Дивногорск и осваивает специальность скалолаза-монтажника.

Увлекшись чем-то, Юрий всегда отдавал себя любимому делу без остатка. Решительность поступков всегда отличала его: С детства хотелось ему не упустить в жизни главного, во всем самом интересном участвовать самому. В шестнадцать лет, окончив среднюю школу в Подольске, Юра, против воли родителей, убегает на целину. Отец увидел сына, когда тот вместе с будущими целинниками уезжал в грузовике на железнодорожную станцию. Отец только и успел, что погрозить ему кулаком. Но разве таких, как Юра, удержишь дома?

Так он попал в Орскую область, в зерносовхоз «Комсомольский». В степи, в двухстах километрах от центральной усадьбы совхоза, на строительстве зерносклада, Юрий Янович освоил свою первую рабочую профессию — слесаря-монтажника. Бывшие слесари Подольского машиностроительного завода, хорошо знавшие Яновича-старшего, взяли паренька в свою бригаду.

Каково же было удивление Юры, когда среди целинников он вдруг столкнулся со своим учителем истории, бывшим классным руководителем — Владимиром Афанасьевичем Разумовым. Тот тоже неожиданно для окружающих бросил все и поехал осваивать целинные земли, решив, что история создается там. Так учитель и ученик стали целинниками самого первого призыва.

...Много проблем, возникших на строительстве Нурекской ГЭС, помогли решить скалолазы.

В 1973 году, за месяц до наступления летнего паводка, в монолите скалы, нависающей над плотиной, образовалась трещина. Скала, весящая более десяти тысяч тонн, в любой момент могла обрушиться вниз. И все строительные и монтажные работы под ней были остановлены. Необходимо было ликвидировать нависшую над головой угрозу до наступления паводка, иначе нарушался весь график стройки. Скалолазы принялись за дело. Используя все светлое время, они бурили шпуры и закладывали в них взрывчатку. Гремели взрывы, рушились монолитные глыбы. Метр за метром очищали скалолазы склон от обломков, весивших иногда по нескольку центнеров. Успели до паводка. И снова загудела под скалой техника.

Вот что сказал в январе 1976 года главный инженер Управления строительства Нурекской ГЭС С. Я. Лощилин в своем

интервью корреспонденту газеты «Советский спорт»: «Нурекская ГЭС уникальна — нигде в мире не строили трехсотметровой насыпной плотины, да еще в таких сложных горных условиях. И именно эти условия заставили гидростроителей овладеть специальностью скалолазов, пройти спортивную альпинистскую подготовку. Без скалолазов мы бы не сумели досрочно закончить первой очереди ГЭС. . .»

Опытный альпинист-скалолаз способен действовать в самых сложных условиях высокогорья, он сумеет забраться в самое труднодоступное место, его можно быстрей обучить любой строительной профессии — сварщика, монтажника, такелажника, бетонщика. Скалолаз — это человек, который преодолел психологический барьер высоты. Через эту грань люди переступают трудно, многим это не доступно.

Летом 1974 года Янович покорил две семитысячные вершины — высшую точку СССР пик Коммунизма и пик Евгении Корженовской. А следующим летом, снова в команде Олега Капитанова, он становится серебряным призером первенства страны по альпинизму.

В 1976 году Яновичу присваивают звание мастера спорта СССР. Летом того же года, впервые в истории советского альпинизма, двойка Капитанов — Янович совершает восхождение высшей — шестой категории трудности, покорив стену Ягноба. Не обошлось на этой стене без приключений. Вот что рассказал мне Янович об этом восхождении: «Стена там монолитная. Крутизна 90—100 градусов. Зеркало, а не стена. Скальные крючья для страховки бить некуда. Без шлямбурных не обойтись. А у нас, как назло, сломался основной восьмимиллиметровый шлямбур. Остался запасной десятимиллиметровый, а крючья-то — восьмимиллиметровые. Висим мы с Олегом на веревке, плющим молотками консервные банки и наворачиваем на шлямбурные крючья полоски жести. Что оставалось делать? Крючья выдержали. Но психологическое напряжение не спадало до самой вершины».

В 1977 году, когда закончились основные скалолазные работы на Нуреке, Яновича снова потянуло посмотреть новые места, новых людей. «Романтики захотелось», как выразился он сам. И он уезжает на Север, на строительство Колымской ГЭС, где снова работает бригадиром скалолазов-монтажников. Но тоска по горам, по большому спорту не покидает его. И весной 1979 года Янович возвращается в Таджикистан, теперь уже на строительство новой — Рогунской ГЭС. Рогун — четвертая гидроэлектростанция в его биографии.

Летом 1979 года снова в команде, возглавляемой Олегом

Капитановым, покоряет памирский шеститысячник — пик Арнавад и получает за это восхождение бронзовую медаль чемпионата СССР по альпинизму.

Ядро рогунской бригады скалолазов составляют нурекчане. Работа та же, хотя условия Рогуна и отличаются от Нурека. Нурек расположен на высоте 700 метров над уровнем моря, Рогун — в два раза выше. Нурекская плотина, перекрывшая Вахш в самом узком месте Пулисангинского ущелья, пока что самая высокая в мире. Высота ее 300 метров. Рогунская будет еще выше — триста пятьдесят метров. В отличие от Нурека, трехсотметровый машинный зал ГЭС, высотой в шестьдесят метров, на Рогуне будет расположен в глубине скального массива.

Подобного сооружения мировая гидростроительная практика еще не знала. При строительстве Рогуна учтен нурекский опыт. Расчистку склонов ущелья здесь ведут не снизу, как в Нуреке, а сверху. Если нурекчан оборка ненадежных мест на бортах створа (это самое узкое место ущелья, которое и перекрывают плотиной) часто заставляла прерывать основные работы, то на Рогуне это уже не повторится.

— Что я могу рассказать о себе? — говорит Юра Янович. — Не умею я рассказывать, да и нечего особенно. Обычная биография. Обычная работа. Если хочешь, поговори с парнями из нашей бригады. Может, они расскажут лучше.

Я вхожу в общежитие, в комнату, где живут скалолазы-монтажники. Двое парней — невысокий крепыш Виктор Малюков и рослый, сухощавый, с бородкой флибустьера Константин Бойцов — заканчивают мыть пол. Я снимаю и ставлю на тряпку в угол резиновые сапоги, которые дали мне Яновичи. Небольшая прихожая напоминает склад альпинистского снаряжения — веревки, страховочные пояса, каски, ледорубы. Налево — аккуратная спальня. Мы проходим направо — в маленькую комнатку с большим столом, что-то вроде кают-компании. Чувствуется, что ребята обосновались здесь всерьез, обстоятельно. Они заваривают и разливают по стаканам таджикский кок-чай.

Оба они альпинисты-разрядники. Витя Малюков имеет в своем активе два семитысячника. Мы знакомы с ним с 1976 года. Я работал тогда инструктором в таджикском альплагере «Варзоб», а он стажировался на звание инструктора альпинизма. Разговор заходит о Яновиче, о работе, о восхождениях.

О Яновиче парни говорят очень охотно. Узнав, что я намереваюсь писать о нем, каждый хочет сказать что-то свое.

— Янович — звезда альпинизма. Но, когда находишься рядом, не ощущаешь этого. Скромен. Прост в обращении. Был бы

ты сам человек — щедро делится опытом. На тренировках отдает все, что может. У Яновича куча друзей. По работе он у нас опытнейший скалолаз-монтажник. Где сложней, где тяжелей — там Янович. И в альпинизме Юре нужно самое трудное, предельное. Мечтает о Гималаях, о самых высоких вершинах мира, — говорит более молодой Костя Бойцов.

Витя Малюков постарше. Он сдержан, на вид медлителен. На самом деле — сгусток темперамента. Молчит, но желваки на скулах гуляют. Есть в нем что-то от Нагульнова из «Поднятой целины».

— Сам я на Нурек попал в 1973 году,— говорит он,— с людьми схожусь трудно. Я прямолинеен, резок. Были у нас с Яновичем стычки. Но, когда в горах случилась беда с нашим другом, мы с Юрой познакомились по-настоящему. Стали близкими друзьями, родными людьми. При всей его силе, Янович в жизни мягок, беззащитен как ребенок. Не обидчив. Когда надо, сдержан. Не представляю, чтоб он мог кого-то ударить, обидеть, унизить. Джентльмен. За это его уважают. Юра — натура сильная. Соревнование у него в крови. Говорит: «Мне мало быть равным. В спорте хочу быть сильней других, потому и тренируюсь». Дух соперничества у него очень силен. Сам я такой же. На тренировках мы стараемся не бегать вместе.

Входит Павел Крылов, скалолаз-монтажник из этой же бригады. Он строен, легок — прирожденный скалолаз. Глаза темные, с затаенной усмешкой, густые черные брови.

— Он Юру знает давно, его земляк,— говорят ребята.

— Меня из Подольска в 1972 году перетянул на Нурек Янович. Он же вовлек меня в альпинизм и в скалолазание. В обиходе с ним легко. В спорте — сложнее. Там он фанат. Не жалеет ни себя, ни других. И в работе — заводной. Всегда впереди.

К разговору снова подключается Виктор Малюков:

— Для нас Янович — пример: смотри и делай, как он. На работе это мужик, для которого не существует «нельзя сделать», «не могу». Никогда не ищет путей отступления. Очень сильно у него чувство ответственности. Может работать за идею. Никогда не спорил с начальством из-за расценок, будучи нашим бригадиром в Нуреке. Как-то раз было, что мы взбунтовались, а он говорит: «Вы — рвачи. Забыли, что производство финансирует наши экспедиции. Долги надо отдавать. Мы — альпинисты и потому должны сделать». И сделали, конечно. Благодаря ему, очень спортивный дух царил у нас в секции.

Ребята вспомнили о том, как однажды ночью их вызвали на работу прямо со свадьбы Олега Капитанова. Надвигался паво-

док, который угрожал Нурекской плотине, самый большой паводок за одиннадцатилетний цикл. Необходимо было срочно закончить работы в катастрофическом тоннеле, предназначенном для перепуска излишков воды помимо плотины. И прямо из-за стола вся свадебная компания направилась к катастрофическому тоннелю — чистить дно портала. Успели.

Виктор Малюков, Павел Крылов, Юрий Янович и многие другие члены бригады скалолазов-монтажников Рогуна — нурекчане. Нурек стал вехой, этапом их жизни, их трудовой биографии. Нурек вырос вместе с ними. И парней этих связало братство, как связывало оно воинов-однополчан, а позже — целинников.

Ребята показали мне газету «Комсомолец Таджикистана» от 16 мая 1976 года. Вот что она сообщала в заметке «Бег по вертикали»: «И невооруженным глазом можно было определить, что душанбинцы — не соперники нурекчанам в скальной гонке, которая проводилась на отвесах у дороги к Байпазинскому гидроузлу. За три команды Нурека в первенстве ДСО «Таджикистан» выступили представители всех трех поколений скалолазов: от призеров первенства СССР до новичков-семиклассников... Юрий Янович, взбежавший на массив как кошка и спустившийся как птица... стал чемпионом».

Я вышел из общежития и зажмурился. Пока мы беседовали и гоняли чаи, прекратился снегопад, поднялся и уплыл туман. И открылись ослепительно белые горы, кольцом замкнувшиеся вокруг Сары-Булака. Яркое синее небо. Жгучее, яростное солнце. И тишина. Поразительная тишина, которую встречаешь только в горах.

И вдруг я позавидовал этим парням, которым не надо расставаться с горами. Профессиональные скалолазы, и отпуск проводящие в горах, — они прекрасно понимают, как нужна их профессия на уникальных высокогорных стройках. Не создано (да и вряд ли удастся создать ее) техники, способной в этих трудных условиях делать то, что делают они.

Работа скалолазов-монтажников стала не просто их делом, работой. Здесь произошло слияние двух начал — решение инженерно-технических задач с применением навыков скалолазания высокого класса. Одно невозможно без другого. Коллектив спортсменов-единомышленников. Здесь не только тяжелая физическая работа, но и духовная жизнь. Это люди особенного склада, рабочие нового типа.

Как гномы на ниточках, висят они на отвесной скале, по-муравьиному перетаскивают по склону стокилограммовые стойки для камнеловушек и при этом ощущают себя на восхождении.

Борьба с реальными трудностями. Жара так жара. Снег так снег. Ведь и на горе приходится сталкиваться с этим.

И, словно на трудном восхождении, появляется спортивная злость, упрямство: «Не свалюсь, докажу, что я сильней этой стены и этой жары». И силы новые появляются. Мобилизуются резервы человеческого организма. Чувство это надо однажды испытать самому. Объяснить его так же трудно, как объяснить — для чего люди ходят по горам? Что их там прельщает? Чего ради они рискуют, терпят жестокие испытания? Почему в разлуке с горами видят их во сне?

До свиданья, Рогун! До свиданья, Юра! До встречи в горах!

Надеюсь, что в числе советских альпинистов, которые в 1982 году выйдут на штурм высотного полюса земли — Джомолунгмы, будешь и ты.

ТАТЬЯНА БУТОВСКАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК И ДРУГИЕ ДНИ НЕДЕЛИ

ИСПЫТАНИЕ «ПОНЕДЕЛЬНИКОМ»

Понедельник для большинства человечества — тяжелый день, даже если заранее вдохновишься идеей начать с него новую жизнь. И утро в понедельник кажется каким-то особенно зябким и неуютным, так что вылезать из-под одеяла мучительно не хочется, и в автобусе народу больше, чем обычно, и работать не работается, и думать не думается, и нет сил переключиться с воскресного безделья на будничные заботы.

Николай Николаевич Тиходеев психологических трудностей, связанных с испытанием «понедельником», не переживал: его субботы и воскресенья были похожи на понедельники, вторники и другие дни недели, хотя по выходным он в лабораторию не ходил, а работал дома. Иногда, правда, жене удавалось увезти его на дачу, где, по идее, он должен был «отдыхать от умственного труда, занимаясь физическим». На деле же, вяло копаясь в огороде, Николай Николаевич мучился ужасно, тоскуя без своего кабинета, своих книг, бумаг и дел, оставленных в Ленинграде. Отдыхать толком он вообще не умел. Выкраивал для работы любой свободный часок, не пренебрегая даже минутами в ожидании ужина, пока грелся на кухне чайник.

— Что ж это ты, и на работе работаешь, и дома работаешь, поберег бы себя, — говорила мать, заглядывая в кабинет сына.

— Это, мама, я отдыхаю от дневной нервотрепки.

— Сидишь за чистым столом, ни книг, ни справочников нет... Из головы, что ли, все пишешь? — не успокаивалась Екатерина Петровна.

— Хороший бы я был ученый, если б ничего не мог написать из головы, — посмеивался Николай Николаевич.

Домашние к такому режиму главы семейства постепенно привыкли, смирились и старались его не нарушать. Единственное время, когда ему категорически запрещалось работать — отпуск. Он уезжал с женой и сыном путешествовать, отсыпался наконец за весь прошлый и будущий год, читал беллетристику, ходил в кино и позволял себе ни о чем не думать.

В понедельник Николай Николаевич вышел из дому в начале девятого, как обычно. Общественного транспорта он не любил и предпочитал ходить на работу пешком, благо от дома на проспекте Энгельса до лаборатории на Науке по нынешним понятиям — рукой подать. Схема обычного маршрута напоминала треугольник: дом, лаборатория и Политехнический институт, где Тиходеев читал лекции. Хорошо бы, конечно, побродить как-нибудь по Университетской набережной или по Петроградской стороне, и чтоб спокойно, не спеша, без цели, но времени не хватало и приходилось отодвигать идиллическую прогулку в необозримое будущее. «Чем дольше живешь, тем более безнадежным становится цейтнот», — размышлял Николай Николаевич, с удовольствием вдыхая холодный воздух утра. В голову пришла распространенная шутка: «Хочешь, чтоб сутки были на час длиннее, вставай на час раньше». В этом смысле Любищев был человеком уникальным, гением целесообразности!

Ученый-биолог А. А. Любищев служил для Николая Николаевича примером организации времени и научной работы. Этот человек успел сделать невероятно много для простого смертного путем буквально бухгалтерского, поминутного учета и контроля времени. Когда в его кабинет заходили жена или сын, то в гроссбухе Любищева тотчас появлялась запись: «Разговор с сыном — 6 мин.» У Тиходеева так не получалось.

Подходя к институту, Николай Николаевич перебрал в памяти, что нужно сделать за неделю. С неудовольствием вспомнил, что на вторник назначена встреча с корреспондентом из газеты. К газетчикам и киношникам, атакующим его в последнее время, он относился с прохладцей и довольно скептически — не мог простить случаев небрежного отношения к технической терминологии. К тому же два часа изнурительных бесед сейчас, когда работы по горло, — роскошь непозволительная.

В лаборатории техники высоких напряжений и вправду было горячее время. Недавно закончились испытания новых ограничителей перенапряжения для Саяно-Шушенской ГЭС. Последние месяцы только и разговоров было, что об этих ограничителях. Аппараты новые, нигде раньше не применявшиеся, характери-

стики необычные, параметры необычные... Дело захватило. На работе выкладывались полностью. Да и сроки поджимали, проектировщики нервничали, торопили. Тиходеев метался между «Гидропроектом» и лабораторией, проявляя чудеса оперативности, охрип от нескончаемых споров и обсуждений.

Проектирование гидроэлектростанции вылилось в целую эпопею. Долго не удавалось проектировщикам разместить громоздкую подстанцию, распределяющую энергию от генераторов, в долине Карлова створа, где намечалось строительство плотины. Предложили вырубить большой кусок скалы, но это было и дорого, и трудоемко. Пробовали отнести подстанцию на несколько километров от плотины, но такая удаленность привела бы к очень тяжелым условиям работы уникальных генераторов. Хотели сделать подстанцию в виде многоярусных компоновок. Оказалось — слишком сложно. Вот тогда-то и обратились за помощью в Ленинградский институт постоянного тока. С этого момента лаборатория Н. Н. Тиходеева включилась в творческое содружество ленинградских организаций, работающих над созданием энергогиганта. (Содружество это получило впоследствии название «Договор двадцати восьми».)

В лаборатории предложили решение неожиданное и оригинальное: использовать ограничители перенапряжений нового типа вместо обычных разрядников. За счет этих аппаратов, у которых отпадала надобность в искровых промежутках, можно было значительно уменьшить расстояние между проводами линий, а значит, и сократить габариты самой подстанции.

Идея была блестящей. Если бы не Саяно-Шушенская ГЭС, то, вероятно, путь от ее рождения до внедрения был бы долог и тернист, как это часто бывает с научно-техническими новинками. Сейчас же в ее реализации были заинтересованы не только создатели. Проектировщики ГЭС хотели, чтобы их детище было выполнено на основе самых последних достижений техники. Тиходеев давно мечтал именно о таком деле — до зарезу нужном, до предела новом.

Теперь, когда испытания ограничителей закончились, все зависело от результатов. Их ждали со дня на день. То, что габариты подстанции удастся сократить, было очевидно сразу, но вот на сколько?

Ровно в 8.45 Николай Николаевич Тиходеев вошел в свой кабинет. Снял пальто, аккуратно повесил его на распялку и потянулся к телефонной трубке.

Дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял один из сотрудников.

— Николай Николаевич, я к вам с результатами испытаний.

— А я вам только что собрался звонить по этому поводу, — сказал Тиходеев, немного волнуясь. — Что скажете?

— Получилось, значит, что габариты подстанции сократятся с 350 метров до 115, и вся она ляжет в долину Карлова створа без единой скальной вырубки.

Сотрудник затих, выжидательно глядя на завлаба и прижимая к груди папку с результатами.

— Та-а-а-к,— медленно протянул Тиходеев, сдерживая желание по-детски глупо и счастливо засмеяться. — Ну, давайте смотреть.

Неделя начиналась удачно.

«ЗДЕСЬ ХОДЯТ ЛЬВЫ!»

Новое здание Ленинградского института постоянного тока, в котором разместилась лаборатория члена-корреспондента Академии наук СССР Н. Н. Тиходеева, — замысловатая современная конструкция из светлого камня. За ней куда-то в поле, где еще недавно были огороды, уходит площадка для натурных испытаний: разрывающие небесную твердь опоры линий электропередачи, гигантские металлические порталы, гирлянды изоляторов, опутанных проводами... Застывшая громада металла подавляет неестественной мощью и отчужденным величием.

Во время экспериментов испытательная площадка безлюдна (ходом эксперимента управляет автоматика). За стеклянной стеной пульта управления вся лаборатория как на ладони, и зрелище ослепительной искры длиною в несколько метров особенно эффектно.

Журналистам и посетителям лаборатории, желающим познакомиться с ней поближе, — взглянуть, к примеру, на уникальный генератор импульсных напряжений высотою с многоэтажный дом, — предлагают надеть каску, страховочный пояс и... белые тапочки. Белые диэлектрические тапочки и неприятные ассоциации, с ними связанные, приводят неискушенных в технике людей в некоторое замешательство. Это и понятно: они смутили бы кого угодно, окажись он на испытательной площадке лаборатории, где на каждом столбе висят таблички со зловещим изображением черепа и костей. И только служители этого сурового храма техники, ежедневно имеющие дело с миллионами киловольт, чувствуют себя свободно и легко.

Корреспондент газеты, все еще находящийся под впечатлением фантастического зрелища испытаний, теперь стучался в безликую серую дверь под номером двадцать восемь.

— Ну вот, кажется и пресса, — без энтузиазма сказал Тиходеев, поднимаясь навстречу журналисту.

Журналист огляделся. Маленький кабинет. Стол, пара стульев, кресло... Ни обширной приемной, где посетители терпеливо дожидаются своей очереди, ни бойкой секретарши, отвечающей на телефонные звонки. Все очень скромно. Пожалуй, даже слишком.

Тиходеев рисует на листке сечение расщепленных проводов, эскизы изоляторов, графики зависимости тока от напряжения. Рассказывая, он увлекается, отчасти забывая о собеседнике и переходя на специальную терминологию. Сказывается привычка говорить о работе на профессиональном уровне. Корреспондент с трудом управляется с лавиной обрушившейся на него информации.

— ...Так что с тех пор, как Доливо-Добровольский 85 лет назад построил первую линию электропередачи на шесть киловольт, принцип передачи энергии не изменился. Электричество, по-прежнему, — самый гибкий вид энергии, и воздушным линиям электропередачи еще долго придется служить человечеству. Изменились, конечно, масштабы, конструктивное исполнение, напряжения... Не так давно мы могли лишь мечтать о линиях на 750 киловольт, а сегодня проектируем на 1150!

Корреспондент слушал и пытался представить выражение лица завлаба, когда тот гладит кошку за ухом или разговаривает с маленьким ребенком. Великий соблазн — увидеть очень серьезного собеседника в несерьезной ситуации. Иной раз это помогает понять, что перед тобой — живой человек, а не только «функционер».

«Ему пятьдесят с небольшим, — записывал в блокнот журналист, — он моложавый, довольно высокий, крепкого сложения. Энергичный и сдержанный. Вежлив, но, пожалуй, суховат немного».

— ...Однако предел увеличения напряжения существует. Во всяком случае, на сегодняшний день. Вот взгляните.

Тиходеев снял очки и подошел к окну. На фоне вечереющего неба вырисовывалась ажурная металлическая конструкция, похожая на рюмку. Длинная, высотою, наверное, с небоскреб «ножка», на которой укреплен гигантский полуовал.

— Это опора линии 1150 киловольт. На ней пару лет назад мы проводили испытания совместно с американскими учеными. Такой же макет есть у них в Питсфилде. Впечатляюще, правда? Можете себе представить габариты линий более высоких классов напряжений? И все же я думаю, нам удастся найти технические средства для создания линий даже 1500 киловольт, а вот даль-

*

ше... дальше «ходят львы», как весьма образно выразился по этому поводу один итальянский ученый. Он разделил шкалу напряжений в точке 1500 киловольт на две области: левую — для реальных, а правую — для пока недоступных напряжений, и написал на поле правой области по-латыни: «Здесь ходят львы», тем самым подчеркнув, что правая область еще весьма мало изучена и является пустыней, которая либо останется мертвой, либо будет плодоносить, если появятся новые идеи.

— А нужно ли вообще увеличивать напряжение до таких астрономических величин?

— Ну, конечно, нужно, это же очевидно. — Тиходеев вздохнул: все-таки трудно разговаривать с людьми, которых подозреваешь в незнании закона Ома. — Особенно для передачи больших мощностей на большие расстояния. И потери, и затраты на алюминий для проводов в линиях низкого напряжения всегда больше, а кпд меньше.

И Николай Николаевич снова принялся писать формулы, втолковывая журналисту принципы электроэнергетики.

«Популяризатор из него скверный», — сделал еще одну запись в блокноте ошалевший от формул журналист.

— Ну, а кроме техники, Николай Николаевич, есть у вас какие-нибудь увлечения? — спросил он, осторожно запуская щупальцы в личную жизнь.

— Знаете, на остальное времени почти не остается, — сухо сказал Тиходеев, — работа поглощает все.

Вопросы личного характера Николая Николаевича и раздражали, и смущали. Он не понимал — что нужно на них отвечать? Что он любит книги, органную музыку и футбол? Что у него жена, сын-студент и старенькая мама, к которым он очень привязан? Но ведь нелепо, неудобно о таком говорить! Да и зачем? Он подозревал, что от него хотят фальшивого намека на «гармонию» (ученый — книголюб, меломан, театрал, и т. п.), и это было неприятно.

«„Технарь-сухарь“, — досадливо срифмовал журналист, выходя из института, и рифма показалась ему удачной. — Вот ведь как умудрялся любой вопрос, относящийся к нему лично, свернуть в русло энергетических проблем. Неужели техника — единственная точка соприкосновения его с миром? Неужели же увлеченность и талант покупаются такой дорогой ценой? Впрочем, чужая душа — потемки. Вот где следовало бы повесить табличку „Здесь ходят львы!“».

И, зябко поеживаясь от осеннего ветра, журналист отправился в редакцию писать статью о Тиходееве.

ДОРОГА, УСЫПАННАЯ ЛЕПЕСТКАМИ ЯБЛОНИ

Когда ученик первого класса Николай Тиходеев авторитетно заявил родителям, что станет непременно доктором наук, в доме добродушно посмеивались. Екатерина Петровна, немного обеспокоенная ранним честолюбием сына, приговаривала: «Как знать, что будет, что ты можешь, на что способен. Нельзя загадывать на будущее. Да и жизнь складывается по-всякому». Но устами младенца, должно быть, говорила истина. Прогнозы малолетнего сына оправдались: в 37 лет он стал доктором, а в 50 — членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Великий дар — уверенность в своих силах, а для людей талантливых просто необходимый. Потенциальных талантов — много, состоявшихся — единицы. Тиходееву в этом смысле повезло, хотя трудно назвать везением то, что досталось адским трудом, отказом себе в желаниях, настроениях, удовольствиях. Манна с небес на него не сыпалась, на удачу и приливы вдохновения он не уповал, и все, что делал, — делал, скорее, вопреки действительности, чем благодаря ей.

Когда в 44-ом году, после эвакуации, проведенной в небольшом сибирском городке, семья Тиходеевых перебралась в Полтаву, шансов на то, что сын закончит даже среднюю школу, было мало. (Много лет спустя, став уже известным ученым, Николай Николаевич приедет в родные места, чтоб взглянуть на тот дом в Бугульме, где по ночам он мечтал о кусочке теплого хлеба и вареной картофелине.)

В Полтаве его устроили работать на завод, помощником электромонтера. Школу пришлось оставить. Вероятно, именно тогда, пусть в грубом приближении, работа, связанная с передачей электроэнергии, перестала быть абстракцией, обозначилась как дело вполне конкретное. Ночами он занимался, штудировал школьные учебники, иногда так и засыпая над ними до утра. Мать поражалась его фантастическому упорству и работоспособности. Это было странно даже для их семьи, где все привыкли трудиться. Никто не думал в то время о блестящем будущем сына, никто не заставлял его учиться. Все силы были направлены на то, чтоб прокормиться и выжить, как-нибудь выжить.

Война кончилась, когда цвели яблони. Белые душистые лепестки кружились по городу и залетали в распахнувшиеся окна. Люди смеялись и смотрели в чистое майское небо. Тем летом он сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости. Впереди была жизнь, свободная от страха и голода, — долгий и сладостный

путь, усыпанный лепестками яблони. Он собирался ехать в Ленинград, поступать в Политехнический институт.

У Николая Николаевича иногда спрашивают, почему он выбрал именно электроэнергетику, а не машиностроение, к примеру, или прикладную химию. Он полушутливо ссылается на генетическую предрасположенность. Нет, родители его никакого отношения к электроэнергетике не имели. Отец по образованию юрист, мать работала экономистом. Зато оба брата отца закончили Политехнический институт, занимались наукой. К тому же тогда, сразу после войны, электроэнергетика была проблемой насущной.

Против поездки сына в Ленинград родители выдвинули вполне резонные возражения: поступить в то время в институт было трудно и даже в случае удачи поддержать его материально у них особой возможности не было. Но, обычно послушный и мягкий, он отстаивал свои позиции с упорством одержимого. Готов был работать дворником, мыть полы, но только заниматься тем, что казалось теперь смыслом жизни и целью. Никакая сила не могла его заставить отречься от планов на будущее. Если надо отказаться от удовольствий, он от них откажется ради того, единственного... Природа человеческая охотно ставит подножки на пути к цели. Вся жизнь — соблазн до той поры, пока время не отщипнет год за годом лучшую ее часть. И тогда немощная старость высохшей рукой капнет на кусочек сахара валидол, обернется на прорву бессмысленных лет, проведенных в праздности, в мелочных заботах, в изнурительной борьбе за благополучие и придет к выводу, что жизнь — это кладбище неиспользованных возможностей. Нет, только не так!

Он поступил в институт. И закончил его с отличием. Потом была аспирантура, кандидатская диссертация и распределение в Ленинградский институт постоянного тока.

К тому времени Тиходеев уже чувствовал за собой зрелую силу, знал, что многое может, и признавался в этом без всякого кокетства. Роль чиновника, среднего профессионала, вяло и честно выполняющего свои обязанности, его не устраивала. Он не думал о престиже, о лаврах, о славе, мировой известности. Это лишь внешние атрибуты таланта. Но если быть специалистом, то первоклассным. Если делать дело, то только на самом высоком уровне. Если говорить слово, то свое. И, увидев плоды трудов своих, сказать себе: «Смотри, это ты сделал, и это хорошо. Значит, все не зря. Но то, что достигнуто, уже прошлое. Ты должен лучше». И работать снова, работать до темноты в глазах. Что-то в этом случае пройдет мимо, останется неувиденным, неузнан-

ным. Но искупление — в работе. И утешение. И смысл. И точка опоры.

Через несколько лет Тиходеев стал заведующим лабораторией. Теперь у него было свое дело, свой «кусок», обширная возможность творить, созидать, экспериментировать. Те методы и принципы, которые новый завлаб заложил в основу работы лаборатории, определили и ее индивидуальность, сделали не похожей на десятки других. Установка была примерно такой: заниматься самым нужным и перспективным; фундаментальные исследования сочетать с прикладными (никакой «чистой» науки, оторванной от жизни!); определить место каждого сотрудника в общем деле; создать коллектив единомышленников (ибо электроэнергетика наука коллективная по своей сути и одиночка в ней бессилен!); поощрять технический риск и стремление найти нетрадиционный ракурс в решении проблем; расценивать оперативность и динамичность единственно верными методами работы.

«Фигурально выражаясь, шаблонное мышление — это углубление одной и той же ямы, — писал в своей книге «Рождение новой идеи» Эдвард де Боно, — не шаблонное — это попытка копать где-то в другом месте». Ученому надо обладать изрядным мужеством, смелостью и самостоятельностью, чтобы не копать облюбованную «яму», которую копают все, а начать другую, которую, возможно, не копал никто. Тем более, что речь идет не об ученом-одиночке, а о коллективе в сто двадцать человек. Достоинства нового обладают опасным свойством — они видны сразу. Недостатки, увы, обнаруживаются значительно позднее. Истинный талант — это чувство меры. Тиходеев умудрялся всегда найти оптимальное соотношение между «до зубов вооруженным опытом» и заманчивой дерзостью новой технической идеи. Поэтому все проекты, которые делали в лаборатории, даже самые смелые из них — линии ультравысокого напряжения, ограничители перенапряжений нового типа — оказывались не только жизнеспособными, но и имели колоссальное будущее.

Сотрудники определяли свою лабораторию как демократическую. (В кабинет завлаба был вхож всякий, кто имел свои соображения, свою точку зрения на решение той или иной проблемы. Таких людей Тиходеев уважал и всегда брал под свою защиту.) Среди электроэнергетиков за лабораторией закрепилась репутация «законодательницы мод». Сюда приезжали специалисты из Европы, Америки, Японии. Она приобрела мировую известность, Тиходеев — мировое имя.

Николай Николаевич выбрал в своей жизни трудный путь. Прибегая к понятиям электротехники, его можно было бы назвать путем наибольшего сопротивления. На проторенной дороге — и

спокойнее, и легче, и ответственность — посильна, и риск — минимален. Независимость мысли — бремя, которое может выдержать не каждый даже очень одаренный человек. Он нес свою тяжкую ношу, иногда пригибаясь от ее груза, иногда спотыкаясь и падая, иногда смертельно уставая, но никогда не отпуская, не останавливаясь, не позволяя расслабиться.

И путь свой почитал истинным!

ЧЕТЫРЕ ПЯТЫХ

Мир науки. Мир техники. Обособленный и самостоятельный. Труднодоступный и малопонятный людям, не имеющим к нему отношения. Он представляется грандиозным вместилищем человеческих мыслей, плодом талантливых умов, но в гораздо меньшей степени — сердец, душ. Это творчество, но творчество разума, а разум, как известно, безэмоционален. Строгость и предметность мышления, жесткая неукоснительность логики накладывают на людей науки печать суховатой сдержанности, не свойственной традиционным представлениям о творцах с их «бесплановостью чувств и косматыми страданиями» (Г. М. Козинцев). Может быть, именно в силу этого отличия о «технарях» бытует мнение как о людях сухих, эмоционально ущербных.

Хемингуэй говорил, что человек — это айсберг: одна пятая его на поверхности, четыре пятых — скрыты под водой. Тайна этих четырех пятых — самая мучительная, самая притягательная и непостижимая из всех тайн. Но если все-таки сделать попытку прорваться туда, вглубь, в сокровенные тайники человеческого «я», сквозь пелену внешней сдержанности и обыденности? Подсмотреть, подслушать, прочувствовать, понять?

Мой герой никому и никогда не пытался объяснить, что для него значит наука, техника. Его близкий друг, коллега и соавтор многих книг, С. С. Шур, называет Тиходеева фанатиком науки, каким и «должен быть настоящий ученый». И наука, и техника для него не просто часть жизни, пусть даже очень значительной, скорее это была сама жизнь, с заложенной в ней в полном объеме эмоциональной и умственной составляющими; не предмет деятельности, а способ выражения, может быть, очень условный, символический и странный для несведущих, но глубоко понятный ему и его коллегам.

Отношения ученого с техникой складывались неоднозначно, трудно складывались. Она представлялась вполне реальным живым существом — как правило, строптивым и упрямым, реже — гибким и отзывчивым, но главное — бесконечно дорогим и люби-

мым. Она причиняла массу страданий и доставляла массу радостей. Она капризничала, устраивала истерики, обманывала, подличала, мстила. Бывала неприступной, как скала, безобразной до отвратительности тупой железной силой. Доводила до отчаяния, до бешенства, до ненависти, выматывала душу и нервы, чтобы однажды сдаться под упрямым напором своих создателей, стать покорной и мудрой. И тогда наступал праздник. Короткая передышка. Прилив благодарности и блаженства. Период нежности и взаимопонимания, дружбы и сотрудничества. А потом — снова ожесточенная борьба со вспышками вдохновения и упадка, но уже на другом уровне — ступенькой выше. И не было радости острее и больнее. И не было муки слаще, а блаженства горше.

Знаменитые в свое время споры физиков и лириков нет-нет да и вспыхивают с новой силой (странное противоречие науки и искусства, технарей и гуманитаров!). Как-то довелось мне присутствовать при таком шумном споре. Говорили много, запальчиво. Обвиняли одних в духовном оскудении, других — в беспредметности мышления. Разумеется, никто никого ни в чем не убедил. Во всей этой словесной баталии запомнились мне слова одного молодого и, как говорили, очень одаренного инженера и ученого. «Если бы я мог объяснить тем, кто считает технарей чем-то вроде сушеного чернослива, какой эмоциональный пласт заложен в технике для человека ею увлеченного, какое ощущение движения и полноты жизни приносит наука, как духовен этот мир! Столько страстей выпадает на долю ученого — дай бог каждому».

Творчество — всегда драма. Техническое или художественное — безразлично. Внутренняя аналогия при внешнем несходстве очевидна. Художник выражает свой внутренний мир образами, освобождаясь от груза собственного «я». Его произведения общедоступны, потому что общечеловечны. Драма технического творчества усугубляется самой его природой, той самой малопонятностью и труднодоступностью. Ученый, инженер оставляет лишь продукт умственной деятельности, ценность которого определяется категориями нужности, полезности. Все «косматые страдания», вложенные в его творение, остаются тайной за семью печатями, теми сокровенными четырьмя пятыми, которые лежат вне предела видимости и о которых никто никому не рассказывает.

В понедельник, как обычно в начале девятого, Николай Николаевич Тиходеев вышел из дому. На улице одуряюще пахло весной. В стоячей голубизне луж отражались темные ветки де-

ревьев. Солнце стекало с сосулек тяжелыми сияющими каплями.

Николай Николаевич шел на работу со странным чувством освобождения, радости — и пустоты. Освобождения — потому, что в лаборатории наконец закончили новую разработку, и эта разработка решила отчасти судьбу уникальной Саяно-Шушенской ГЭС; радости — потому, что новые ограничители оказались и новым словом в технике (проект выдвинули на соискание Государственной премии, Тиходеева наградили орденом «Знак Почета»); пустоты... пустоты — потому, что все это кончилось. Отошел в прошлое еще один значительный кусок жизни.

Вчера дома устроили маленькое торжество по этому поводу. Собрались самые близкие друзья, в основном такие же одержимые наукой люди, как и сам Тиходеев. После первых тостов, поздравлений разговор как-то сам собой перескочил на электроэнергетику, и жены тщетно пытались вернуть его в русло общежитейских проблем. Мысль упорно, в тысячный раз возвращалась к проекту, к их общему детищу, как будто была к нему прикована. Весь внутренний строй и ритм был еще подчинен заботам этого тяжкого и счастливого времени, плотно напрессованного работой. У Николая Николаевича было ощущение, что в его жизни произошло событие, и теперь, когда все позади — стало сиротливо. Вчера вечером, оставшись один, он почувствовал эту опустошенность.

Тиходеев ускорил шаги и заставил себя перестроиться на привычное рабочее состояние. В лаборатории его ждали новые дела, новые темы, новые проекты. Надо смотреть вперед. А пока что впереди — рабочая неделя. Всего лишь семь коротеньких дней, за которые надо столько успеть.

БРАТСТВО

В этой рубрике представлены молодые поэты Дрездена — города-побратима Ленинграда. Появление новых имен наших немецких друзей на страницах альманаха стало уже доброй традицией. Переводы выполнены молодыми ленинградцами: Осипом Спасовым — стихотворений Манфреда Штройбеля, Владимиром Фадеевым — стихотворений Готфрида Юргаса, Каритаса Беттриха и Инге Хандшпк.

МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ

СЦЕНА ДИКОСТИ

Развалины. Река из слез и крови.
Гора волос...
Весь этот ужас выразишь ли в слове.
О, сколько боли страшный век принес!

Ребячьи башмачки. Очки ученых.
Какая тяжесть! Тяжело дышать.
Забудьте свет ромашек золоченых.
Здесь — боль в глазах детишек обреченных.

И снег. И горизонта не видать:
стена чернеет, вся от пуль щербата.
Чернеет печь. Шуршание золы.
Последний взгляд сквозь камни каземата.
Как монумент. Как вечная расплата.
Мильоны жертв. Трагедия земли.
Вот инструменты — пыток диадема.
Ворота смерти на ветру скрипят.
Они вещают всем, хотя и немы,
как победил я варварство и феме *,
я — человек — встал с человеком в ряд.

Но бывших тюрем серые анналы —
тяжелый груз.
Здесь вешали. И здесь маршировали
в жестоком и безмозглом ритуале
с арийским «гот мит унс» **.
Убит. Замучен. Выброшен собакам.
Дым на ветру... Но воскресает вновь
кровинкой каждою и каждым знаком
в сынах своих, в сынах своих сынов —
погибший человек. И снова в красках
сверкающих земля — салют любви!
И жаворонки гнезда свили в касках,
и жажда счастья — жажда всех несчастных —
гудит в моей крови.

РЕЗНЯ

Стихотворение написано по мотивам творчества немецкого поэта начала века Георга Хейма, предсказавшего и описавшего в своих стихах фашизм.

Они своих забыли матерей,
едва вспорхнув с филистерских оконцев.
Вспороли плавниками гладь морей.
Закрыли небо — орды дикарей.
И, злобно воя, погасили солнце.

Жечь города — им по сердцу приказ,
они вонзили зубы в горла храмов.

---

* Феме — средневековый суд в Германии.
** «Гот мит унс» — с нами бог (нем.).

Творенья истерзав, войдя в экстаз,
лакали горе из прекрасных глаз
с усердием в броню одетых хамов.

Истошным криком воздух искромсав
сраженных ими птиц голубокрылых,
зеленые дубравы растоптав,
они лежат, от бешенства устав,
на трупах городов, словно в могилах.

Убили женщин. Сеют грабежи.
Детей головки нижут в ожерелья.
И даже тех, кто стал подобен вши,
проткнули их блестящие ножи,
клевреты черной славы и веселья.

О матери, родившие убийц,
на гибнущей земле вы так нелепы.
Кричите же сынов! Падите ниц!
Сдерите в скорби кожу с белых лиц!
Возьмите ваших гадов. В ваши склепы.

ОТЕЦ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 1933 ГОД

Очень стройный, в бородке бравада —
учитель начальных наук,
сидит он, пастух, среди стада
(они копошатся вокруг
с невинностью лиц — лицедейство),
любовью глаза осветив,
отец мой, открытый и честный,
спокойно глядит в объектив.

Рисунков смешных налепили
на стену... Юлить не привык,
он знает, что к общей могиле
лежит его путь напрямик.

К чему тогда доблесть и рвенье?
Но суть — не геройство, а прок, —
чтоб в людях цвело среди скверны
волшебное слово: добро!

Труда не жалел и таланта.
О, стадо смиренных овец, —
фюреру и фатерланду
иудами выдан отец:

пьянила их кровь, как сивуха,
царили холуй и подлец.
Каменьев бы в хищное брюхо!
...Спастись еще можно, отец.
...Спасение: гордость и милость...
А паства, доселе тиха,
уж в свору собак превратилась.
И завтра порвет пастуха.

МАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Я тот, кто мощных мышц шары
трудил для дела, други!
Лицо сурово от жары.
В муке обмякли руки.

Я тот, кто ржой дышал вчера.
Я — в праздничных колоннах —
танцую и ору «ура!»
на улицах знаменных.

А вечер — янтарное пиво, шурша,
шершавое горло остудит,
и зеленеть моя душа
под этим небом будет.

ГОТФРИД ЮРГАС

МОЙ ГОРОД

Мой город, как знаком на бархате холмов
прямоугольный шрифт твоих живых кварталов —

разновеликие вокабулы домов
и восклицательные знаки кранов.

И тополям весенним невдомек,
что трауром клубился старый Дрезден,
что из могилы твой взошел росток,
что до сих пор тебя рифмуют с бездной.

Казалось, ты дотла войной сожжен,
твоей судьбы разваливались звенья,
как будто выброшен за грань времен,
захоронен в архив забвенья.

Но ты вернулся выходцем из тьмы,
узнав себя над Эльбой светлоокой,
разбил свои фонтанные сады,
расправил лепестки барокко.

Я полюбил в тебе игру веков,
твоих картин загадочные лица,
стальные мускулы сверкающих домов
и газосварки синие зарницы.

Твоим самосозданьем увлечен,
я постигаю смысл своей природы.
Пусть будет и мое плечо
держать тобой задуманные своды.

КАРИТАС БЁТТРИХ

ЧЬЯ-ТО СТАРАЯ МАТЬ

На мосту, прислонившись к перилам,
вечерами стояла без сил,
а вокруг нее время парило,
у которого нет перил.

Мертвый посох и рук перекрестье
сплетены деревянным узлом,
и улыбка уже не воскреснет
на лице ни добром, ни злом.

Слоились тумана волокна,
все больше тускнел ее взгляд.
Так смотрят осенние окна
на исчезающий сад.

Но иногда она, вздрогнув,
впивалась глазами во тьму,
как будто искала дорогу
к забытому очагу.

Я больше ее не встречаю,
как несколько дней назад,
а может, не замечаю —
такой на дворе снегопад.

ИНГЕ ХАНДШИК

КРАНОВЩИЦА ПЕРЕД НОЧНОЙ СМЕНОЙ

Ветер уходит походкой летучей,
с нами прощается вздохами крыш.
Скоро на стройке прожекторы включат.
Спи, не тревожься, мой милый малыш.
Мне в ночь на работу. Там ждут меня, детка.
А за тобою присмотрит соседка.
Командует стройкой рука великана.
Я двигаю глыбы усильем руки,
в ней сходятся жилы подъемного крана,
ей дом из бетона — что кекс из муки.
А утром, малыш, ты сквозь сон голубой
услышишь, как я возвращаюсь домой.

АЛЕКСАНДР ЧЕПУРОВ

ДУХОВНЫЙ ПОИСК

Театральное прочтение прозы Федора Абрамова

Постановки прозаических произведений Федора Абрамова на сцене занимали в 1970-е годы видное место в общем движении нашего искусства. Каждое обращение театра к повестям или романам этого писателя было сопряжено с постижением образов и проблем большой социальной и художественной значимости. Их театральная интерпретация требовала от деятелей театра гражданской смелости, художественной страстности, поисков новых форм сценической выразительности.

Особой, неожиданной гранью повернулись произведения Федора Абрамова для молодежи как творческой, так и зрительской, открыв глубокий духовный поиск современного человека, стремящегося обрести жизненные основы душевной гармонии.

С годами мы становимся требовательней к своей жизни, все отчетливее понимаем природу человеческих отношений. Вглядываемся в окружающих нас людей, в повседневность — и видим, сколько еще дикого, нелепого в душах многих, в нас самих. Открывать пути к самосовершенствованию и учиться строить свою жизнь — главная забота молодых. Юности свойственно искать ответы на многие сложные вопросы, которые ставит современность, в опыте старших поколений. Вполне закономерно и обращение к творчеству Федора Абрамова.

Почти легендарной стала уже история постановки спектакля «Братья и сестры» на сцене Учебного театра Ленинградского театрального института в 1978 году. Значительной была подготовительная духовная работа студентов-выпускников факультета драматического искусства, отправившихся на родину Абрамова в Архангелогородчину, на Пинежье, на землю героев его книг, к истокам самобытного таланта писателя. Эта история не была бы интересна сама по себе, если бы не смогли молодые артисты с поразительной искренностью и самоотдачей передать то жизненное богатство, которое посчастливилось им обрести на пороге своей художнической судьбы. Спектакль «Братья и сестры» был знаменателен для времени, когда высокая духовная культура и, если хотите, воспитанность, ощущение корневой связи с историей своего народа, со всем опытом предыдущих поколений стало для современной молодежи органической потребностью.

Молодежь приходит к Абрамову, в его произведениях черпает источник жизненного вдохновения. Значит, сумел писатель чутко отозваться на насущные проблемы нашего бытия, найти пути к духовному становлению человека.

Изучение композиций, созданных по прозаическим произведениям Ф. Абрамова, позволяет проследить путь освоения театром круга идей, выдвинутых в нашей литературе последнего десятилетия.

В столь горячем нынче споре о путях перевода прозаических произведений на язык сцены важно отчетливо сознавать, что театр неизбежно перестраивает инсценируемые рассказы, повести, романы, с особой очевидностью обнажая в них действенный смысл, с особой эмоциональной силой выявляя диалектику их внутреннего драматического развития.

Иными словами, произведение любого жанра, будучи перенесенным на сцену театра, начинает рассматриваться и восприниматься в «драматическом» аспекте. Всю широту охвата действительности, свойственную произведениям повествовательного жанра, театр обращает на человека, на исследование его поступков, переживаний, на открытие его внутреннего мира, его духовных исканий, на драматичнейший путь познания истины. И наверное, именно в этом явлении видится особый актуальный смысл настойчивого обращения театров к прозе в минувшие семидесятые годы. Об этой-то драме, которую театры обнаруживали в произведениях Абрамова, мы и хотим поговорить с читателем.

Современный драматизм — явление особое. Открывается он в глубоком духовном поиске современного человека в области мировоззренческой. И вместе с тем он не является привилегией

людей исключительных. Скорее наоборот, вся суть этого современного драматизма как раз и состоит в том, что он захватывает широкие массы самых простых, обыкновенных людей, вызывает настоятельную жизненную потребность одухотворения нашего быта, труда, ощущения нашей повседневной жизни как бытия.

Не это ли сделало произведения В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова столь созвучными современности, не это ли выдвинуло так называемую «деревенскую» прозу с ее поисками вечных основ жизни на магистральную линию нашей литературы? Не эти ли запросы времени сделали столь значимым и творчество Федора Абрамова?..

Действительно, семидесятые годы были для нашей литературы и искусства временем огромной внутренней духовной работы. Более спокойные и благополучные, эти годы позволили человеку искать «положительного и надежного знания о себе, об обществе, о мире, в котором мы живем». * Потянуло людей задуматься о собственной прожитой жизни, о смысле ее, словно через сито просеять, увидеть, что плохо в ней было, а что хорошо, и тем самым как бы пережить ее в новом, уже осмысленном, виде. И вот это-то по природе своей драматическое переживание и стало в центре многих произведений, появившихся в начале семидесятых годов.

Как раз к этому времени и появились у Федора Абрамова, по нашему мнению, лучшие в его творчестве произведения — повести «Пелагея» (1967—1969), «Деревянные кони» (1969) и «Алька» (1971). Быть может, мнение это предвзято и другим читателям покажутся наиболее привлекательными другие сочинения писателя. Нам же важно отметить, что в этих повестях сконцентрировались те качества, которые оказались наиболее интересными для современного театра.

Проза Абрамова по природе своей глубоко социальна. В его произведениях проблемный, подчас открыто публицистический подход к осмыслению широких социальных пластов нашей действительности сочетается с художественной мощью в передаче внутреннего драматизма образов. В повестях эпическая всеохватность изображения социально-хозяйственных процессов, происходящих в современной русской деревне, обернулась предельной концентрацией внимания писателя на перипетиях человеческой души, на ее противоречиях. В этом отношении принципиальным художественным открытием является образ абрамовской Пелагеи.

---

* В. Перцовский. Испытание бытом. — Новый мир, 1974, № 11, с. 266.

Еще дремучим, примитивным кажется нам разбуженное жизнью самосознание сельской пекарихи Пелагеи Амосовой. И потому Абрамов, словно желая помочь героине, додумать что-то за нее, почувствовал настоятельную потребность в широком жизненном обобщении. Параллельно с работой над образом Пелагеи писатель берется за осмысление жизни Василисы Милентьевны, человека еще старого крестьянского мира, сохранившего в себе веками воспитанные деревенские традиции. И театр последовал за писателем, средствами композиции связывая драму Пелагеи с широким полем исканий современных людей, обращающихся к опыту отживших поколений.

Театр драмы и комедии на Таганке в 1974 году, обратившись к повестям Ф. Абрамова «Деревянные кони» и «Пелагея», поставил в центре своего спектакля (режиссер Ю. П. Любимов) образы трех женщин — Милентьевны, Евгении и Пелагеи. Театр показал истоки народного характера, неизбывное, героическое трудолюбие, честность и доброту, из которых он слагается. Рядом с центральными образами мы увидели и иные достоверные характеры и натуры наших современников в таком разнообразии, какого до этого спектакля не было на сцене Театра на Таганке.

Драматизм спектакля основывался на сочетании событий, совершающихся на наших глазах, с раздумьями героев о своем настоящем и прошлом, которые ведут их к требовательным, подчас суровым, оценкам и переоценкам своих человеческих позиций и стремлений. Композиция спектакля способствовала выявлению природы драматизма, возникшего в душе современного человека, устремленного к поискам смысла жизни, к осознанию мнимых и истинных ценностей.

Сила искусства театра заключается в живом воспроизведении событий, переживаний, а не в рассказе о них. Однако весь первый акт «Деревянных коней», в котором актеры разыгрывают сцену деревенских посиделок, построен на рассказах о судьбе Василисы Милентьевны, приехавшей к сыновьям. Рассказы, рассказы, перемежающиеся песнями, сценками, а то и вовсе открытыми обращениями в зрительный зал. Сама же Милентьевна, которую в спектакле играет Алла Демидова, в основном статична. В этом иные критики даже упрекали актрису, отмечая, что образ, ею созданный, «бесплотен», что слабо в нем ощущается связь с земной реальностью. * Но ведь такому естественному человеку, как Милентьевна, не свойственно и осознание какого-то

* Ю. Черниченко. Живая вода. — Театр, 1974, № 11, с. 32.

важного, особенного смысла своей жизни. Для этого нужна была особая потребность, присущая героям драматическим. И потому не Милентьевне нужна рассказанная невесткой Евгенией повесть ее жизни. Житие Милентьевны предстает как только постигаемая людьми мудрость жизни истинной, праведной, трудом и человеколюбием осененной. И именно здесь обнаруживается действенная пружина первого акта спектакля.

Люди современные, прошедшие сквозь многие жизненные трудности, тем не менее испытывают необходимость обретения уже осознанных ранее основ душевной гармонии в отношениях к труду и ко всему человеческому миру. И в их настойчивых поисках истины особую значимость приобретает соотнесенность самых различных персонажей с образом Милентьевны.

Ярче всех проявляет свою корневую, родственную связь с этим образом, казалось бы, пришлый человек, невестка Евгения с ее истовой жаждой труда, с ее широкой русской душой.

Роль Евгении в спектакле по существу своему оказалась глубоко действенной, ибо связана с известного рода духовной активностью. Евгения ощущает необходимость вновь и вновь рассказывать о свекрови, постигать завещанную мудрость народной жизни. Именно Евгения как бы извлекает из жизни Милентьевны нравственный урок, этим заставляя нас, уже по высшему нравственному счету, с особой остротой и масштабностью воспринимать драму Пелагеи.

Таким образом, первый акт, выявляя природу духовной активности простых людей, как бы экспонирует назревающую драматическую ситуацию, в которую в полной мере, страстно, мучительно ввергнется Пелагея Амосова. Ее духовная активность приобретает драматический характер. «Стяжательница», «рвач», «накопительница», изменившая мужу во имя «хлебного места», — все эти оценки не раз звучали в суждениях критиков. Отмечалась и другая сторона — «великая труженица», испытавшая в своей жизни радость труда для людей. Жизнь была беспощадной к Пелагее, ей приходилось «вертеться», устраиваться, чтобы выжить, почувствовать себя твердо стоящей на земле. А в итоге? Пелагея остается одна: умирает муж, уходит в город непутевая дочь Алька. И умирает Пелагея одна, на холодном полу своей избы, среди скопленного за жизнь добра, теперь никому не нужного.

В «Пелагее» Абрамов говорит о неприходящих ценностях трудовой жизни, о ценностях в первую очередь духовных.

Режиссер точно отбирает наиболее острые эпизоды, в которых мы видим, как рушатся привычные представления Пелагеи о смысле жизни, мечется ее душа.

Нередко упрекали артистку Зинаиду Славину за то, что не в полную меру выявляет она драматизм характера Пелагеи, оттеняя в ней наиболее поэтические черты, не до конца реализуя способность героини к переоценке жизненных ценностей. И действительно, характер этот показан еще в значительной степени в русле эпически осмысленного писателем образа, в то время как театр требует большего выделения «не только поступков, но драматических реакций самого героя, направленных и на чужие действия и на свои собственные». * Все это верно с позиции драматической поэтики. Но ведь в том-то и дело, что Пелагея не герой классической драмы. По природе своего характера она способна лишь остро ощутить потребность определенной переоценки собственной жизни, но подняться до осознанного восприятия своей «невольной вины» героиня никогда бы не смогла. Она может оперировать лишь на уровне собственного жизненного опыта, интуитивно выделить самое ценное в нем: «А Паладья-то всю жизнь хлеб выпекает, жизнь людям дает. Да если хочешь знать, у меня самая заглавная должность на земле!» Есть и в ее жизни основания для гордости. Хотя это и ослабляет «драматическую силу прозрения», но и говорит об определенной направленности драматизма автора повести: через самоанализ, через собственный суд пройденной жизни героиня осознает и свои положительные качества. Позднее этот мотив разовьется в творчестве писателя в совершенно определенную формулу: «Дом в душе». Но сейчас нам важно отметить, что этот образ проистекает из самой специфики драматизма абрамовских героев.

Спектакль Любимова очень чутко фиксировал природу драматической ситуации, сложившейся в душе современного человека. Но он отнюдь не показал ее исчерпывающего разрешения. Авторы композиции как будто сознательно оставляли действие на пути к новому его обострению, когда должен был произойти перелом, родиться новое качество самосознания. Спектакль завершался как бы вопросом. И не случайно в нем наметилась еще одна женская судьба — судьба Пелагеиной дочки Альки, строптивой, горячей, очертя голову бросающейся в жизнь. Но тут драма только нащупывалась, и лишь в финале, после смерти матери, Алька задумавшись, спускалась на землю...

Многообразие героев и судеб, обнаруживающих жизненную необходимость обретения в душе каждого прочных нравственных основ человеческих отношений, повлекло за собой попытки создания широкой народной драмы характеров.

---

* Б. Костелянец. Драматическая активность. — Театр, 1979, № 5, с. 67.

Вполне удачным опытом в этом направлении стал уже известный нам спектакль «Братья и сестры» (авторы инсценировки и постановщики А. И. Кацман и Л. А. Додин).

Был этот спектакль молодежным, и оттого почти зримо ощущался в нем мотив приобщения молодого поколения, поколения городского, как бы к истокам народной жизни, к «соли и боли нашей земли» (эти слова пели под гитару студенты, выйдя все вместе на авансцену Учебного театра перед началом спектакля). Именно сам факт приобщения студентов к жизни деревенских людей на родине писателя приобрел в спектакле эстетическое значение.

Но была у этой драматической композиции более глубокая особенность, которая поставила «Братьев и сестер» в ряд этапных спектаклей как для постижения театром прозы Абрамова, так и в более широком плане. Не случайным было обращение именно к абрамовской эпопее. Жизнь подсказала, что обретение духовной гармонии нужно искать в постижении человеком мысли народной, в установлении душевного родства людей. Мысль эта, декларативно выведенная в название композиции (а теперь уже и в название тетралогии Ф. Абрамова), раскрывается самой структурой четко выстроенного драматического действия романов «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья».

Постановщики избрали прием эпизодного построения спектакля, которое вполне согласуется с композиционными принципами масштабной эпопеи Ф. Абрамова, и это позволило передать сложную полифонию многих человеческих драм и судеб.

Если спектакль «Деревянные кони» представлял собой своего рода поэтическую хронику жизни нескольких поколений, то композиция «Братья и сестры» была сосредоточена на изображении определенного исторического периода — годах войны. Суровое, тревожное, героическое время преломляется по-разному в характерах деятельного, трудолюбивого Михаила Пряслина, совестливой его сестры Лизы, в разнузданном, способном на предательство Егорше, в образах других персонажей, каждого из которых обстоятельства ставят в трудные, острые ситуации.

В едином ритме спектакля сосуществовали сменяющие друг друга сцены трудовые и интимные, остро публицистические и наполненные тонким лиризмом, призванные в совокупности передать глубокий драматизм жизни колхозного села, процесс нравственного, духовного и душевного роста героев эпопеи Ф. Абрамова. С первого же эпизода, когда Михаил Пряслин, возвратясь с лесозаготовок домой, наделяет свою мать, братьев и сестер хлебом, припасенными для них гостинцами, — с самого этого символического эпизода по-новому, по-современному

осмысленная Абрамовым толстовская альтернатива «жизни для себя» и «жизни для других» начинает свое развитие в душе героев.

Авторы композиции выбрали из трилогии наиболее острые эпизоды именно по линии этой альтернативы так, чтобы они находились в органической связи с поступками, мыслями и чувствами Михаила Пряслина. Такой отбор послужил одновременно прочной основой сценического действия, и с определенной ясностью высветил самый костяк эпопеи Абрамова.

Образ Михаила Пряслина, с мальчишеских лет вместо убитого на войне отца потянувшего на своих плечах семью, волею судьбы принявшего миссию кормильца, противоречив уже потому, что жизнь как бы поторопилась, не дав герою еще духовно повзрослеть, стать вровень с его заботами. И вот он, единственный работящий мужик на селе, а в сущности, еще мальчишка, оказывается неподготовленным к вступлению в сложный мир человеческих отношений. И действует он скорее интуитивно, не имея еще твердых жизненных убеждений. Это становится особенно очевидным в эпизоде, рассказывающем о его любви к молодой вдове Варваре. Сопротивляясь попыткам матери и председательши Анфисы Петровны урезонить «разгоряченного жеребца», Михаил с досадой крикнет: «Надоели вы все!» — и попрекнет родных хлебом своим...

Разительно контрастной поэтому будет выглядеть затем в спектакле сцена оплакивания невесты — Лизки, сестры Михаила, решившейся во имя милых ее сердцу «двойнят»-братьев выйти замуж за разудалого, бесшабашного Егоршу Ставрова, посулившего купить Пряслиным корову. Лизка оказывается гораздо выше своего брата, потому что сознательно пожертвовала собой, чтобы облегчить жизнь ближним. Этот своего рода мученический ореол как бы витает над образом Лизаветы. Маленькая, хрупкая, совсем еще девчонка, но упрямая, твердая в своем убеждении — такой предстала она в спектакле. Режиссер предельно обостряет ситуацию яркой, броской, почти символической деталью — белым платьем в синий горошек, сшитым из отреза, подаренного Михаилом. Поступок Лизаветы потрясает Михаила Пряслина, помогает ему постичь нравственные основы человеческой жизни.

Коллизии подчеркивают многоэтапность такого постижения. Главным же, высшим уровнем постижения героем науки жить является цепь драматических эпизодов; возникших вокруг судьбы Тимофея Лобанова, бывшего в немецком плену, вконец сведенного в могилу болезнью.

Не случайно начинается этот цикл эпизодов в спектакле сце-

ной, где Михаил остается за руководителя в колхозе. Инструкции райкома, планы, требования сводок — за всем этим стоят живые люди. И принимать решения — это значит управлять судьбами этих самых людей. И вот герой посылает на лесозаготовки смертельно больного Тимофея, обвиняя его в дезертирстве. Тут срабатывает еще и сила шаблона: был в плену — значит, трус, предатель. Жизненной зрелости не хватает Михаилу, чтобы суметь самому, без подсказки, а то и вопреки наклеенным ярлыкам, по совести разобраться в людях. Гибнет Тимофей, и опять мы видим потрясенного Михаила, который упрямо красит красную звезду для пирамидки на могилу Тимофея. В орбиту драматического действия, ведущего к становлению характера героя, его нравственных жизненных принципов, вовлекается и эпизод с уполномоченным по хлебозаготовкам Ганичевым, который, «выколачивая» из обобранного Пекашина оставшиеся крохи зерна, сам на грани голодного обморока. Его бескорыстие, искренняя забота об общем, понимание выпавших на долю людей трудностей оказываются убедительнее всех слов. И пекашинцы отрывают от сердца последние крохи зерна.

Жить для людей, заботой о братьях и сестрах, — это осознанное чувство человеческого сродства рождается не только у Михаила. И словно оселок, на котором испытывались люди, становится эпизод сбора подписей в защиту арестованного председателя колхоза Лукашина, который, понимая, что деревне не прожить без хлеба, раздал работникам часть зерна. Этот эпизод демонстрирует, насколько вырос духовно Михаил Пряслин. Именно он явился инициатором защитного письма, понимая, сколь честным должен быть человек, болеющий за людей, и сколь важно ценить людей по высшему человеческому счету.

Не много пекашинцев пошло за Михаилом. Но те, кто оказался с ним заодно, тоже прошли непростой путь, чтобы принять окончательное решение. В спектакле, в самом его финале, показана запоминающаяся по своему драматизму сцена с Петром Житовым. Бывалый фронтовик, он сердцем чует, что надо защитить Лукашина, понимая, сколь важный и ответственный шаг предпринимает он, выступая в защиту обвиненного. Опять же здесь ощутилось зерно драматического, которое, подобно другим, проросло живым ростком человечности.

Именно такие драматические зерна, выбранные из романа Федора Абрамова, и дали материал для композиции. Они сгруппировались вокруг тернистого пути главного героя.

Композицию «Братьев и сестер» можно назвать историей п р и о б щ е н и я героя к миру людей. Эта история разворачивается в поступках и душах пекашинцев, в живом драматическом

действии. Но помимо этого постановщики спектакля нашли и зримые, чисто сценические реализации основной идеи произведений автора. Вспомним хотя бы яркую, экспрессивную сцену сева, когда в едином порыве, в едином ритме размашистых движений сеятелей пекашинские женщины вдруг обретают единство. Многогранный и емкий образ!.. Или самый финал спектакля, когда все герои драмы, все знакомые уже нам пекашинцы, и полюбившиеся и вызывающие сложные чувства, отходят на дальний план сцены и их силуэты застывают на фоне ниспадающего складками холщового занавеса, как бы олицетворяющего борозды уходящего в поднебесье поля. И Михаил Пряслин, вдруг на минуту задержавшись в центре сцены, присоединяется к своим «братьям и сестрам», становясь одним из силуэтов этой многофигурной композиции.

Драма, родившаяся в романах Федора Абрамова «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья», стала осязаемой, зримой благодаря искусству театра.

Надо сказать, что спектакль «Братья и сестры» открыл еще одну грань абрамовской прозы уже на исходе семидесятых годов, подчеркнув ее общефилософскую, мировоззренческую направленность, оттеняя линию духовного становления героя.

«Мысль народная», «мысль семейная», понятые в самом широком, философском плане, получили свое развитие и становление в напряженных духовных поисках нашего современника. История такого становления воплотилась и в структуре драматической композиции.

Надо сказать, что принцип трактовки абрамовских произведений, принятый А. Кацманом и Л. Додиным в студенческом спектакле, основывается именно на стремлении вычленить драму духовного поиска, не подчеркивая тему собственно «деревенскую», с присущими ей любованием и абсолютизацией крестьянского быта, уклада. Это продиктовано определенным, быть может сугубо интеллектуальным прочтением прозы Абрамова. Но совершенно очевидно, что такое прочтение заложено и в самих инсценируемых произведениях, ведь писателю в принципе не свойственно увлечение жанризмом.

В «Братьях и сестрах» тема быта, как таковая, отсутствует. Уровень художественного обобщения здесь очень высок, при том, что в реквизите и в декорациях использованы настоящие предметы деревенского быта, привезенные с русского Севера. Бытовые реалии, фольклор являются здесь лишь выразительными средствами, создающими особую атмосферу драматизма. Такой же принцип был развит Л. Додиным в его самостоятельном спектакле по роману Ф. Абрамова «Дом».

Пути духовных поисков нашего искусства сложились в минувшие годы таким образом, что внутренний мир человека должен был, сосредоточившись в себе, разомкнуться и принять в себя огромные пласты социального опыта народа. И тут своеобразное духовное «хождение в народ» получило особое значение.

Спектакль «Дом» на сцене ленинградского Малого драматического театра — еще один опыт создания народной драмы на сцене (1980 год, автор инсценировки и постановщик — Л. А. Додин).

В драматической композиции, созданной в Малом драматическом театре, режиссер попытался увязать единым драматическим действием многоплановость сюжетных линий, выявить главный нерв действенного развития романа. Задача оказалась нелегкой. В диалоге, опубликованном на страницах «Литературной газеты», Г. А. Товстоногов, говоря об этом спектакле и признавая его удачу, все же отметил, что он также размышлял о постановке абрамовского «Дома», но не нащупал в романе этого драматургического нерва...

Вся сложность заключалась в том, что для традиционной, эпизодной структуры композиции, которую принял театр, в материале романа нет достаточного драматургического материала. Драматургия центрального характера требовала большей активности реакций, большей выявленности внутреннего мира героя. Драматизм романа складывается в полифоническом сплетении судеб многих героев, этот драматизм рождался сцеплением авторских мыслей, наблюдений. В то время как прозаик мог и не уделять особенного внимания разработке сквозной драматургии центрального образа, режиссеру предстояло ее самостоятельно выстраивать или находить иной композиционный ход. Учитывая эти особенности инсценирования, режиссеру, очевидно, необходимо было смелее порвать с традиционной формой пьесы-инсценировки, резче столкнуть судьбы героев, активнее ломать поступательное, эпическое развитие действия.

Режиссер же полностью доверился драматургическим возможностям романа, упрямо извлекая из каждой его коллизии зерна драматического. Что ж, возможен и такой путь! Хотя подобное решение обусловило просчеты в композиции, позволило иным критикам сетовать на некоторую эклектичность и нецельность замысла, чрезмерное увлечение деталями. Мы не склонны безоговорочно принимать такие обвинения, и постараемся показать, что логика постановщика, как и его концепция романа, вполне определенны.

Спектакль «Дом» рождался трудно, менялась композиция,

исключались отдельные сцены, появлялись другие. В результате общая композиция обрела довольно отчетливую драматургическую структуру. Для постановщика важно было понять, что, связывая в один драматический узел многие судьбы, целые исторические пласты жизни, Абрамов задается целью обратить это многосплетение обострившихся коллизий на всеохватывающее прозрение героя: «...Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: «Сынок, ты понял меня? Понял?»

Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал, когда уходил на войну, и тридцать лет Михаил ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...»

Так заканчивается роман. И это исход драмы главного героя, драмы, которая открывается ему в окружающей жизни, которая зреет в его душе, побуждая к переоценке своей жизненной позиции, обретению важного знания.

Вся сила воздействия этой драмы состоит в том, что за спиной героя немалый жизненный опыт, что в действие вступает не мальчишка, герой предыдущих романов, а уже вполне зрелый человек.

Но то, что истоки возникшей драматической ситуации прочно уходят в прошлое, вызывает сложность для постановщика. И тут реально предстают два пути: либо использовать поэтику драматического рассказа, либо идти по принципу монтажа эпизодов, делая скачки во времени, тем самым разъясняя сложившуюся ситуацию. Естественно, что более действенным в плане драматическом является именно первый путь, он более всего отвечает классической форме монолога.

Глубокий драматизм, действенность монологов — одна из величайших удач спектакля. Здесь проявились и высокая культура режиссера-постановщика, и большая зрелость актеров. Первым таким монологом является рассказ сестры Михаила Пряслина — Лизаветы. В нем как бы экспонируется обострившаяся приездом младших братьев Пряслиных давно назревшая драматическая ситуация во всей ее многослойности. Нарушаются связи между людьми, даже между людьми родными. Но Лизавета, например, не осуждает своего старшего брата, не пускающего ее на свой порог за то, что она прижила двойняшек, когда еще не улеглась волна потрясения после смерти ее старшего сына. Она признает свою вину. Но видит Лизавета и другое: как важно в беспокойном, суетном мире не растерять кровные, человеческие связи, не остаться одному, не оставить другого на произвол судьбы. В этом суть мысли семейной, которую, быть может, неосознанно, но сердцем чувствует Лизавета. Ведь именно она в фи-

нале будет больше всего заботиться, чтобы восстановили старый пряслинский дом, откуда ушли в жизнь ее братья и сестры.

Уже в первом, начальном монологе видится надсадность искалеченной, но такой светоносной души Лизаветы. Ее образ земной, реальный, жизненный. Ее хочется назвать страдалицей, мученицей. Неизгладимое, потрясающее впечатление остается у всех, когда она, сидя на приступочке авансцены, глядя прямо в зал, как бы зрителям, торопливо, сбивчиво, то и дело смахивая набежавшую слезу рассказывает свою историю.

Образ Лизаветы предельно противоречив и именно поэтому ее жизненная позиция — активная доброта. Желание искупить свою невольную вину толкает ее действовать. Но не для себя хлопочет Лизавета: хочет она, чтобы братья жили в мире, хочет, чтобы у постаревшего, жалкого, промотавшего свою жизнь и бросившего в свое время ее мужа Егорши был свой дом. Хочет Лизавета, чтобы люди наконец обрели пристанище для собственной души, чтобы жили заботой друг о друге, не ожесточаясь сердцем.

Абрамов в своем последнем романе осмысляет идею человеческого родства, необходимости обретения этой мудрости в душе — «дома в душе» — не только на семейном, но и на более широких — социальном, производственном, историческом уровнях. И каждая ипостась такого осмысления связана с определенной коллизией. Таким образом оказывается вплетенной в орбиту драматического действия и сильнейшая в романе линия Калины Ивановича Дунаева и его жены Евдокии.

Драматическая фигура Евдокии-великомученицы оказывается также необычайно действенной. В двух монологах Евдокии как бы размыкается историческое пространство. В них раскрывается судьба старого коммуниста, прошедшего вместе с партией все испытания.

Контрастны монологи Евдокии из первого и второго актов. В первом, «пиля» мужа за его, с точки зрения невежественной крестьянки, «бродяжничество» по разным стройкам страны, она вся как бы сочится сарказмом, издевкой, сознательно снижая весь смысл убеждений и работы Калины Ивановича. Во втором же акте, когда открывается вся история мытарств Евдокии, не отрешившейся от незаслуженно осужденного мужа, пешком отправившейся искать и спасшей его от неминуемой смерти, — поражаешься огромной силе ее верности, величию ее души. Здесь предельно раскрывается драматизм этого образа, его сила. И особенно значима в плане его развития перемена, происшедшая в ней со смертью Калины Ивановича. Вместе с жизнью мужа для Евдокии уходит и самое главное — глубокое чувство любви и верности. Режиссер специально вводит в спектакль сце-

ну похорон, усиливая ее натуралистические подробности: и неслаженный оркестр, и красный гроб, колышущийся на плечах несущих... И принципиальное значение в русле общего драматургического развития приобретает эпизод, когда обнаруживается, что у старого партийца, всю жизнь проработавшего на многих стройках пятилеток — не оказалось наград. Этот факт, подчеркнутый в романе и самим автором, объясняется им своей, особой мерой ценностей: разве не есть беспредельная любовь и преданность мужу Евдокии — темной, необразованной крестьянки, лучшей наградой, самой главной жизненной ценностью.

Театр выявил позитивный смысл произведения, показав опасность человеческого разобщения, внутреннюю необходимость постижения героями основ «человеческого сродства», составляющего один из главных принципов жизни советского человека.

Самая главная задача инсценировщика состояла в том, чтобы убедительно, зримо, через характеры персонажей показать сложную внутреннюю борьбу героя. И линия Евдокии-великомученицы, и история взаимоотношений Лизаветы с Егоршей, коллизия, возникшая между ними из-за ставровского дома, и эпопея со сменой председателей, — все это органически вплетается в цепочку перипетий, ведущих к осмыслению Михаилом жизненного опыта, к прозрению души, к разгадке завета, данного ему отцом.

В спектакле у Михаила нет развернутых монологов, и потому все внимание режиссер сосредоточивает на раскрытии его поступков.

Многие критики отмечали, что в романе «Дом» Абрамов наделил своего главного героя целым рядом непривлекательных черт. Точнее было бы сказать, что писатель наиболее ярко высветил противоречивость характера своего героя, противоречивость его поступков. И именно это обострение внутренней противоречивости и послужило импульсом, который подвиг Михаила Пряслина к прозрению, к познанию жизни. В отстаивании нравственных основ жизни, нравственного отношения к труду, например, у Михаила присутствует явная, быть может, невольная категоричность, заключающаяся в том, что называется «рубить сплеча». Режиссер чутко уловил самую суть нравственного конфликта, который переживает герой, помог актеру найти тонкую деталь для передачи настроения героя. Спектакль начинается так: Михаил Пряслин, выходя на сцену, всаживает в одно из бревен топор. Это читается как метафора, эквивалентная натуралистической сцене свежевания бараньей туши, описанной Абрамовым в начале романа. Поражаешься, насколько сильно взаимопонимание режиссера и писателя, насколько сложны и многозначны их контакты.

Режиссер во многом как бы опережает естественное развитие сюжета, метафорически подчеркивая, выявляя объективный смысл происходящего.

Мы уже говорили о просчетах инсценировки и все же неверным представляется имеющее место суждение о том, что развитие центрального характера в спектакле лишено полноценной драматургии. Стоит согласиться лишь с тем, что современность требует более ясного высвечивания внутреннего мира героя, большей его открытости. И здесь постановщик спектакля и актер, исполняющий главную роль, искали наибольшей остроты возникающих коллизий, более ярких драматических реакций героя. Главное было понять положительный смысл произведения, понять, что герой романа всем ходом действия идет к постижению идеи объединения семьи в одно монолитное целое. Но приходит она к герою только через путь драматических для него ошибок. Борясь за честное, хозяйственное, любовное отношение к труду, болея за общее дело, Михаил вкладывает в это дело всю энергию, всю злость своей души. Но именно это и делает его действия противоречивыми, ведущими к обратным результатам. Так, например, сам Михаил понимал, что был не прав, отрекаясь от своей сестры, от племянников своих, сурово казня невольный грех Лизаветы. Не объективными оказываются его нападки на председателя Таборского. Вот эта-то злость, суровость зримо переданы в спектакле.

В этом плане показательна сцена, где Михаил, узнавший, что Егорша Ставров собирается выгнать Лизавету из дома, порывается пойти и защитить родную сестру. Но побороло другое чувство, не прощающее грех Лизаветы. Это и остановило его.

Здесь обнажается неправота общей позиции героя. Не только карающим мечом ему надлежит быть, но и объединителем душ человеческих — братьев и сестер.

Желая особо подчеркнуть значение основной мысли романа, режиссер вводит в спектакль живой, но бессловесный образ отца Пряслина, как бы напоминающего Михаилу о своем завещании и спрашивающего: «Ты понял меня, сынок?»

Между бревнами, подвешенными на тросах, проходят все члены большой пряслинской семьи. А впереди них отец в белой рубахе. Он всех рассаживает на бревна верхом, словно на деревянных коней, которые вознеслись над крышами счастливых домов, и раскачивает их. И льется счастливый людской смех. И, словно приобщаясь к этому дивному видению человеческого счастья, вскакивает на одного такого коня взрослый Михаил Пряслин, кому выпало нынче на долю быть главой целого дома... А это значит — «построить дом в душе». И прозрение приходит к Михаилу, когда гибнет задавленная бревном Лизавета — то-

ненькая жердиночка, пытающаяся поднять на вновь отстроенный дом Пряслиных деревянного коника. Разве Лизавете по силам такой груз? Почему же он, Михаил, не принял этот груз на свои плечи?..

«Ребята где? — спрашивает Михаил. — Племянники мои. Михаил и Надежда. Почему не у нас?»

И возникает в финале символическая мизансцена: стоит у бровки сцены все семейство Пряслиных — и старшие и дети. И вот теперь только Михаил с полным правом может произнести слова о том, что разгадал наконец давний завет отца, — слова, которыми заканчивается пряслинская эпопея, эпопея драматического духовного поиска, становления человеческой души...

Три спектакля по прозе Ф. Абрамова — каждый по-своему — открыли зрителю важные стороны нашей действительности и вместе с тем обогатили нашу театральную жизнь подлинно новаторскими художественными произведениями.

Спектакли по произведениям Ф. Абрамова ставили и другие театры Москвы и Ленинграда. Ставили их и на родине писателя в Архангельске, ставили и в областных театрах России. Но мы хотели поговорить о «главных» постановках, отразивших этапы постижения современным театром прозы Федора Абрамова.

Театр открывал и выстраивал драматургию спектаклей, обнажая в прозе писателя ее общую устремленность к формированию духовного мира человека. Так постепенно вызревала, обострялась и разрешалась внутренняя духовная драма нашего современника, приведшая к открытию важных жизненных истин.

ВЛАДИМИР ХРШАНОВСКИЙ

МЕТАМОРФОЗЫ РОМАНТИЗМА

Их первые рассказы появились в печати почти одновременно в середине шестидесятых годов. Оба были молоды, хотя и принадлежали к разным поколениям. Обоих отличал нравственный максимализм, обостренное чувство добра и справедливости. Искренность и эмоциональная свежесть привлекали внимание к их попыткам осмыслить извечно злободневное столкновение романтических юношеских идеалов с прозой взрослой жизни. Но сферы их интересов казались настолько несхожими, что критики никогда не упоминали их имена в одном контексте: он безоговорочно относился к разряду «деревенщиков», она — к типичным представителям городской прозы.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Каждый издал по нескольку книг, обрел известность и популярность. Каждый остался верен своей давно найденной теме, кругу прежних проблем и идей. И тем поразительнее тождество эволюции, открывающееся при ретроспективном взгляде на их творчество. Вряд ли это просто случайное совпадение. Скорее сказалось именно то, что изначально в художественных системах двух писателей при всем их различии было и нечто общее — романтическое начало, определявшее и даже предопределявшее творческое развитие каждого — Аллы Драбкиной и Виктора Лихоносова.

Романтизм всегда порожден несоответствием действительности мечте. Романтизм Аллы Драбкиной — невоплощенным идеалом любви. Уже в одном из ранних рассказов, «Васька»

(1965), возникает коллизия, которой суждено было стать главной в ее творчестве. Неуклюжая девочка-подросток «на трогательных ногах-столбиках с огромными выпирающими коленками» влюбляется, самоотверженно и самозабвенно любит и оказывается подло преданной.

Сюжет незамысловат, да и не нов. Но молодая писательница сумела создать живой, запоминающийся образ, тонко передать горечь несправедливой обиды, вызвать у читателя сострадание к главной героине.

Шло время. Героиня Аллы Драбкиной повзрослела, закончила школу, начала работать. В повести «Охтинский мост» (1969) ей уже восемнадцать, но ее «еще никто не целовал». Так же как и Васька, она совсем непривлекательна внешне — сутулая фигура, круглые очки в черной оправе, тихий, глухой голос, мальчишеская прическа. Так же как и Васька, она живет ожиданием любви. И в первый же день работы на заводе она замечает его — «высокого, рукастого», больше всех подходящего к ее идеалу. Взгляд, разговор по телефону, мимолетная встреча — и... «Все уже найдено и все — в нем!»

Но однажды, придя на работу, она узнает потрясшую ее новость: Сергей женится на другой. И не на ком-нибудь — на деловитой, ограниченной Светке, у которой «нет благородных порывов», а мама работает в комиссионном магазине.

«Охтинский мост» написан от первого лица, как своеобразная исповедь героини. Рассказанная ею грустная история была не просто жизненной и типичной, а житейской, хорошо знакомой каждому читателю. Алла Драбкина искусно передавала всю гамму ее чувств: ожидания и жажды любви, мимолетного, призрачного счастья, первых разочарований... Повесть была естественна и органична, оставляла цельное и сильное впечатление. Но здесь уже гораздо отчетливее, чем в «Ваське», проявились и издержки того обнаженно эмоционального стиля, который отличал молодую писательницу.

Все внимание автора повести было сосредоточено на любовных переживаниях главной героини. Самоценность их, судя по всему, для него бесспорна. А это сделало совершенно излишней не только попытку проникнуть в тайну внезапно вспыхнувшей страсти или наступившего отчуждения, но и глубокую прорисовку характеров героев, и внутреннюю психологическую мотивировку их поступков.

Сюжет «Охтинского моста», хотя и был более развернут, чем в рассказе «Васька», в принципе повторял его. И уже возникло ощущение какой-то искусственной предопределенности в развитии событий.

Катя из «Белого билета» (1974), в отличие от своих предшественниц, «чудовищно красива». Казалось бы, раз так, то и жизнь у нее может сложиться иначе, чем у «некрасивых» героинь. Но нет! Риторический вопрос: «А когда красивым девушкам не приходилось туго?» — ясно дает понять, что и Катю не ждет ничего хорошего.

Однажды, когда она садилась в автобус, кто-то посмотрел на нее и пропустил вперед. А когда она споткнулась от этакой неожиданности, он еще и поддержал ее за локоть. «Для любой другой девушки это ничего бы не значило, но не для Кати...» — поясняет писательница. Она тут же влюбилась. Ведь он был красив, артистичен, пребывал в «модном (?! — *В. Х.*) седом сорокалетии». Ее не смущало то, что, имея за плечами Академию художеств, он опустился, перестал писать картины и работал заводским художником. Катя видела в нем только незаурядного, талантливого человека со своим взглядом на мир, со своим мнением обо всем. И она стала его тенью, веря ему разумом, но чувством зная, «что своей любовью к нему убивает его любовь к себе».

Предчувствие не обманывает Катю. Ее любовь была с самого начала настолько «требовательной, исступленной, трагичной», что Кулюхин никогда не сможет возвыситься до нее.

И вот Катя узнает, что мерзкая, «похотливая бабенка» по кличке Универсам совращает пьяного Кулюхина. Оскорбленная за себя, за свою любовь, она бросается спасать его прямо со своего поста в проходной завода. Кулюхин не внимает ее словам, зло глумится над нею, потом бьет и отшвыривает от себя «с брезгливостью, как нашкодившего котенка». Тогда в порыве отчаяния Катя выхватывает свой служебный наган, взводит курок, старательно прицеливается и — стреляет. Стреляет, правда, в воздух, но и этого оказывается вполне достаточно, чтобы отрезвить и образумить Кулюхина. Любовь, судя по всему, была спасена.

На первый взгляд «Белый билет» — новая веха в творчестве Аллы Драбкиной. Отступление от прежних стереотипов налицо: она — красавица, он психологически, даже социально-психологически — очень точно подмеченный тип интеллигента-расстриги, благополучный, оптимистический конец. Ничего подобного раньше не было. Но вдруг замечаешь, что за ослепительной внешностью Кати проступают знакомые контуры Васьки и героини «Охтинского моста», за колоритной фигурой Кулюхина видится все тот же мужчина, неизменно предающий свою любовь, а счастливый финал никак не вытекает из логики взаимоотношений главных героев. Сюжет повести остался неизменен, так же

как и ее сверхзадача: с еще большей эмоциональной силой и экспрессией передать страдания, выпавшие на долю прекрасной девушки, полюбившей недостойного ее человека. И смена масок на главных действующих лицах, похоже, лишь помогает драматизировать излюбленную коллизию. Желаемый эффект достигается. Но плата за него достаточно велика: утрата художественной цельности и жизненной достоверности. Заданная эволюция любовно-трагического чувства начинает заметно деформировать ткань произведения.

В последней повести Аллы Драбкиной — «Что скажешь о себе?» (1979) впервые главным героем становится мужчина. Митя Степанов — бывший инженер, променявший свою специальность на работу гидом-переводчиком при «Интуристе», а наполненное духовным смыслом существование — на борьбу за материальные блага и «красивую жизнь». Вроде бы автор наконец вырвался из круга навязчивых идей и образов и предпринял художественное исследование этого не нового, но далеко не исчерпанного в нашей литературе социального типа, которое позволит выявить новые грани его таланта. Вскоре, однако, в центре повествования вновь оказывается история любовных отношений Мити с его женой Ликой.

Внешность главного героя несколько необычна: «Узкий лоб (он увеличивал его подбритыми висками), огромный нос с подвижными и впрямь звериными ноздрями и — завивка». Поступки грубы и непредсказуемы: провожая домой свою будущую жену, он налетает на нее «со своими непотребными страстями». В ту «страшную, унизительную ночь», когда Степанов грубо овладел Ликой, от него пахло водкой, чесноком и потом. «Он произносил какие-то мерзкие постельные термины, ей непонятные, а потом вдруг захрапел на полуслове, и ей долго было не вырваться из его закостеневших пьяных объятий». Но самое обидное — «невинность ее, таким образом, осталась незамеченной».

Однако в этой повести женская любовь также иррациональна и непоколебима, как во всех предыдущих произведениях Аллы Драбкиной. И, утешившись после унизительной ночи «симпатичным, нежным мальчиком», в котором, правда, было «что-то пресное и чужое», она все равно мчалась на зов Степанова. «Она любила его, вот в чем дело, — объясняет писательница, — и ее не смущало уродство этой любви, потому что другой она не знала». Нет, это, конечно, не прежний высокий женский идеал. Лика изменяла Степанову и не только с «нежным мальчиком». «Обычно она подбирала себе партнеров в заграничных поездках. За границей люди становятся беспомощными, незнание языка даже

из самых умных делает баранов, и переводчица для них — богиня. Бери голыми руками». И она брала. Голыми руками. Чьих-то хороших мужей. А они были благодарны ей «за нетребовательность, невинность и страстность», хотя «ни невинность, ни страстность не были ей присущи».

Повесть завершается словами, которые слышатся Мите во сне: «Как бы я могла любить тебя, Степанов! Как бы я любила тебя, Степанов!» Их произносит Лика. Но в равной степени они могли быть произнесены и Васькой, и героиней «Охтинского моста», и Катей из «Белого билета»... Менялась бы только интонация: с каждым разом она должна была становиться все проникновеннее, трагичнее, безысходнее... Похоже, что в повести «Что скажешь о себе?» достигнут известный предел. Экзальтированная любовь Лики настолько «странна», а описана она так выразительно, что достигается незаурядный комический эффект, на который автор вряд ли рассчитывал. Образы главных героев Мити и Лики не только совершенно неправдоподобны, а даже пародийны. Почти все персонажи совершают поступки, психологически никак не мотивированные. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно проследить сложную предысторию любовно-семейных отношений Мити, Али, Саши и Любы. Да и все повествование очень недостоверно и неубедительно.

Что же осталось? Остался тот самый идеал романтической любви, с которого когда-то все начиналось. Даже Лика — уже весьма далекая от прежних героинь Аллы Драбкиной — при всех своих пороках и «странностях» ее реальной любви, остается ему верна. А главным препятствием на пути к достижению идеала оказываются мужчины, явно не способные возвыситься до уровня любящих их женщин. Судя по тому, что в последнем сборнике Аллы Драбкиной этот сюжет с небольшими вариациями встречается еще трижды — в рассказах «Там за тремя соснами», «Лицо» и «Обложные дожди», — он до сих пор сохраняет для нее свою значимость и привлекательность.

Справедливости ради надо отметить, что настоящие мужчины в произведениях этой писательницы все же встречаются. Но в этом случае она либо ограничивается их знакомством со своими героинями и не рискует продолжать повествование — рассказы «Жених из Медведкина», «Желтый запах купавы», «Знакомый писатель». Либо вмешивается трагический рок, который обрывает жизнь героев — Гусев из одноименного рассказа, Сандро из вставной новеллы в «Белом билете», Александров из повести «Здравствуйте, Анна Петровна!». Ведь, как подметил еще А. И. Герцен, «для романтизма нет счастья выше несчастья, нет

радости выше скорби и грусти», и потому он «ищет несчастий». Ищет и находит.

Однако и сам романтический идеал любви остался неизменным в произведениях Аллы Драбкиной лишь внешне. И если для Васьки, героини «Охтинского моста» и даже Кати он еще психологическая реальность, в которую они верят, несмотря на испытанные страдания и разочарования, то для Лики это уже прекрасная, но пустая и далекая абстракция, о которой она мечтает без всякой надежды, только по инерции.

Романтизм Виктора Лихоносова, как и всякий романтизм — антитеза действительности. Как и всякий романтик, не принимая какие-то ее реальные стороны, он противопоставляет им свой идеал. Но если идеал Аллы Драбкиной устремлен в будущее и своей недосягаемостью порождает трагически напряженные чувства, то идеал Виктора Лихоносова обращен в прошлое, как бы утрачен, и потому в его эмоциональной гамме преобладают элегические тона.

Действительно, уже первыми короткими рассказами «Брянские» (1963), «Когда-нибудь» (1965) Виктор Лихоносов заявил о себе как о писателе, обладающем тонким музыкальным чувством природы, с особой теплотой и любовью относящемся к старикам, к прошлому. Его лирический талант проявлял и утверждал себя искусством заразить читателя тем элегическим настроением, которым так дорожил сам автор. И, как правило, это удавалось.

В повести «На долгую память» (1968) Виктор Лихоносов искусно воссоздает полудеревенский быт, психологию и говор людей, живущих на окраине сибирского города. Веришь и сочувствуешь его проникновенному рассказу о нелегком существовании семьи, в которой вырос главный герой — Женя Бывальцев. Подкупает душевная теплота, с которой написаны яркие, хотя и несколько однотонные образы — многострадальной, безгранично терпеливой Физы Антоновны — матери Жени, отчима его — балагура и весельчака Никиты Ивановича Барышникова, соседки Демьяновны, бабы Шамы, Секлетиньи...

Казалось бы, вся повесть и посвящена описанию простонародной жизни как она есть. Но у автора есть и особая цель: передать то чувство, которое возникает у Жени Бывальцева при воспоминании о прошедшем детстве и юности, показать жизнь, преображенную элегическим восприятием. Отсюда специфический жанр — воспоминания лирического героя. «Он (Женя Бывальцев — *В. Х.*) рос и уходил в какую-то другую жизнь и часто

жалел об этом...» и «...в как бы высшей жизни плакал по тем детским картинам, которые и воспитали его, и дали ему на долгую жизнь чувство растроганной ласки и печали».

Женя и сам догадывается о том, что на самом-то деле все происходило не совсем так, как ему теперь кажется. Он сомневается: «Но точно ли запомнил Никиту Ивановича? Не забыл ли чего главного и не подкрасил за давностью лет, благословляя в элегическом настроении прошлое, детское, навеки утерянное?» Мысль эта время от времени приходит к нему, но не получает дальнейшего развития. Вероятно, автор намеренно не дает лирическому герою осознать ее до конца — она может оказаться губительной для столь дорогого «всеохватывающего» чувства.

В. Лихоносов достигает своей цели: элегическая дымка, окутывающая все, что описано в повести, создает у читателя соответствующее настроение. Но вероятно, все же существуют какие-то объективные каноны жанра, которыми нельзя пренебрегать. «На долгую память» — не лирическое стихотворение и даже не рассказ, а объемистая повесть, которая охватывает события двадцати с лишним лет. И читатель, помимо общего настроения, вправе ожидать и внутренней динамики, развития сюжета, психологических изменений в характерах героев. Но ничего этого нет. Повесть статична. И статична именно потому, что привносимое «всеохватывающее» элегическое чувство также становится самоцелью — смыслом и содержанием всего произведения.

Эмоциональная заданность нередко приводит к диссонансу между исходящим от лирического героя настроением и описываемым прозаическим бытом, и тогда «поэзия прозы» объективно воспринимается как неоправданная поэтизация, «светящиеся» герои — как искусственно подсвеченные. Необходимо отметить и то, что в повести речь идет не только о печально-неминуемом расставании с детством. Ведь Женя Бывальцев из своего родного дома уехал учиться в Москву. Именно к той московской, да и ко всей его последующей жизни относится столь примечательный эпитет — «как бы высшая».

В повести «Тоска-кручина» (1966) в центре внимания тоже лирический, точнее, романтический герой — Геныч Шуваев и история его любви. «Я вечно куда-то рвусь и заранее воображаю свою жизнь там, в тридевятом царстве. И воображение у меня сильнее жизни», — объясняет он беззаботно преданной ему Лере. Он боится прозы жизни, домашнего очага, в котором «все потонет», уготованной стези... Он знает, чего он не хочет. Но мятущийся романтизм главного героя имеет и обратную сторону — эгоизм по отношению к Лере, неспособность вовремя оценить ее любовь.

Такой сюжет представляет писателю возможность раскрыть романтический мир Геныча Шуваева, выявить его внутреннюю противоречивость, проследить его эволюцию и, если он хотел именно этого, убедить в закономерности и неизбежности краха жизненных принципов главного героя. Но В. Лихоносов вновь уходит от глубокого психологического решения, сводя почти все к противопоставлению естественного, деревенского — цивилизованному, городскому.

Важнейшей чертой романтического мироотношения героя повести, наряду с тягой к перемене мест и страхом перед мещанским благополучием, оказывается злость. Правда, злость его избирательна. Она направлена на завсегдатая книжного магазина, которому «не задрожать над строкой», как ему самому — Генычу Шуваеву; на «собаку» доцента, «славящегося своей осторожностью»; на «свору» однокурсников, которые «умны и талантливы», «интеллигентны и всячески подчеркивают свою избранность», — но ему «дорого что-то попроще и породней». Своеобразные требования предъявляет он и к своей будущей жене. «Мне как раз и нужна простая, хорошая, честная, пусть даже (?! — *В. Х.*) — интеллигентка, но простая и понятливая женщина». И не удивительно, что в противовес всем «интеллигентам» те, кто окружают главного героя в деревне, куда он в конце концов попадает, оказываются просты и душевны. А поскольку сам Геныч Шуваев теперь понял, что надо создавать свою жизнь «на очень простой и вечной основе», и у него появляется надежда «на что-то», которой многозначительно заканчивается повесть.

Если строго следовать авторской логике, то можно предположить, что потеря Леры, да и вообще вся трагедия героя — тоже лишь расплата за приобщение к «как бы высшей жизни» и забвение той «простой и вечной» основы, на которой строили свою жизнь предки. Это подтверждает и финал повести.

Но все же в «Тоске-кручине» В. Лихоносов не только констатирует «губительность» одного мира и «спасительную силу» другого. Здесь уже намечается попытка преодолеть сакраментальное противоречие между «простотой» и «культурой» в образе «идеального» героя — историка, профессора Волынского. Пока еще это первое приближение, абрис, но, судя по тому, как не щадящий «интеллигентов» герой реагирует на известие о его внезапной смерти, образ этот не случаен в творчестве В. Лихоносова. И действительно, он переходит в другое произведение писателя «Люблю тебя светло...» (1968), где обретает гораздо более выпуклые и яркие черты, становится более законченным. Ярослав Юрьевич Белоголовый — историк и писатель, которым

восхищается и перед которым преклоняется лирический герой В. Лихоносова. Появление такого образа знаменует новый этап в творчестве писателя: переход от элегического погружения в прошлое к созданию идеала современного подлинно культурного и талантливого человека.

Итак, Ярослав Юрьевич — один из тех немногих, кто ценит древние, «не всеми еще потерянные корни России». Он «не знаменит, не салонная звезда», а «настоящий русский хранитель», опора вдов умерших русских писателей. Он — олицетворение подлинной и глубокой культуры. Но в отличие от других «интеллигентов», он еще и первозданно прост: не гнушается сам бегать за водкой для гостей, ходит в дырявых носках и неглаженых брюках, все с ним на «ты». Похоже, что именно такое сочетание «культуры и простоты» должно быть присуще всем настоящим «божьим избранникам». Во всяком случае, Ярослав Юрьевич вполне серьезно говорит восхищенному им лирическому герою: «Талантливые люди — они же все простецкие в быту люди. У них всегда, извини меня, ширинка расстегнута».

Наконец столь долго мучившее В. Лихоносова противоречие разрешилось. Но можно ли им удовлетвориться? Почему, сам тонкий и нетерпимый к фальши, писатель не замечает карикатурности этого образа и заставляет лирического героя им умиляться? Вероятно, дело в том, что появление его закономерно вытекает из всего предшествующего творчества В. Лихоносова и он не может взглянуть на него объективно, со стороны.

В 1978 году был опубликован роман В. Лихоносова «Когда же мы встретимся?». Обращение писателя к новому для него жанру само по себе, казалось, обещало глубокое и серьезное художественное исследование характеров, судеб, времени. И сюжет вроде бы представлял для этого объективные возможности: на протяжении многих лет проследить жизнь четырех друзей из провинциального сибирского городка, разбросанных по разным концам страны.

Трое из них — Егорка, Димка и Никита приезжают после окончания школы в Москву поступать в институты. Такова завязка романа. Кончилось беззаботное время юности. Настала пора испытания твердости их характеров, прочности их дружбы, верности своим романтическим идеалам.

Но постепенно сюжетная линия романа, связанная с Никитой, сворачивается и намечается лишь пунктиром, Димкина — отступает на второй план. И в центре внимания оказывается Егорка, поступивший в театральную студию и сразу же окунувшийся в пучину богемной столичной жизни. Удастся ли ему и его друзьям сохранить нравственную чистоту и благородство

стремлений на тернистом пути, «в сетях призрачной городской жизни» — вот что занимает В. Лихоносова. Проблема для него далеко не новая. Как, впрочем, хорошо знакомы и главные герои — Димка с Егоркой, вначале еще не тронутые тленом цивилизации, и их кумиры: многозначительно молчащий писатель Астапов — «абсолютная совесть» и историк Свербеев — хранитель русской старины.

Но есть в романе и новый сюжетный поворот, который Виктор Лихоносов еще не использовал для испытания идеалов своих героев, — искушение женщинами. «Ношусь со своими проклятыми благородными стремлениями, кое-кто двадцатисемилетних хватает, ей никакого вреда, кроме удовольствия, и ему для познания жизни... Но мне скотская любовь противна», — мысленно признается Егорка Димке — другу детства и товарищу по несчастью, вступившему вместе с ним в прозаический мир взрослых.

Мир этот действительно не прост. А к тому же женщины в романе выведены такие, что героям не позавидуешь. У Лизы, в которую Егорка был влюблен, одно время «голос переливался то лениво, то серебряным всплеском; ножки игриво топтались и так и этак», а выражалась при этом она загадочно, как пифия: «Моя звезда не горит. И не ищи во мне порочности. Чистый огонь безумия во мне». Наташа, которой суждено было стать его женой, с соизволения автора, делает два важных открытия: во-первых, мужчина тускнеет и теряет ореол после того, как станет знаком и доступен «загадочному утробному женскому чувству», а во-вторых, что в мужчине просто необходимо сомневаться, «если думаешь о долгой жизни с ним». Лиля — жена Дмитрия, как всякая женщина, «молча противится в семье тому, что любила раньше в мужчине», и убеждена в том, что «мужчины — скоты», а друзья его — «чокнутые».

Немудрено, что Егор, когда к нему — известному уже киноактеру — приходит в гостиницу с объяснением в любви К., дает себе слово, «что будет вести себя без притязаний, зачем ему эти глупости с всегда одним и тем же концом?» Теперь он знает, что жены очень быстро превращают любовь в «семейную жвачку».

О чем же написан роман? «О дружбе, о том, как летят годы, о любви, о счастье, о страдании души» — утверждает автор, а в другом месте уточняет: «Все летит и меняется в каком-то кружении, но твои представления о лучшей жизни остаются такими, какими они сложились в том далеком пропавшем возрасте». И читатель, судя по всему, должен вновь проникнуться элегической грустью из-за того, что никогда не вернется больше пора прекрасной юности и что хотя главные герои — Мишка и Егорка

вроде бы стремятся сохранить верность своим прежним идеалам любви и дружбы, но былой их нравственной цельности и чистоты уже нет.

Однако, для того чтобы вызвать это чувство, Виктору Лихоносову — так же как в свое время Алле Драбкиной — приходится уже совершенно неправдоподобно деформировать реальность, недопустимо упрощая образы и ситуации. Элегический взгляд на прошедшую молодость героев здесь утрачивает свою поэтичность, свою художественную силу и одновременно обнажается его психологическая первооснова, блестяще описанная еще Гегелем: «...Невозможность непосредственного осуществления его (юноши, превращающегося в мужа. — *В. Х.*) идеалов может ввергнуть его в ипохондрию... В этом болезненном состоянии человек не хочет отказаться от своей субъективности, не может преодолеть своего отвращения к действительности и именно потому находится в состоянии относительной неспособности, которая легко может превратиться в действительную неспособность».

А. И. Герцен в статье «Капризы и раздумье» очень точно выразил суть юношеского романтизма: «В юности человек имеет непременно какую-нибудь мономанию, какой-нибудь несправедливый перевес, какую-нибудь исключительность и бездну готовых истин. Плоская натура при первой встрече с действительностью, при первом жестком толчке плюет на прежнюю святыню души своей, ругается над своими заблуждениями и по мере надобности берет взятки, женится из денег, строит дом, два... Благородная, но не реальная натура идет наперекор событиям, не стремится понять препятствия, а сломить их, лишь бы спасти свои юношеские мечты, и обыкновенно, видя, что нет успеха, останавливается и, остановившись, повторяет всю жизнь одну и ту же ноту как роговой музыкант».

По этому определению Алла Драбкина и Виктор Лихоносов — натуры, несомненно, благородные. И все их творчество — осознанно или неосознанно — подчинено той высокой и чистой романтической ноте, с которой они начинали когда-то. Но одна и та же нота — даже самая высокая и самая чистая — не может неизменно звучать на протяжении многих лет — она стареет, становится фальшивой.

Все течет и все изменяется. Романтизм Аллы Драбкиной и Виктора Лихоносова тоже изменялся. Изменялся, но не развивался. Он не стал философским — не разросся в законченную и цельную художественно-философскую систему, не стал психоло-

гическим — не обрел значительной психологической глубины и сложности. Он постепенно вырождался во все более поверхностное, экзальтированное — и потому все менее убедительное — эмоциональное доказательство юношеских «мономаний» и «готовых истин».

«В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, — писал Герцен, — но не все: юношеские грезы и романтические затеи очень жалки в старике и очень смешны в старухе. Останавливаться на юности потому скверно, что на всем останавливаться скверно, — надобно быстро нестись в жизни». Причем «нестись» осмысленно, «воспитывая свои убеждения по событиям», как поступает «действительная» натура в отличие от «плоской» и «благородной».

Алла Драбкина и Виктор Лихоносов достигли того возраста, который Пушкин назвал «старостью нашей молодости». Судя по последним произведениям, их романтизм исчерпал себя. Но в раннем творчестве у той и другого были удачные опыты реалистической прозы, непревзойденные до сих пор по живости, колоритности, психологической точности образов и ситуаций («Семеновна», «Паня и Фома» — у А. Драбкиной, «Марея», «Родные» у В. Лихоносова). Может быть, настало время всерьез обратиться к этому жанру, чтобы найти продолжение, достойное начала.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

ПЕРЕВОДЫ

Братство

Стихи зарубежных поэтов

КРИТИКА

Альманах

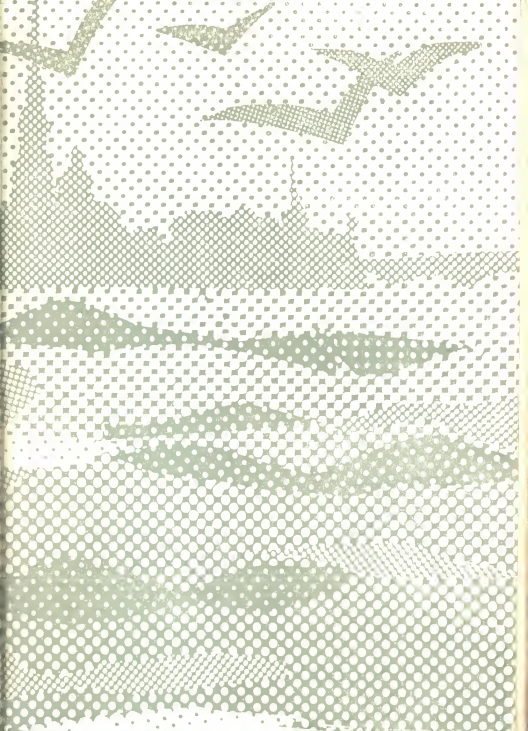
МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1981, 400 стр. План выпуска 1981 г. № 55. Редактор Н. А. Милосердова. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректор Т. С. Харыкина

ИБ № 3101

Сдано в набор 15.07.81. Подписано к печати 27.11.81. М 44761. Бумага тип. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 22,40. Тираж 30 000 экз. Заказ № 598. Цена 1 р. 60 к. Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.





1р 60к.